

Метерлинк М. **Полное собрание сочинений** / Перев.
Н. М. Минского и Л. Н. Вилькиной, под ред. Н. М. Минского.
Пг.: Товарищество А. Ф. Маркс, 1915. Т. 2. 248 с.

| | | |
|---|-----|------------------------|
| Избиение младенцев | 3 | Читать |
| Из сборника «Теплица» | | |
| Теплица..... | 12 | Читать |
| Молитва | 12 | Читать |
| Теплица скуки | 13 | Читать |
| Искушение..... | 13 | Читать |
| Стеклянные колокола..... | 14 | Читать |
| Скука..... | 15 | Читать |
| Темное приношение | 15 | Читать |
| Цветы сердца..... | 16 | Читать |
| Пятнадцать песен | 17 | Читать |
| Сокровище смиренных | | |
| I. Молчание | 25 | Читать |
| II. Пробуждение души..... | 30 | Читать |
| II.I Предупрежденные | 35 | Читать |
| IV. Мистическая мораль | 39 | Читать |
| V. О женщинах..... | 42 | Читать |
| VI. Рюисбрек Удивительный..... | 48 | Читать |
| VII. Эмерсон..... | 55 | Читать |
| VIII. Новалис | 61 | Читать |
| IX. Трагедия каждого дня | 68 | Читать |
| X. Звезда | 74 | Читать |
| XI. Незримая доброта..... | 81 | Читать |
| XII. Глубокая жизнь | 87 | Читать |
| XIII. Внутренняя красота | 94 | Читать |
| Приложение к главе VIII..... | 103 | Читать |
| Предисловие к переводу «Макбета» | 118 | Читать |
| Предисловие к переводу драмы Джона Форда «Аннабелла» | 126 | Читать |
| Предисловие к критическому очерку К. Моклера о поэзии Ж. Лафорга | 133 | Читать |
| Мудрость и судьба | 136 | Читать |

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

В пятницу, в 26-й день декабря месяца, в час ужина, молодой подпасок прибежал в деревню Назарет, издавая громкие вопли.

Крестьяне, сидевшие в харчевне «Голубого Льва» за кружками браги, открыли ставни и, заглянув в принадлежащий деревне фруктовый сад, увидели мальчика, бежавшего по снегу. Они узнали сына Корнелиза и крикнули ему в окно: «Ты что тут делаешь? Ступай спать!»

Мальчик, охваченный ужасом, рассказал им в ответ, что пришли испанцы, подожгли ферму, повесили его мать среди орешника и привязали его девять малолетних сестер к стволу толстого дерева.

Крестьяне выбежали из харчевни, окружили мальчика и осыпали его вопросами. Он рассказал им еще, что солдаты прибыли верхом, были закованы в железо, что они угнали скот, принадлежащий его дяде, Петру Крайеру, и что они вскоре должны проследовать через лес со стадом овец и коров.

Все побежали в харчевню «Золотого Солнца», где Корнелиз и его родственники также сидели за кружками браги, а хозяин харчевни бросился по направлению к деревне, крича, что испанцы приближаются.

В Назарете поднялась тревога. Женщины открывали окна, крестьяне выходили из домов с фонарями, которые они тушили, придя в сад; от сияния полной луны и снега в саду было светло, как днем.

Они столпились вокруг Корнелиза и Крайера на площади, перед харчевнями. Многие захватили с собою вилы и грабли и испуганно переговаривались, стоя под деревьями.

Никто не знал, что предпринять. Наконец кто-то побежал за священником, которому принадлежала ферма Корнелиза. Через минуту священник, в сопровождении причетника, вышел из дома, держа ключи от церкви. Все направились вслед за ним на погост, и он, поднявшись на колокольню, крикнул им оттуда, что не видит ничего ни на лугу ни в лесу, но что над его фермой стоит красное облако, хотя небо со всех сторон чистое и покрыто звездами.

После долгих совещаний на погосте они решили спрятаться в лесу, через который должны были проследовать испанцы, и, если последних окажется не очень много, напасть на них и отбить скот Петра Крайера, а также отнять награбленное ими на ферме добро.

Они вооружились вилами и лопатами, а женщины, вместе со священником, остались подле церкви.

Отыскивая удобное для засады место, крестьяне пришли на опушку леса, поблизости мельницы, и оттуда увидели ферму, горящую под звездным небом. Здесь, подле пруда, затянутого льдом, они остановились, укрывшись за стволами огромных дубов.

Пастух, по прозвищу «Рыжий Карлик», поднялся на косогор, чтобы предупредить мельника, который остановил крылья своей мельницы, как только увидел на небе зарево. Он впустил к себе пастуха, и оба они стали у

окна, вглядываясь в даль.

Перед ними над горящим зданием стояла яркая луна, и в ее свете они увидели длинное шествие, подвигавшееся по снегу. Зорко осмотрев местность, Карлик спустился к тем, которые ждали у опушки, и они ясно увидели четырех всадников, медленно подвигавшихся над стадом, которое, казалось, мирно паслось на лугу.

Они долго глядели, стоя недвижно на окраине пруда, под деревьями, освещенными светом; свет от снега отражался на их синих чулках и красных плащах. Наконец причетник указал им на буксовую заросль, за которую они и спрятались.

Животные и испанцы медленно подвигались по льду, а овцы, приближаясь к заросли, уже стали щипать прошлогоднюю траву, когда Корнелиз бросился из-за кустов, а за ним, в свете луны, бросились все остальные, потрясая вилами. Тогда на пруду произошло великое побоище посреди сгрудившихся овец и спокойных коров, созерцавших сражение и луну.

Когда всадники и лошади были перебиты, Корнелиз через луг побежал к горячей ферме, а остальные стали снимать платье с убитых. Затем они вернулись в деревню, погоняя стадо. Женщины, глядевшие за стенами погоста на темный лес, увидели их среди деревьев и вместе со священником побежали им навстречу. Окруженные детьми и собаками, они вернулись в деревню, образуя широкий хоровод и весело приплясывая. Радостно столпившись под грушевыми деревьями, на ветвях которых «Рыжий Карлик» развесил фонарики в знак кермессы, они спросили у священника, что он им посоветует делать.

Сообща решено было запрячь повозку и привезти в деревню тело убитой и девять ее малолетних дочерей. Сестры убитой и другие крестьянки, принадлежавшие к ее роду, сели в повозку вместе со священником, который, будучи стар и весьма тучен, с трудом волочил ноги.

Они проехали через лес и молча достигли ослепительных снежных полей, где на блистевшем льду, среди деревьев, увидели обнаженные тела солдат и трупы лошадей. Отсюда они направились к ферме, одиноко горевшей среди ночного пейзажа.

Подъехав к саду и к дому, красным от отсвета пожара, они остановились у ворот и долго глядели на великое несчастье, постигшее крестьянина. Жена его — нагая — висела на ветви огромного орехового дерева, и он поднимался по лестнице, приставленной к дереву, вокруг которого, на траве, стояли девять девочек, ожидая, когда снимут тело их матери. Он уже раздвигал широкие ветви, когда вдруг увидел на фоне яркого снега глядевшую на него толпу крестьян. Обливаясь слезами, он знаком попросил их помочь ему, и они вошли в сад. Причетник, «Рыжий Карлик», хозяева «Голубого Льва» и «Золотого Солнца», священник, державший фонарь, и многие другие взобрались по лестнице на опущенное снегом и освещенное луною дерево, чтобы снять висевшее тело; женщины, стоявшие под деревом, приняли его на руки, как тело Спасителя при снятии с креста.

На следующий день ее похоронили, и за всю неделю в деревне Назарета не произошло ничего необыкновенного. Но в воскресенье после заутрени

голодные волки выбежали на улицу и до полудня шел снег. Потом на небе показалось яркое солнце, и поселяне сели в обычный час за обед, а после обеда стали одеваться для вечерней службы.

Площадь все это время стояла безлюдная, потому что сильно морозило. Одни только собаки и куры бродили под деревьями, овцы паслись на очищенной треугольной полянке, и служанка священника сгребала снег в садике.

Вдруг через каменный мост, в конце деревни, проследовала толпа вооруженных всадников и остановилась во фруктовом саду. Крестьяне выглянули из домов, но тотчас же в ужасе побежали вспять, узнав испанцев. Все они столпились у окон, выжидая, что произойдет.

Всадников, закованных в железные латы, было человек около тридцати, а посреди их ехал старик с белой бородой. За спиной каждого всадника держался в седле ландскнехт, одетый в желтое или красное платье. Ландскнехты спрыгнули на землю и стали бегать по снегу, разминая озябшие члены; многие из вооруженных воинов также спешили и облегчали себя у деревьев, к которым привязали лошадей.

Затем они направились в харчевню «Золотого Солнца» и постучались у входа. Им с опаской открыли дверь, и они ввалились в харчевню, подошли к огню и заказали брагу.

Вскоре они вышли, держа горшки и кружки с брагой, а также ломти пшеничного хлеба; они передали их своим товарищам, окружавшим начальника с седой бородой, который сидел посреди копий.

Улица оставалась безлюдной, и начальник отправил несколько всадников за линию домов, чтобы оцепить деревню со стороны поля; после этого он приказал ландскнехтам привести к нему из деревни всех детей от двух лет и моложе и умертвить их, согласно написанному в евангелии от св. Матвея.

Они прежде всего направились в маленькую харчевню под вывеской «Зеленой Капусты» и в хижину брадобрея, стоявшие рядом посередине улицы.

Один из солдат открыл дверь, ведущую в хлев; оттуда выбежало стадо свиней и разбрелось по деревне. Хозяин харчевни и брадобрей вышли на улицу и почтительно осведомились у солдат, что им нужно; но те не ответили, не понимая фламандской речи, и вошли в дома искать детей.

В харчевне они увидели ребенка: он сидел в одной рубашке на столе, за которым только что кончили обедать, и громко плакал. Солдат взял его на руки и пошел с товарищами по направлению к яблоням, между тем как отец и мать ребенка с криками побежали за ними вслед.

Ландскнехты открыли также хлевы бочара, кузнеца, сапожника; телята, коровы, ослы, свиньи, козы и овцы, вырвавшись на волю, рассыпались по площади. Когда солдаты стали стучать в окна к столяру, толпа крестьян, со стариками и наиболее богатыми прихожанами во главе, собралась на улице и направилась к испанцам. Они почтительно сняли шапки и колпаки перед одетым в бархатную мантию начальником отряда, и спросили его о его намерениях. Но так как и он не понимал их речи, то один из крестьян пошел за священником.

Священник, готовясь в ризничьей к вечерней службе, облачался в шитую золотом ризу. Крестьянин ворвался с криком: «Испанцы у нас в саду!» Охваченный ужасом, священник побежал к выходу вместе с мальчиками-певчими, державшими свечи и кадила.

Выбежав из церкви, он увидел животных, разбредшихся по снегу и по лужайке, всадников, стороживших за деревней, солдат, стоявших у дверей хижин, лошадей, привязанных к деревьями вдоль улиц, и толпу мужчин и женщин. Они умоляли о пощаде ландскнехта, который держал одетого в рубашку ребенка.

Он бросился из погоста на площадь, и крестьяне с тревогой обернулись к своему священнику, который приближался к ним среди грушевых деревьев, облаченный в золото, как бог; они издали глядели, как он подошел к начальнику с седой бородой.

Священник заговорил, с ним по-фламандски, потом по-латыни, но тот небрежно пожимал плечами, показывая, что не понимает обращенных к нему слов.

Прихожане шепотом спрашивали священника: «Что он сказал? что собирается сделать?» Другие, увидев священника в саду, стали робко выходить из своих домов. Женщины сбежались кучками и стали шептаться между собой, так что солдаты, осаждавшие харчевню, вернулись, чтобы разогнать образовавшееся на площади большое сборище.

В это время солдат, державший ребенка, принесенного из харчевни «Зеленой Капусты», вынул меч и отрубил ему голову.

Крестьяне глядели, как перед ними покатила на лужайку голова ребенка, а вслед за нею истекавшее кровью тельце. Мать подхватила тело и побежала с ним, забыв подобрать голову. Она устремилась к себе домой, но по дороге споткнулась о дерево, упала лицом в снег и осталась лежать в обмороке; отец ребенка отбивался между двух солдат.

Крестьяне помоложе стали швырять в испанцев камнями и кусками дерева, но всадники все сразу опустили копыя. Женщины разбежались, а священник и прихожане с воплями ужаса заметались по площади, посреди овец, гусей и собак.

Но вскоре, увидав, что солдаты опять отправились вдоль улицы, они приутихли и стали ждать, что произойдет.

Толпа солдат проникла в лавку, принадлежавшую сестрам причетника, но вскоре спокойно вышли оттуда. Они не тронули ни одной из семи женщин, стоявших у порога на коленях и шептавших молитву.

Оттуда они направились к харчевне, которую содержал горбун, прозванный Св. Николаем. Им немедленно открыли дверь, в надежде задобрить их. Вскоре они вернулись среди всеобщего смятения, неся на руках трех младенцев, между тем, как горбун, его жена и их дочери громко умоляли о пощаде, простирая руки. Солдаты понесли одетых по-праздничному детей к старику и положили их на землю в снег у подножия большого вяза. Один ребенок в желтом платье поднялся на ножки и, шатаясь побежал к стаду овец; но солдат погнался за ним с обнаженной шпагой, и убитый ребенок упал,

уткнувшись в землю лицом; другие солдаты умерщвляли детей, положенных под деревом.

Крестьяне и дочери хозяина харчевни бросились бежать, испуская вопли, и попрятались по домам. Оставшись один в саду, священник продолжал умолять испанцев и со стенаниями ползал на коленях от одной лошади к другой, сложив руки крестом, между тем как отец и мать, сидя на снегу, оплакивали своих убитых детей, лежавших у них на коленях.

Подвигаясь по улице, ландскнехты подошли к дому фермера, выкрашенному в голубую краску. Они хотели было силою открыть дверь, но она была из дуба и вся утыкана гвоздями. Тогда они достали бочки, вмерзшие в лужу перед порогом, и по ним поднялись до верхнего этажа, куда проникли через окно.

В ферме праздновали кермессу, и родственники хозяина со своими семействами пришли угощаться вафлями, ватрушками и ветчиной. Услышав звон разбитых стекол, все столпились вокруг стола, покрытого ковшами и блюдами. Солдаты ворвались в кухню и после жестокого побоища, в котором многие были ранены, захватили с собой несколько детей — мальчиков и девочек, а также слугу, укусившего одного из солдат за палец. Вместе с ними они быстро удалились, заперев за собою дверь, чтобы присутствующие не могли погнаться за ними.

Поселяне, не имевшие детей, нерешительно вышли из своих домов и издали последовали за солдатами, которые направились к старику, бросили перед ним свои жертвы на землю и спокойно стали их умерщвлять копьями и мечами. По всему фасаду голубого дома женщины и мужчины, высунувшись из окон верхнего этажа и чердака, произносили проклятия и отчаянно метались в свете солнца, глядя на красные, розовые и белые платица своих детей, недвижно распростертых на траве между деревьями. Вслед за этим солдаты взяли захваченного на ферме слугу и повесили его по другую сторону улицы на вывеске, имевшей форму лунного серпа. Во всей деревни воцарилось долгое молчание.

Избиение между тем продолжалось. Матери выходили из домов и, пробираясь садами и огородами, пытались бежать в поле; но всадники преследовали их и гнали обратно на улицу. Крестьяне, с шапками в сложенных руках, на коленях ползли вслед за солдатами, уносившими их детей, в сопровождении собак, весело лаявших посреди всеобщей суматохи. Священник, воздев руки к небу, перебежал от домов к деревьям и обратно и умолял с лицом мученика; солдаты, дрожа от холода, дули себе на пальцы и торопливо пробирались по улице; или же, засунув руки в карманы штанов и держа под мышкой шпаги, они недвижно ждали под окнами домов, куда взбирались их товарищи.

Видя трусливое отчаяние крестьян, ландскнехты небольшими группами проникали в фермы, и на улице все время повторялись одни и те же сцены. Торговка овощами, жившая подле церкви в маленькой, сложенной из розовых кирпичей хижине, со стулом в руке гналась за двумя солдатами, увозившими ее детей в тачке. Она лишилась чувств, видя, как их убивали, и ее посадили на ее

же стул, прислонив его к дереву, росшему у дороги.

Другие солдаты забрались на липы перед выкрашенной в лиловую краску фермой и разобрали на крыше черепицы, чтобы проникнуть в дом. После того, как они вернулись с детьми, отец и мать, подняв руки, несколько раз показывались в отверстии крыши: но каждый раз солдаты, ударяя их шпагами по голове, прогоняли их обратно, пока наконец сами не соскочили на улицу.

Одна семья, запертая в погребе большого строения, вопила, столпясь у отдушины, через которую отец бешено потрясал вилами. Какой-то лысый старик, сидя на куче навоза, одиноко рыдал; женщина, одетая в желтое платье, упала без чувств на площади, и муж, подняв ее, поддерживал под руки и о чем-то кричал в тени грушевого дерева; другая женщина, одетая в красное, обнимала свою дочку, у которой были отрублены кисти рук, и поднимала поочередно ее правую и левую ручку, чтобы видеть, может ли она ими двигать. Какой-то женщине удалось бежать из деревни, и солдаты гнались за ней между двух мельниц на горизонте покрытых снегом полей.

В харчевне «Четырех Сыновей Эмона» разыгрывалась бурная сцена осады. Жильцы забаррикадировались, и солдаты кружились вокруг дома, не будучи в состоянии в него проникнуть. Они пытались добраться до вывески по шпалерным деревьям, росшим у фасада, но вдруг заметили лестницу, стоявшую за садовой калиткой. Они приставили лестницу к стене и гуськом стали взбираться по ней. Но хозяин харчевни и все члены его семьи стали из окон швырять в солдат столами, стульями, блюдами и колыбелями. Лестница покачнулась, и солдаты свалились на землю.

В хижине, сложенной из бревен, в конце деревни, солдаты наткнулись на крестьянку, которая мыла своих детей в корыте перед огнем. Она была стара и глуха и не слышала, как они вошли. Двое солдат захватили корыто с детьми и понесли на улицу, а изумленная старуха побежала за ними с платицами детей, чтобы одеть их. Выйдя на порог и увидев лужи крови в деревне, обнаженные шпаги в саду, опрокинутые колыбели среда улицы, женщин, стоявших на коленях или обнимавших трупы своих детей, она громко завывала и принялась бить солдат, которые опустили на землю корыто и стали отбиваться. К ним подбежал священник, сложив руки на рясе, он долго умолял испанцев, перед голыми детьми, которые заливались плачем в воде. Но тут подоспели другие солдаты и, отстранив обезумевшую старуху, привязали ее к дереву.

Мясник спрятал свою дочку и, прислонясь к стене своего дома, глядел, на улицу с равнодушным видом. Двое солдат — ландскнехт и другой, одетый в латы, — вошли в дом и отыскивали ребенка в медном котле. Мясник, в отчаянии, схватил нож и бросился на солдат; но другие воины, проходившие мимо, отняли у него оружие и повесили его за кисти руки к вделанным в стену крючьям, среди бычачьих туш: так он висел до вечера, барахтаясь ногами и изрыгая проклятия.

Со стороны погоста большое сборище образовалось перед длинной фермой, выкрашенной в зеленую краску. Кто-то, сидя на пороге, плакал в два ручья; так как он был дороден и имел добродушное лицо, то солдаты, стоявшие на солнце у стены, слушали его с видом соболезнования и гладили собаку. А

тот, который уводил за ручку его ребенка, делал знаки, как бы говоря: «Что поделаешь? Не моя вина!»

Один крестьянин, преследуемый солдатами, вскочил вместе с женой и детьми в привязанную у каменного моста лодку и пустил ее по озеру. Не рискуя ступить на лед, солдаты сердито бегали среди тростника. Они влезли на растущие вдоль берега ивы и пытались достать беглецов копьями; но это им не удавалось, и они еще долго посылали угрозы охваченной ужасом семье.

Фруктовый сад все еще был полон народа, ибо там умерщвляли бóльшую часть детей перед начальником с белой бородой, который командовал избиением. Девочки и мальчики постарше, ходившие без посторонней помощи, собрались кучками и с любопытством глядели на избиение детей, продолжая есть намазанные маслом ломти хлеба, или толпились вокруг деревенского юродивого, который сидел на траве и играл на флейте.

Вдруг в деревне произошло общее движение. Крестьяне бегом устремились по направлению к замку, стоявшему на желтом пригорке в конце улицы. Они увидели барона, нагнувшегося над бойницами башни и наблюдавшего за избиением. Мужчины, женщины, старики, простирая руки, стали умолять барона, который глядел на них, словно царь небесный, в своей мантии из фиолетового бархата и в высокой, шитой золотом шапке. Но он поднял руки и пожал плечами, показывая свое бессилие. А так как они все громче и отчаяннее продолжали вопить о помощи, с открытыми головами, топчась в снегу на коленях, то он повернулся и медленно скрылся в башне: крестьяне поняли, что потеряна всякая надежда.

Когда все дети были умерщвлены, усталые солдаты вытерли мечи о траву и сели под деревьями ужинать. Затем ландскнехты вскочили в седла, и весь отряд покинул Назарет, поехав обратно через каменный мост, откуда прибыл.

Солнце садилось за багровым лесом, меняя все краски в деревне. Изнеможенный от беганья и криков священник сидел в снегу перед церковью, а рядом стояла его служанка. Они глядели на улицу и на сад, которые все еще были полны крестьян, одетых по-праздничному: многие топтались на площади или бродили вдоль улицы. Перед дверями домов сидели отцы и матери, держа детские тела на коленях или в объятиях; с лицами, выражавшими изумление, они громко жаловались на постигшее их несчастье. Другие плакали над своими детьми там, где они лежали мертвыми, — подле бочки, под тачкой, посреди лужи, или молча уносили их к себе домой. Многие уже мыли скамьи, стулья, запачканные в крови рубашонки и поднимали опрокинутые среди улицы колыбели. Но почти все матери еще рыдали под деревьями, перед распростертыми на траве мертвыми детьми, которых они узнавали по их шерстяным платьицам. Бездетные прогуливались по площади и останавливались перед своими несчастными односельчанами. Мужчины, перестав плакать, загоняли, при помощи собак, разбредшихся животных, или возились у своих домов, поправляя разбитые окна и разобранные крыши, между тем как вся деревня недвижно цепенела в сиянии луны, медленно поднимавшейся на небо.

ИЗ СБОРНИКА «ТЕПЛИЦА»

ТЕПЛИЦА

О, теплица посреди лесов,
И твои навеки замкнутые двери,
И все то, что под твоим таится сводом,
И в моей душе — твоим подобье.

Мысли голодающей принцессы;
Скука моряка среди пустыни;
Звуки медных труб под окнами неизлечимых.

Отыщите угол самый теплый.
Будто жница в обморок упала;
На дворе больничном почтальоны;
А вдали идет охотник на лосей, вдруг ставший братом милосердья,

Рассмотрите их при лунном свете,
О, никто не на своем там месте.
Сумасшедшая перед судом;
На канале распутивший паруса корабль военный;
Стая птиц ночных на стеблях лилий;
В полдень похоронный звон
(Там, под этими колоколами);
На лугу ночлег больных;
В полдень солнечный эфира запах.
Боже, Боже, о, когдаждемся мы в теплице
Ветра, снега и дождя!

МОЛИТВА

О, сжался над отсутствием моим
У двери замыслов, которых не свершил я.
Мой дух бездействием томим,
Моя душа бледна от белого бессилья.

Душа устала жить средь мертвых дней былых,
Душа бледна от слез напрасных сожаленья
И, грустная, глядит на трепет рук своих
Над пустотой невоплощенья.

Лиловые над сердцем сны
Вскипают, точно пена над волнами,
И душу с хрупкими, как тонкий воск, руками
Усталый обливает свет луны.

Усталый свет луны, в котором увядают

И жолкнут лилии моих грядущих дней,
Усталый свет луны, в котором возникают
Лишь тени грустных рук больной души моей.

ТЕПЛИЦА СКУКИ

О, эта скука голубая,
И эти голубые сны,
В сиянии плачущей луны,
О лучших днях мечта больная.

О, голубых теплиц томленья,
Теплиц, где в плене вековом
Под лунным светом и стеклом,
Сквозь зелень окон, как виденья,

Листы широкие застыли,
Молчат в забвении ночей,
И яркость роз и крик страстей
Сном неподвижности прикрыли;

Где водометы плещут сонно,
Луну и небо отразив;
Где их зеленых слез призыв
Тревожит вечность монотонно.

ИСКУШЕНИЕ

О, зелень бледных искушений
Среди рассудочных теней,
Лучи растительных огней
И темень темных ответвлений!

О, соблазнительная мгла
Густых ветвей осенней кущи,
О, сладострастный и зовущий
Их запах в лунном свете зла!

Они луны печальной высь
Закрыли инеем зеленым, —
Сплетеньем соков уплотненным
Всех лихорадок, что сбылись.

Их святотатственный разбег,
Желаний тайну обнажая,
Уныл, как жалоба ночная
Больных, положенных на снег.

Под темным трауром ветвей
Я вижу, как зияют раны,
Что телу гордости багряной

Наносит синий меч страстей.

Ужель, Господь, мечта земная
В усталом сердце не сгорит,
И благодать Твоя святая
Теплицы злой не озарит?

Дай сердцужданного забвенья,
Листве недужной смерть неси,
И звезды пленные спаси
Из челюстей греха и тленья.

СТЕКЛЯННЫЕ КОЛОКОЛА

О, стеклянные колокола!
И растенья странные под их покровом вечным,
Между тем вихрь наружный здесь мои терзает чувства!
О, долина целая души, недвижимая навеки!
И томящий спертый зной в полдневный час!
И сквозь грань стекла встающие виденья!

О, не подымай ни одного из них!
Многие поставлены над старым лунным светом.
Рассмотри их листья сквозь стекло.
Нищие сидят на царских тронах.
На пруду стоят и ждут корсары.
Звери допотопные штурмуют город.

Есть такие, что поставлены над древними снегами.
Есть такие, что поставлены над прошлыми дождями.
(Сжался, Господи, над спертым воздухом темницы!).
Слышу праздник в воскресенье в год голодный.
Вижу лазарет я на лугу в день жатвы.
Королевны бродят по полю в день сейма.

Но взгляни на те, что там видны на горизонте.
Их поставили над бурями давно минувших дней.
О, громадный флот стоит, должно быть, средь болота.
Где-то лебеди, боюсь я, высидели воронят
(Сквозь пары неясно видно).
Дева поливает папоротник кипятком.
Девочки толпою смотрят на отшельника в затворе.
И мои уснули сестры в глубине пещеры ядовитой.

Подожди луны и зимней стужи.
Будут наконец колокола стоять над льдом!

СКУКА

Павлины белые, беспечные павлины,
Павлины белые бежали скуки дня.

Я видел, сквозь мой сон сегодняшнего дня
Бежали белые на сонные долины,
Спасались белые томительного дня,
Туда, где данных вод бессолнечны равнины,
Я слышал, белые бежали скуки дня
Туда, где сонных дней бессолнечны години.

ТЕМНОЕ ПРИНОШЕНИЕ

Я приношу творенье злое,
Подобное сну мертвецов.
Струит на лес моих грехов
Луна сияние больное.

Змий фиолетовый мечты
В мое прокрался сновиденье.
Мечи венчают вождельенье.
Львы дремлют, солнцем залиты.

В водах далеких бледность лилий,
Последний мир закрытых рук.
Побеги красные насилий,
Любовь зеленая вокруг.

О, сжался, Господи, над словом,
Моих молитв не опорочь.
Дозволь скосить слепую ночь
Лучом луны под звездным кровом.

ЦВЕТЫ СЕРДЦА

Под синим куполом хрустальным —
Под сном усталым и тоской —
Нисходит медленный покой
К цветам души моей печальным.

Кругом символика цветов:
Забав унылых неньюфары,
Влюбленных пальм немые чары,
Мечты лиан, холодность мхов.

Лишь стебель лилии меж ними
В упругой хрупкости застыл
И бледный свой возносит пыл
Над их побегами больными.

Лишь лилия, рассеяв мглу
(Как бы лучом луны несмелой),
Молитвой возникает белой
К хрустально-синему стеклу.

ПЯТНАДЦАТЬ ПЕСЕН

I

Она заперла ее в грот, где был мрак,
Она на дверях начертала свой знак.
И дева забыла про солнечный луч.
В глубокое море упал ее ключ.

Ждала, что настанет лето и свет.
Ждала она семь и более лет.
Семь путников мимо прошли — и их нет.

Ждала она также холодной зимы,
И кудри ее побелели средь тьмы,
И вспомнили белые кудри про свет.

Повсюду искали ее и нашли.
Меж скал пробирались и светоч зажгли,
И скалы кругом отражали тот свет.

Был вечер — шел путник обычным путем,
Он стал, удивлен непонятным огнем,
Не смея приблизиться к месту, где свет.

И путнику мнится, что видит сквозь мрак
Родник золотой иль таинственный знак,
Что ангелы игры ведут в темноте.

Взглянул, повернулся, прошел, как и те.

II

— А если он вернется,
Что я сказать должна?
«Скажи: его ждала я,
Пока не умерла».

— А если б, как чужую,
Расспрашивать он стал?
«Ответь ему, как брату,
Быть может, он страдал».

— А если спросит: где ты?
Какой я дам ответ?
«Кольцо мое безмолвно
Отдай ему в ответ».

— А если он увидит,
Что комната дуста?

«Скажи: погасла лампа,
И дверь не заперта».

— А если о последних
Минутах спросит он?
«Скажи: я улыбалась,
Чтоб не заплакал он».

Пер. *О. Чюминой*

III

Трех девушек они убили,
Чтоб знать, что их сердца таили.

Таилась в первом сердце радость,
И там, где кровь его стекала,
Шипели три змеи три года.

В другом таилась сердце кротость,
И там, где кровь его стекала,
Ягненка три паслись три года.

Таилась в третьем сердце грусть,
И там, где кровь его стекала,
Молились три архангела три года.

IV

Девы, повязки неся на глазах
(Прочь удали золотые повязки!),
Девы, повязки неся на глазах,
Ищут судьбу на далеких путях.

В час полудневный открыли они
(О, сохрани золотые повязки!),
В час полудневный открыли они
Вход во дворец на лугу, в вышине.

Жизни они прошептали привет
(Крепче стяни золотая повязки!),
Жизни они прошептали привет
И не вернулись: им выхода нет.

V

Три слепых сестрицы
(Мы надежде рады)
Держат три зажженных
Золотых лампы.

Поднялись на башню
(С нами, с вами вместе),
Поднялись на башню,
Ждут семь дней на месте.

Первая сестрица
(Мы надежде рады)
Говорит: я слышу
Свет своей лампы.

Говорит вторая
(С нами, с вами вместе):
Слышу: королевич
Поднялся к невесте.

Третья, всех святее
(Мы надежде рада),
Говорит: погасли
Наши три лампы.

VI

Кто-то мне сказал
(О, дитя, мне страшно!),
Кто-то мне сказал:
Час его настал.

Лампу я зажгла
(О, дитя, мне страшно!),
Лампу я зажгла,
Близко подошла.

В первых же дверях
(О, дитя, мне страшно!),
В первых же дверях
Пламень задрожал.

У вторых дверей
(О, дитя, мне страшно!),
У вторых дверей
Пламень зашептал.

У дверей последних
(О, дитя, мне страшно!),
Вспыхнув только раз,
Пламень тот погас.

Пер. О. Чюминой

VII

Когда умерла Орламонда —

Семь дочерей
Волшебной жены Орламонды
Искали дверей.

Лампады свои засветили,
На башню взошли,
Четыреста зал отворили,
Но света они не нашли.

Проникли под гулкие своды,
Спустилися с круч,
Нашли под закрытою дверью
Из золота ключ.

Сквозь щели им видится море,
Боятся они умереть,
Стучатся у запертой двери,
Не смея ее отпереть.

Пер. *О. Чюминой.*

VIII

Три золотых у ней было венца.
В дар поднесла их кому и когда?

Один родителям в дар поднесла.
Они золотых три тенета достали
И до весны ее в них продержали.

Второй возлюбленным в дар поднесла.
Они три серебряных сети достали
И до осенней поры продержали.

Последний детям в дар поднесла.
Они три железные цепи достали
И на всю зиму ее заковали.

IX

Рано она подошла ко дворцу
— Солнце всходило едва —
Рано она подошла ко дворцу.
Рыцари встали, взглянув друга на друга.
Женщины все замолчали в испуге.

Стала она у дворцовых дверей
— Солнце всходило едва —
Стала она у дворцовый, дверей.
Чу! Королева идет из покоя,
Муж вопрошает ее, беспокоясь.

В час этот ранний идешь ты куда?
— В сумерках видно едва —
В час этот ранний идешь ты куда?
Ждет ли тебя кто-нибудь за порогом?
Но королева безмолвствует строго.

Вот к незнакомке спустилась она
— В сумерках видно едва —
Вот к незнакомке спустилась она.
Та ее молча целует в уста.
Не обменявшись ни словом ни взглядом,
Обе они отправляются рядом.

Плачет король у дворцовых дверей
— В сумерках видно едва. —
Плачет король у дворцовых дверей.
Слышно, как поступь шагов замирает.
Слышно, как ветер листы обрывает.

X

Когда жених ушел
(Дверь тихо повернулась).
Когда жених ушел,
Невеста улыбнулась...

Когда жених пришел
(Лампада догорела),
Когда жених пришел,
Другая там сидела...

И я видала смерть
(Душа его страдала),
И я видала смерть,
Что молча ожидала...

XI

О, мать, ужель ничьих шагов не слышишь?
О, мать, то нас пришли предупредить...
О, дочь, дай руку. Что так тяжело дышишь?
Смотри, корабль готовится отплыть...

О, мать, Ее мы примем осторожно...
О, дочь, они придут сюда едва ль...
О, мать, ужель спастись нам невозможно?...
О, дочь, смотри, корабль уходит вдаль...

О, мать, Она все ближе подступает...
О, дочь моя, он в гавани теперь...
О, мать, Она уж дверь приоткрывает...

О, дочь моя, они выходят в дверь...

О, мать, ты слышишь, к нам прокрался кто-то.

О, дочь, он поднял якорь в этот час...

О, мать, Она мне тихо шепчет что-то...

О, дочь, корабль проходит мимо нас...

О, мать, Она все звезды собирает...

О, дочь, то тень от паруса скользит...

О, мать, Она в окошко ударят...

О, дочь, окно открыто, может быть...

О, мать, темно... я тьмой объята буду...

О дочь, вокруг корабля морская тишь...

О, мать, Ее одну я слышу всюду...

О, дочь моя, о ком ты говоришь?..

XII

Вы зажгли огни лампад —

О, в саду я солнце вижу —

Вы зажгли огни лампад.

Солнца свет сквозь ставни вижу.

Распахните двери в сад!

Ключ затерян от дверей.

Ждать нам надо, ждать нам надо.

Ключ затерян от дверей.

Ждать нам надо, ждать нам надо,

Ждать грядущих надо дней.

Распахнется дверь в те дни,

Лес заменит нам засовы.

Лес горит, одет в огни.

Мертвых листьев свет багровый

Шлет нам отблеск свой суровый.

Дни грядущие устали

И едва ли к нам придут,

Дни грядущие умрут,

Полны страха и печали.

С ними все умрем мы тут.

XIII

Тридцать лет ищу я, сестры.

Где же скрылся он?

Тридцать лет хожу я, сестры,

Но не ближе он.

Я в пути устала, сестры,

Шла я тридцать лет.
Он повсюду был, о, сестры,
И его все нет.

Обувь я снимаю, сестры,
Скорбь и тишина.
Ветер также гаснет, сестры,
И душа больна,

Вам шестнадцать лет, о, сестры,
С посохом моим
Далеко идите, сестры,
В поиски за ним.

Пер. *О. Чюминой*

XIV

Три сестрицы умереть хотели,
Три венца из золота надели
И за смертью пошли.

К лесу сестры подошли,
— Лес, о, лес, дай смертный нам конец,
Вот от каждой золотой венец.

Лес в ответ сестрицам улыбался,
С каждой раз двенадцать лобызался
И открыл им то, что будет.

Три сестрицы умереть желали,
К морю-океану путь держали
И на третий день пришли.

— Море, море, смертный дай конец,
Вот от каждой золотой венец.

Море-океан тут плакать стало,
Триста поцелуев им послало
И открыло то, что было.

Три сестрицы умереть желали,
Путь-дорогу к городу держали,
Город среди острова нашли.

— Город, город, смертный дай конец,
Вот от каждой золотой венец.

Город радостно их встретил,
Жаркими лобзаньями приветил
И открыл им то, что есть.

ПЕСНЯ МАДОННЫ
(Из «Сестры Беатрисы»).

Всякой плачущей душе,
Бедной грешнице мгновенья,
Простираю в лоне звезд
Руки с благостью прощенья.

Грех не может больше жить,
Где любовь, грустя, вздохнула,
Дух не может умереть,
Где любовь слезой блеснула.

Если б тем, кто полюбил,
Суждено с дороги сбиться.
Слезы их текут ко мне
И не могут заблудиться.

СОКРОВИЩЕ СМИРЕННЫХ

I.

Молчание

«Silence and Secrecy!» — восклицает Карлейль — им следовало бы воздвигнуть алтари всеобщего поклонения (если только алтари воздвигаются еще в наши дни). Молчание — та стихия, в которой образуются великие дела, чтобы возникнуть наконец совершенными и величественными в свете жизни, над которой они призваны владычествовать. Не только Вильгельм Молчаливый, но все значительные люди, которых я знал, даже наименее дипломатичные и предусмотрительные, — все воздерживались от болтовни о своих намерениях и будущих творениях. Попробуй и ты с твоими бедными маленькими недоумениями удержать язык в продолжение целого дня; на следующий день ты увидишь, какими ясными покажутся тебе твои планы и обязанности. Каких только обломков, какого сора ни вымели в тебе самом эти безмолвные рабы в то время, как бесполезный шум внешнего мира не проникал в тебя.

Не всегда слово, как говорят французы, есть искусство скрывать свою мысль; часто это — искусство заглушать и подавлять ее, так что скрывать уже больше нечего. Слово могущественно, но есть нечто более властное. Существует швейцарская пословица, подтверждающая это. Sprechen ist Silber, Schweigen ist Gold, — слово серебро, молчание золото; или же еще лучше: слово — дитя времени, молчание — вечности.

«Пчелы работают, только во мраке, мысль работает только в молчании, добродетель — в безвестности...» Ошибочно думать, что одно лишь слово служит истинным общением между людьми. Уста и язык объясняют душу так же, как номер и ярлык картину Мемлинга или другого мастера. Но стóит нам захотеть действительно сказать друг другу что-нибудь, и мы принуждены молчать. Если же в такие минуты мы воспротивились невидимому и властному велению молчать, то мы понесли вечную утрату; ее не возместят нам величайшие сокровища человеческой мудрости, ибо мы потеряли случай услышать другую душу и дать мгновение бытия нашей собственной. А есть много жизней, в которых такие случаи дважды не повторяются.

Мы обмениваемся словами лишь в те часы, когда не живем, в те мгновения, когда не желаем замечать наших братьев, когда чувствуем себя далеко от истинно сущего. Стóит заговорить, как какой-то голос предостерегает нас, что божественные врата уже закрылись где-то.

Вот почему мы так скупы на молчание. Даже самые неблагоразумные из нас не согласятся молчать с первым встречным. Инстинкт сверхчеловеческих истин, которым мы все наделены, предостерегает нас, что молчать с кем-нибудь, кого не хочешь близко знать или кого не любишь — опасно, ибо сказанное проходит, молчание же, если оно хотя бы одно мгновение было

действенным, не исчезнет никогда. Истинная жизнь, единственная, оставляющая какой-либо след, соткана из молчания.

Начните молча вспоминать, прибегните теперь же к молчанию, для того чтобы оно само себя объяснило. Если вам дана способность заглянуть на мгновение в свою душу до глубин, обитаемых ангелами, вы прежде всего вспомните о существе, глубоко вам любимом, и вспомните не о словах его, не о жестах, а о тех минутах молчания, которые вы вместе с ним переживали. Ибо свойство этого молчания обнаружило свойства вашей любви и ваших душ.

Я говорю теперь только о молчании действенном, но есть еще молчание бездейственное — отражение сна, смерти, небытия. Это — молчание, которое спит; покуда оно спит, оно еще менее грозно, чем слово; но неожиданный толчок может пробудить его, и тогда воцаряется брат его — великое действенное молчание. Тогда берегитесь. Две души настигают одна другую, стены поддаются, плотины прорываются, и обыкновенная жизнь уступает место другой, где все становится важным, где ничто не защищается, не улыбается, где ничто не повинует, ничто не забывается...

Всякому из нас ведомо это темное могущество и его опасные игры, и вот почему мы так глубоко боимся молчания. Собственное молчание в одиночестве мы еще выносим; но молчание нескольких, многих и, в особенности, молчание толпы — бремя чрезмерное, тяжести которого страшатся самые твердые души. Мы тратим большую часть жизни на поиски страны, в которой бы не царил молчание. Соберутся два-три собеседника, и нет у них другой мысли, кроме одной — изгнать невидимого врага. Как много обычных дружб не имеет другого основания, кроме ненависти к молчанию. Но если, несмотря на все усилия, оно все-таки проскользнет в число собравшихся, — все с беспокойством обращаются к торжественной и невидимой стороне вещей и вскоре спешат разойтись, уступая место неведомому. В будущем же они станут избегать друг друга, боясь, как бы вековая борьба не оказалась вновь тщетой и как бы один из них не открыл тайно двери противнику...

Многим из нас молчание открывается не более двух или трех раз в жизни. Этого непроницаемого прищельца они дерзают принимать только в торжественных случаях и почти все принимают его достойно: в жизни даже самых отверженных бывают минуты, когда они поступают так, как будто им известно то, что ведомо богам.

Вспомните тот день, когда вы без трепета встретили ваше первое молчание. Ужасный час настал, и оно предстало перед вашей душой. Вы видели, как оно восходило из бездны жизни, о которой не говорят, из глубин красоты и ужаса, — и вы не ушли от него. То было при свидании, на пороге разлуки, среди великой радости, у одра смерти, на краю большого горя. Вспомните эти минуты, когда драгоценные камни становятся видимыми и заснувшая правда внезапно пробуждается, и скажите, не было ли тогда молчание необходимым, не была ли ласка врага, вечно преследуемого, божественной.

Поцелуи горестного молчания, — ибо чаще всего молчание целует нас в горе, — никогда не забываются; вот почему те, которые чаще знали его, выше других. Быть может, им одним известно, какие безмолвные и глубокие воды

таятся под тонкой оболочкой каждодневной жизни; они приблизились к Богу, и сделанные ими шаги в сторону света не затеряются, ибо душа может не восходить, но никогда не падает. «Молчание — великое царство молчания! — восклицает Карлейль, который так хорошо знал это царство жизни, уносящее нас выше звезд, глубже обители смерти... — О, молчание и благородные, молчаливые люди... Они рассеяны повсюду, каждый в своей области; они думают и работают в безмолвии, и утренние газеты о них не говорят. Они — соль земли, и страна, в которой их нет, стоит не на верном пути. Это лес без корней, весь сплетенный из листьев и ветвей, который должен исчезнуть».

Но молчание истинное, к которому приблизиться еще труднее, чем к молчанию фактическому, подразумеваемому Карлейлем, — не из тех богов, что покидают людей. Оно окружает нас со всех сторон, оно — основание нашей внутренней жизни; и стоит кому-нибудь из нас с трепетом постучаться в одну из дверей вечности, то же внимательное молчание открывает ее... Здесь мы опять все равны перед явлением бесконечным; молчание короля и молчание раба имеют тот же облик и скрывают под своим непроницаемым плащом одинаковые сокровища.

Тайна этого молчания, — необходимого, неприкосновенного убежища наших душ, — не исчезнет никогда, и если бы первый человек встретился с последним обитателем земли, они бы одинаково молчали при поцелуях, ужасе и слезах, при всем, что должно быть понятным безо лжи. Несмотря на бесчисленность веков, они бы одинаково поняли — как если бы спали в одной колыбели — то, чему уста не научили бы их до скончания мира...

Когда уста засыпают, просыпаются души и начинают действовать, ибо молчание — стихия, полная счастья, неожиданностей и опасностей, в которых душа свободно владеет собой. Когда вы захотите отдаться кому-нибудь вполне — молчите; и если вы боитесь молчать с ним, — когда боязнь эта не скупость и не священный ужас любви, ожидающей чудес, — бегите от него, ибо душа ваша знает, как надо поступать. Есть существа, с которыми не осмелились бы молчать величайшие герои, и есть души, которые, хоть им и нечего скрывать, все же боятся, как бы некоторые души в них не заглянули. Есть и такие, в которых молчание отсутствует и которые убивают молчание вокруг себя — это единственные существа, проходящие через жизнь незамеченными. Им не удастся перейти через полосу, дающую прозрение, великую полосу света непоколебимого и верного. Нельзя иметь ясного понятия о том, кто никогда не молчал. Можно сказать, что душа его не имеет облика. «Мы не знаем еще друг друга, — писал мне некто, кого я любил более других, — мы еще не осмеливались вместе молчать». И то была правда; мы уже любили друг друга так глубоко, что страшились этого сверхчеловеческого испытания. И каждый раз, как молчание — ангел высшей правды и вестник неведомого во всякой любви — спускалось к нам, наши души, коленапреклоненные, казалось, просили пощады и зывали о еще нескольких часах невинной лжи, о нескольких часах неведения и детства. Но тем не менее час молчания должен настать. — Молчание солнце любви, и на этом солнце вызреют плоды нашей души, как зреют на видимом нам солнце плоды земли.

Но не без основания страшатся люди молчания, ибо неизвестно, каким оно рождается в каждом случае. Если все слова сходны, то молчание всегда различно, и в большинстве случаев вся судьба зависит от того, каковы свойства первого молчания, которое создали две души. Соединение душ происходит неизвестно где, ибо хранилища молчания находятся выше хранилищ разума, и неожиданный напиток может оказаться зловеще-горьким или божественно-сладким. Две прекрасные, одинаково могущественные души могут создать молчание неприязненное и вести во мраке беспощадную борьбу, в то время как душа колодника придет божественно помолчать с душою девственницы.

Ничего нельзя предугадать, все происходит под небом, которое ни о чем не предупреждает; вот почему самые нежные любовники задерживают часто до последней минуты появление этого великого провидца глубин бытия... Тогда они вдруг понимают — истинная любовь приближает даже наиболее легкомысленных к центру бытия, — что все прежнее было лишь игрою ребенка вокруг ограды, и что теперь только пали стены и открылось бытие. Молчание их будет, по своему значению, тождественно с богами, в них живущими; и если они не найдут друг друга в этом первом молчании, то их души не в силах будут любить друг друга, ибо молчание никогда не перерождается. Оно может возникнуть или опуститься между двух душ, но его природа не изменится никогда. И до самой смерти любящих оно сохранит положение, форму, могущество, которыми обладало в то мгновение, когда впервые проникло в комнату.

По мере того, какходишь в жизнь, замечаешь, что все происходит без слов, по какому-то предварительному соглашению; о нем мы даже не думаем, но мы знаем, что оно существует где-то над нами. Самый незначительный из нас так улыбается при первой встрече с людьми, как будто он был издавна соучастником судьбы своих братьев. В нашем кругу тот, кто объясняется яснее других, чувствует тем яснее, что слова никогда не объясняют настоящих отношений между двумя существами. Если я говорю вам теперь о самых значительных признаках любви, смерти и судьбы, я не достигаю еще ни смерти, ни любви, ни дружбы; вопреки всем усилиям, между нами останется навсегда невысказанная истина, открыть которую мы даже не желаем. А между тем одна только эта не имеющая голоса истина жила между нами и ни о чем другом, кроме нее, мы не могли думать. Эта истина — наша собственная истина о смерти, судьбе и любви; мы могли провидеть ее только в молчании. Кроме молчания ничто никогда не будет значительно. «Сестры, — говорит ребенок в одной волшебной сказке, — каждая из вас скрывает тайную мысль; я хочу знать ее». Мы также обладаем чем-то, что хотели бы узнать, но оно ютится гораздо выше, чем тайная мысль: это — наше тайное молчание. Вопросы бесполезны: всякое беспокойное движение испытующей мысли даже мешает жить другою жизнью, которая скрывается в этой тайне. А чтобы познать то, что истинно существует, надо воспитывать между людьми молчание, ибо только в молчании распускаются неожиданные и вечные цветы, меняющие форму и окраску согласно душе, близ которой мы находимся. Души взвешиваются в молчании, как золото и серебро в чистой воде, и произносимые нами слова

имеют смысл только благодаря молчанию, в котором они плавают. Если я скажу кому-нибудь, что люблю его, он не поймет того, что я повторял, быть может, тысяче других людей; но наступающее после слов молчание, если я в самом деле люблю, покажет, до какой глубины доходят корни моих слов, и родит в нем тихую уверенность. Это молчание и эта уверенность не повторяются в жизни дважды...

Не молчание ли определяет и создает аромат любви? Любовь, лишенная молчания, не имела бы своего вечного благоухания. Кто из нас не знал этих безмолвных минут, которые разъединяют уста, чтобы соединить души. Искать их надо неустанно. Нет более послушного молчания, чем молчание любви; только оно принадлежит всецело нам. Прочие великие молчания — смерти, горя или судьбы — нам не принадлежат. Они приближаются к нам из глубины событий, в час, ими самими избранный; тот, кто не встречает их, не должен упрекать себя. Но от нашей воли зависит идти навстречу молчаниям любви. Они ожидают денно и ночью у порога наших дверей и так же прекрасны, как их братья. Благодаря им не знавшие слез могут жить с душами в столь же тесной связи, как и очень несчастные; вот почему людям, много любившим, известны тайны, от других скрытые, ибо в том, о чем молчат уста истинной и глубокой дружбы и любви, таятся тысячи и тысячи мыслей, которых никогда не выразит молчание других уст.

II.

Пробуждение души

Настанет, быть может, время, — а многое возвещает, что оно приближается, — настанет время, когда души будут узнавать одна другую без посредства чувств. Нет сомнения, что область духа с каждым днем все больше и больше расширяется. Теперь душа гораздо ближе от нашего видимого существа и принимает в наших действиях гораздо большее участие, чем два или три века тому назад. Мы как бы приближаемся к духовному периоду. Бывают в истории подобные периоды, когда, подчиняясь неведомым законам, душа всплывает на поверхность человечества и проявляет с большей непосредственностью свое бытие и могущество. Это бытие и могущество раскрываются тысячью неожиданных и разнообразные способов. И кажется, что в эти мгновения человечество близко от того, чтобы хоть слегка приподнять тяжелое бремя материи.

Воцаряется нечто вроде духовного облегчения, и самые суровые и негибкие законы природы местами поддаются. Люди становятся ближе к себе самим и к своим братьям; они начинают вглядываться друг в друга, начинают любить серьезнее и задушевнее. Они нежнее и глубже понимают детей, женщин, животных, природу и предметы. Быть может, статуи, картины и литература, создаваемые ими, не совершенны, но в них сказывается какое-то вечно-живое, чарующее могущество и таинственная грация. Судя по их творчеству, и взгляды этих людей должны отражать братскую любовь и таинственную надежду, и рядом со следами обыкновенной жизни в них

светятся мелькающие следы какой-то другой необъяснимой жизни.

То, что нам известно о древнем Египте, позволяет предположить, что он прошел через один из таких духовных периодов. По всей вероятности, в отдаленнейшую эпоху истории Индии душа поднялась к поверхности жизни до того уровня, которого с тех пор уже больше не достигала... Следы ее почти непосредственного присутствия или воспоминания о нем создают там еще теперь странные явления. Есть много других подобных же моментов в истории, когда кажется, что духовный элемент борется на дне человечества, как утопающий, который барахтается на дне глубокой реки. Вспомните, например, Персию, Александрию и два мистических столетия средних веков.

В противоположность им, есть прекрасные века, когда царствовала красота и образованность, но душа совсем не показывалась. Так, например, она очень далека от эпохи Греции и Рима, от XVII и XVIII столетий у французов (по крайней мере, далека от поверхности этого последнего столетия, ибо его глубины с Клодом Сен-Мартеном, Калиостро, который значительнее, чем это предполагают, с Паскалем и многими другими, скрывают от нас много тайн). Не знаешь почему, но чего-то там нет. Таинственные сношения отрезаны, и красота закрывает глаза.

Трудно объяснить словами и доказать, почему атмосфера божественности и рока, окружающая греческие трагедии, не кажется настоящей атмосферой души. На горизонте этих удивительных трагедий мы открываем вечную и внушительную тайну, но это не та трогательная, родственная и глубоко действующая тайна, которая скрывается в произведениях менее великих и прекрасных. Возьмем более близкое к нам время: Расин — правдивый поэт женского сердца; но кто решится сказать, что он сделал когда-нибудь хоть один шаг навстречу женской душе? Что вы мне ответите, если я спрошу о душе Андромахи или Британика? Действующие лица в трагедиях Расина понимают друг друга только благодаря словам, но ни одно из слов не проникает сквозь пески, отделяющие нас от моря. Они ужасающе одиноки на поверхности какой-то планеты, которая не вращается более на небе. Они не могут молчать, ибо тогда перестали бы существовать.

У них нет *незримого закона*, и можно подумать, что какое-то разъединяющее вещество залегло между их духом и ими самими, между жизнью, которая затрагивает все существующее, и жизнью, затрагивающей одни бысролетные моменты какой-нибудь страсти, горя или желания. Так проходят столетия, в продолжение которых душа спит и никто о ней не думает.

В настоящее время она очевидно делает огромные усилия. Она проявляет себя повсюду необыкновенными способами, выступая властно и стремительно, точно ей дано приказание и она боится потерять время. Она должна приготовиться к решительной битве, и никто не в силах предугадать, каковы будут последствия победы или отступления. Она, быть может, никогда не проявляла более разнообразных и непреодолимых сил. Она как будто чувствует себя прижатой к невидимой стене, и трудно решить, агония ли или новая жизнь волнуют ее. Не стану говорить о тайных силах, пробуждающихся вокруг нас, о магнетизме, телепатии, о неожиданных свойствах лучистой материи и о многих

других явлениях, которые колеблют официальную науку. Все эти явления общеизвестны и легко могут быть наблюдаемы. И все же они ничтожны рядом с тем, что происходит в действительности, ибо душа похожа на спящего, который из глубины сновидений делает странные усилия, чтобы шевельнуть рукой или приподнять веки.

В других областях, к которым толпа относится менее внимательно, пробуждение души еще более несомненно, хотя оно менее заметно для глаз, не привыкших видеть. Так, например, в музыке можно подумать, что ее голос вот-вот пронзит победным криком последние заглушающие ее фальшивые звуки. И чувствовалось ли когда-нибудь в живописи более сильное священное тяготение к кому-то незримо присутствующему, чем в некоторых произведениях известных современных художников? Наконец не замечаем ли мы и в литературе, что некоторые вершины освещаются светом, непохожим на самые причудливые лучи предшествующей литературы? Мы приближаемся к какому-то неведомому преображению молчания, и *властно позитивное*, царившее до сих пор, подходит, кажется, к концу.

Я не останавливаюсь на этих явлениях, потому что о них еще рано говорить; но мне кажется, что редко когда предстоял человечеству более настоящий случай духовного освобождения. Это похоже даже иногда на *ультиматум*, вот почему нужно употребить все усилия, чтобы не упустить этот случай, принадлежащий по своей природе к сновидениям, которые безвозвратно исчезают, если их вовремя не закрепить. Надо быть благоразумным, ибо душа наша волнуется не без причины. Но волнение, замечаемое нами, ясно только на умозрительных вершинах существования, незаметно для нас обнаруживается также на самых будничных тропинках жизни; ибо всякий цветок, расцветший на высоте, в конце концов падает в долину. Увял ли он уже? Не знаю. Во всяком случае мы часто разливаем в нашей каждодневной жизни среди самых смиренных существ таинственные и непосредственные отношения, духовные явления и сближения душ, о которых в прежнее время никогда не говорили. Существовали ли они до нас не столь явными? Надо этому верить, ибо во все времена жили люди, которые доходили до самых таинственных отношений жизни и которые передали нам все, что они постигли о сердце, разуме и душе своего времени. Весьма вероятно, что и тогда существовали эти отношения, но они еще не отличались той силой, свежестью и всеобщностью, которыми обладают теперь, не доходили до глубины человечества. В противном случае они обратили бы на себя взоры мудрецов, которые обошли их молчанием. Я уже не говорю о «научном спиритизме», о явлениях телепатии, «материализации» и о других феноменах, только что перечисленных. Речь идет о событиях и проявлениях души, которые постоянно встречаются теперь и в жалком существовании людей, живущих в забвении своих вечных прав. Речь идет также о психологии, совершенно отличной от обыкновенной психологии, которая не по праву заимствовала свое прекрасное имя от Психеи, ибо в действительности занимается лишь духовными явлениями, тесно связанными с материей. Словом, речь идет о том, чему могла бы нас научить трансцендентальная психология, которая непосредственно

исследовала бы отношение души к душе, а также *чувствительность и чудесную осязаемость нашей души*. Эта наука, которая должна поднять человека ступенью выше, только теперь возникает, и она не замедлит устранить элементарную психологию, господствовавшую донныне.

Эта непосредственная психология, спускаясь с гор, вторгается в самые маленькие долины. Ее присутствие замечается и в произведениях самых посредственных. Вот лучшее доказательство того, что власть души увеличилась в человечестве и что ее таинственная деятельность стала всеобщей. Мы касаемся теперь предметов почти несказанных и должны ограничиться примерами несовершенными и грубыми. Вот два-три наиболее элементарных и осязаемых. В прежнее время, если порою и возбуждался вопрос о предчувствии, о странном впечатлении какой-нибудь встречи или взгляда, о решении, зародившемся в бессознательной части человеческого разума, о необъяснимой, но тем не менее постигнутой силе, о тайных законах антипатии или симпатии, о духовном родстве, сознательном или инстинктивном, о преимущественном влиянии чего-то невысказанного, то никто не останавливал внимания на этих предметах, которые, впрочем, весьма редко беспокоили мыслителя. С ними сталкивались лишь случайно. Никто не подозревал, какую тяжестью они ложатся на всю жизнь, и от них торопились скорее возвратиться к обычной игре страстей и внешних приключений.

И вот эти феномены, которые в прежнее время мало занимали даже наиболее великих, наиболее мыслящих из наших братьев, в наше время беспокоят самых ничтожных людей. Этим еще раз доказывается, что человеческая душа — растение совершенного единства, и что все ее ветви, если время наступило, расцветают одновременно. Крестьянин, которому был бы дан внезапно дар выразить то, что у него на душе, высказал бы в наши дни то, чем еще не обладала душа Расина.

Вот почему люди гораздо меньшего гения, чем Расин или Шекспир, провидели таинственно светящуюся жизнь, открывавшуюся лишь образной своей стороной великим учителям минувших времен. Не достаточно ведь, чтобы великая душа металась в одиночестве среди пространства и времени. Без помощи других она мало совершит. Она лишь цветок толпы. Нужно, чтобы она сошла в ту минуту, когда взволновался весь океан душ целиком. Если же она снизошла в минуту сна, она сможет говорить только о сновидениях. Гамлет, — чтобы взять самый яркий пример, — Гамлет в Эльсиноре каждую секунду приближается к краю пробуждения. А между тем, несмотря на холодный пот, венчающий его бледное чело, есть слова, которые он произнести не в силах; в наше же время он, без сомнения, произнес бы их, потому что даже душа бродяги или вора, идущего мимо, помогла бы ему говорить. Гамлет, смотрящий на Клавдия или свою мать, научился бы теперь тому, чего тогда еще не знал, ибо теперь души не окутаны столькими покрывалами, как прежде. Знаете ли вы, — а это истина странная и волнующая, — знаете ли вы, что если вы не добрый, то более чем вероятно, ваше присутствие возвестит об этом теперь во сто крат яснее, чем два или три столетия тому назад? Знаете ли, что если вы сегодня утром опечалили хоть одну душу, — душа крестьянина, с которым вы

станете беседовать о грозе или дожде, была об этом уведомлена еще раньше, чем рука его открыла вам дверь? Примите образ святого, образ мученика или героя, все же встреченный вами ребенок не будет вас приветствовать тем же взором, если вы таите в себе злую мысль, несправедливость или слезы брата. Быть может, сто лет тому назад душа его прошла бы мимо вашей, ничего не видя и не замечая...

В настоящее время становится трудным питать в своем сердце скрытую от взоров ненависть, зависть или измену; до того даже самые невнимательные души постоянно стоят настороже вокруг нашего существа. Наши предки обо всем этом не упоминали, и очевидно, что жизнь, среди которой мы волнуемся, совершенно отлична от той, какую они изображали. Обманули ли они нас или сами не знали? Знаки и слова теперь более ни к чему не служат, и почти все решается таинственной силой простой встречи. Древняя воля, всем известная и такая логичная, тоже изменилась в свою очередь и продолжает меняться от непосредственного влияния великих законов, неизъяснимых и глубоких. Почти не стало больше скрытых убежищ, и люди больше сближаются друг с другом. Они судят друг друга по тому, что кроется за словами и поступками и даже за мыслями, ибо то, что они видят, хотя и не постигают, лежит за областью мысли. Это одно из великих знамений; по ним узнают духовные эпохи, о которых я сейчас говорил. Всюду чувствуется, что отношения обыкновенной жизни начинают меняться, и более молодые из нас уже говорят и действуют не так, как люди предшествующего поколения. Множество условностей, обычаев, завес и бесполезных посредствующих звеньев упало в бездну, и мы почти все, не зная этого, уже судим друг о друге лишь по законам незримого. Когда я вхожу в вашу комнату, вы не будете основываться на законах, хотя бы и глубочайших, практической психологии, когда произнесете свой таинственный приговор, который человек произносит в присутствии человека. Вы не можете сказать мне, откуда вы узнали, кто я, но вы пойдете мне навстречу с целым грузом неизреченных доказательств. Отец ваш, быть может, судил бы иначе обо мне — и ошибся бы.

Надо верить, что скоро человек коснется человека, и духовная атмосфера переменится. Сделали ли мы, как говорит великий «неведомый философ» Клод Сен-Мартен, сделали ли мы шаг вперед по светлой и поучительной дороге, ведущей к единству всех существ? Будем ждать в молчании; может быть, нам вскоре суждено услышать шепот богов.

III.

Предупрежденные

Их знает большинство людей, и почти все матери видели их. Их существование, может быть, неизбежно, как все страдания; и тот, кто не приближался к ним, менее нежен, менее печален и менее добр. Они странные. Кажется, что они ближе к жизни, чем другие дети, и что они ничего не подозревают; а между тем в их глазах таится глубокая уверенность, которая заставляет думать, что им все известно и что они употребили не один вечер на

то, чтобы объяснить себе свою тайну.

В то время, как их братья еще ошупью бродят между рождением и жизнью, они уже себя узнали; они уже твердо стоят на ногах, готовясь принять свою судьбу. Поспешно, расчетливо и обдуманно готовятся они к жизни: и эта поспешность есть та примета, на которую матери, — эти невольные и скромные наперсницы всего невысказанного, — едва смеют взирать. Часто у нас нет времени заметить их; они безмолвно уходят от нас и остаются навсегда неузнанными. Но другие задерживаются дольше, с внимательной улыбкой смотрят на нас и как будто готовы сознаться в том, что они все поняли. Но потом, достигнув двадцатилетнего возраста, они поспешно удаляются, заглушая шаги, и кажется, будто им стало ясно, что они ошиблись жилищем и готовились провести жизнь среди людей им чуждых. Сами они ничего почти не говорят и заслоняют себя облаком, если чувствуют себя ранеными или видят, что люди близки от того, чтобы их настигнуть. Бывают дни, когда кажется, что они с нами, среди нас; но наступает вечер, и они уже настолько отделились, что мы не осмеливаемся их больше ни узнавать, ни вопрошать. Они там, по ту сторону жизни, и чувствуется, что пришло наконец время, когда надо возвестить о чем-то более важном, более человечном, более реальном и более глубококом, чем дружба, жалость или любовь, о чем-то таком, что трепещет в груди, как смертельно раненая птица, и чего никто не знает, никто не высказывал и чего нельзя высказать, ибо столько жизней проходит в молчании. А время торопит, и кто из нас не выжидал так до того мгновения, когда уже нельзя было отвечать?

Почему пришли они, почему уходят? Не родятся ли они только для того, чтобы доказать нам, что жизнь не имеет цели? Стоит ли вопрошать, если никогда не будет ответа? Я был несколько раз свидетелем этого явления и однажды наблюдал его так близко, что уже не мог различить, касается ли оно другого или меня самого...

Так умер один из моих братьев. Казалось, что, сам того не зная, он один был предупрежден, между тем как мы, может быть, знали что-то, но не получили того внутреннего предуведомления, которое он таил в себе с первых дней жизни. Как узнают людей, над которыми тяготеет важное событие? Нет ничего явного, а между тем мы все видим. Они боятся нас, потому что мы беспрестанно и произвольно уведомляем их. Стоит нам подойти к ним, как они уже чувствуют, что мы вооружаемся против их будущего. Мы всегда что-то прячем от большинства людей, но сами не знаем что. Между двумя встречающимися в первый раз людьми проходят странные тайны жизни и смерти и много других тайн, у которых нет еще имени, но которые непосредственно завладевают движениями нашего тела, нашим взором и нашим лицом. И когда мы пожимаем руку друга, душа наша бросает нескромные взоры, которые, быть может, не останавливаются и на пороге земной жизни. Между двумя существами может и не быть никакой затаенной мысли, но останется всегда нечто более могущественное и глубокое, чем мысль.

Мы не властны над этими неведомыми дарами и постоянно обнаруживаем

в себе пророка, лишённого дара слова. Мы никогда не бываем при других такими же, как наедине с собой, даже не такими, какие мы с ними в темноте. Наши взоры меняются, согласно тому прошлому и будущему, которое они провидят. И вот почему мы помимо воли живём всегда настороже. Встречаясь с теми, которым не суждено жить, мы видим не их, а то, что их ожидает. Им хотелось бы нас обмануть, чтобы обмануться самим. Они делают все, чтобы сбить нас с пути, а между тем в их смехе и горячем порыве сквозит уже конечное событие, как будто бы оно и есть основание и смысл всего их существования. Лишний раз смерть изменила им, и они с грустью замечают, что мы все видели и что есть голоса, которые не могут молчать.

Кто выяснит силу событий и связь их с нами? От нас ли они рождаются или мы от них? Мы ли притягиваем их или они нас? Кто на кого сильнее влияет? Ошибаются ли они когда-нибудь? Почему они льнут к нам, как пчела к улью, как голубь к голубятне, и куда укрываются те, которые не находят нас на месте свидания? Откуда идут они нам навстречу? И почему они похожи на нас, как родные братья? Действуют ли они в прошлом или в будущем? Те ли могущественнее, которые прошли, или те, которые не наступили? Кто из нас не проводил большую часть жизни под тенью ещё не случившегося события? Эти значительные жесты, эту походку, которая, казалось, вела к цели слишком близкой, это предчувствие великих холодов и этот сосредоточенный взор, которого нельзя было развлечь, — все это я замечал даже в людях, которым суждена была случайная кончина и на которых смерть обрушивалась извне и неожиданно. А между тем они спешили так же, как их братья, таившие смерть в себе. У них было то же лицо. Им так же жизнь казалась более значительной, нежели тем, кто осужден жить.

Они действовали с тем же уверенным молчаливым вниманием. Им нельзя было терять времени; они должны были быть готовы в один и тот же час, ибо событие, которого не мог бы предсказать ни один пророк, было, даже без их ведома, жизнью их жизни.

Смерть руководит нашей жизнью, и жизнь не имеет другой цели, кроме смерти. Наша смерть — форма, в которую отлилась наша жизнь, и она же образовала наш облик. Писать портреты следовало бы только с умерших, ибо только они одни верны себе и на мгновение показывают нам свою сущность. Всякая жизнь освещается в том чистом, холодном и простом свете, который падает на подушку в предсмертные часы. Не тот же ли самый свет уже озаряет лица этих детей, когда они, не мигая, улыбаются нам; и не он ли заставляет нас хранить безмолвие, какое царит в комнате, где лежит кто-нибудь, умолкший навсегда? Когда я припоминаю всех, кого знал и кого та же смерть вела за руку, я вижу толпу детей, девушек и юношей, которые как будто вышли из одного и того же дома. Они все уже братья и сестры, и можно сказать, что они узнают друг друга по скрытому знаку, который они делают друг другу в то время, когда мы не глядим на них, — по знаку молчания. Это дети, ожидавшие близкой смерти. В школе мы смутно различали их. Они искали и в то же время избегали друг друга, как те, которые страдают одной и той же немощью. Их видели уединяющимися под деревьями сада. В их улыбке, сдержанной или

менее телесной, чем наша, таилась одинаковая важность, и все они имели вид людей, боящихся выдать какую-то тайну. Они умолкали, когда к их группе подходил человек, осужденный жить. Быть может, они уже говорили в это время о конечном событии; или просто им было известно, что событие заявляло о себе через них и помимо них, и они старались скрыть его от равнодушного взора.

Иногда казалось, что они смотрят на нас с высоты башни, и хотя они были гораздо слабее нас, мы не осмеливались притеснять их. Правда в том, что нет ничего скрытного. Все вы, встречающие меня, знаете, что я сделал и что сделаю, что я думал и что думаю. Вы наверно знаете день, когда я умру: но вы не нашли еще способа выразить это даже тихим голосом в собственному сердце. Мы привыкли проходить в молчании мимо того, к чему не прикасается наша рука, и мы знали бы, может быть, слишком много, если бы знали все то, что знаем!

Мы живем бок о бок с нашей настоящей жизнью и чувствуем, что мысли наши, даже наиболее интимные и глубокие, не заботят нас, ибо мы сами не то, что наши мысли и наши мечты, и только в редкие минуты, почти не замечая того, мы живем в согласии с самими собою.

Когда же мы станем тем, что мы есть? В ожидании этого дня мы вели себя с ними, как с чужими. Они вносили испуг в нашу жизнь. Они гуляли иногда с нами по коридорами и садам, но нам трудно было следовать за ними. Иногда же они вступали в наши игры, и игра казалась уже другой. Иные не находили своих братьев и одиноко бродили среди наших криков, не видя друзей среди тех, которые не готовились скоро умереть. А между тем мы их любили, и ничье лицо не казалось столь привлекательным, как их лицо. Что стояло между ними и нами, и что стоит между всеми нами? На дне какого моря тайн живем мы? И здесь также царил та любовь, которой уже нельзя высказать, потому что она не участвует в жизни этого мира. Быть может, она не вынесла бы никакого испытания. Кажется, что каждую минуту мы готовы изменить ей, и что самая обыкновенная дружба имеет вид победы над ней; а между тем ее жизнь более глубока, чем мы сами, и, может быть, она потому кажется нам равнодушной, что рассчитана на время более долгое и более верное. Она не говорит здесь, ибо знает, что будет говорить потом.

Мы не всегда любим всего сильнее тех, кого целуем. Таким образом есть область жизни, самая лучшая, самая чистая и самая значительная, которая не привходит в жизнь обыкновенную; и даже глаза влюбленных не проникают через эту плотину молчания и любви. Или, может быть, мы сторонились их, потому что, хотя младше годами, они были старше нас?.. Знали ли мы, что они были не нашего возраста, и боялись ли мы их, как судей? Их взоры были менее подвижны, чем наши, и когда эти взоры случайно устремлялись на наши игры, мы беспричинно затихали, и на мгновение наступало непонятное молчание. Мы оборачивались. Они за нами следили и значительно нам улыбались. Помню лица двоих, которых ожидала насильственная смерть. Но почти все они были робки и старались пройти незамеченными. Они страдали какой-то смертельной застенчивостью и, казалось, просили прощения в какой-то ошибке, неведомой,

хотя близкой. Они подходили к нам, мы обменивались взорами, и они удалялись, не говоря ни слова, и, ничего не зная, все постигали.

IV.

Мистическая мораль

Никакого нет сомнения в том, что наши мысли придают произвольную форму незримым движениям внутреннего мира. Есть тысячи и тысячи уверенностей, которые похожи на закутаных цариц. Они проводят нас через все наше существование, но назвать их мы не в силах.

Все, выраженное в словах, странным образом утрачивает свою значительность. Нам кажется, что мы достигли дна пучины, но едва мы всплываем на поверхность, как видим, что капля воды, сверкающая на конце наших бледных пальцев, не напоминает более моря, откуда она взята. Мы думаем, что открыли грот, полный драгоценных камней; но когда мы достигаем света, в наших руках оказываются только фальшивые камни и куски стекла; а между тем сокровище неизменно сверкает во мраке. Есть нечто непроницаемое между нами и нашей душой, и в известные моменты, говорит Эмерсон, «мы доходим до того, что страстно жаждем страданий в надежде, что в них-то наконец обречем действительность и почувствуем заостренное жало и когти истины».

Я где-то сказал, что души начинают как будто сближаться. Эта, мысль имеет лишь значение смутного и непрерывная впечатления, которое трудно было бы подтвердить фактами, ибо факты ни что иное, как ленивые бродяги и шпионы великих сил, остающихся незримыми. И все же можно утверждать, что моментами мы чувствуем глубже, чем наши отцы, что мы живем в присутствии не только самих себя. И не верующие ни в какого Бога, так же, как и верующие, поступают наедине с собой не так, как если бы они были уверены, что они одни. Существует высший суд, совершающийся не только в снисходительных сумерках совести каждого человека. Правда ли, что духовные сосуды запечатаны менее тщательно, чем прежде, и что колебания внутреннего моря становятся могущественнее? Не знаю; можно только признать, что мы не придаем более значения некоторым традиционным заблуждениям, и уже это признак некоторой духовной победы.

Кажется, будто нравственность наша меняется и будто она мелкими шагами приближается к странам более высоким и пока еще невидимым. Вот почему настало, быть может, время задать себе несколько новых вопросов. Что, например, произошло бы, если бы наша душа, став внезапно видимой, должна была подойти к своим собравшимся сестрам, лишенная своих покровов, но отягощенная своими самыми заветными мыслями и ведя за собой самые таинственные события своей жизни, которых ничто не могло выразить? Что заставило бы ее краснеть? Что захотела бы она скрыть? Спустила ли бы она, подобно стыдливой женщине, длинную мантию своих волос на бесчисленные грехи плоти? Она их не знала, и эти грехи никогда не достигали ее. Они были совершены за тысячу верст от ее престола; и даже душа содомитянина прошла

бы через толпу, ничего не подозревая и тая в глазах прозрачную улыбку ребенка. Она ни в чем не принимала участия; она совершала путь жизни в полосе света и только об этой жизни она будет вспоминать. Какие грехи и какие обычные преступления могла она совершать? Она ли изменяла, обманывала, лгала? Она ли заставляла страдать или плакать? Где находилась она, когда человек выдавал своего брата недругам? Она, быть может, плакала вдали от него и с того времени стала более глубокой и прекрасной. Она не будет стыдиться того, чего не совершала, и может остаться чистой даже посреди страшного убийства. Иногда она претворяет во внутреннее просветление то зло, при котором принуждена присутствовать. Все зависит от незримого начала, и вот где, без сомнения, рождается неизъяснимая снисходительность богов — а также и наша снисходительность.

Мы не можем не прощать; и когда приходит смерть, «великая примирительница», кто из нас не падает на колени и не осеняет безмолвно знаком прощения покинутую душу? Неужели вы думаете, что, наклоняясь над неподвижным телом моего врага и глядя на эти бледные уста, которые злословили меня, на эти погасшие глаза, которые заставляли плакать мои, на эти холодные руки, которые, быть может, когда-то мучили меня, — неужели вы думаете, что я все еще помышляю о мщении? Смерть мимоходом уничтожила все счеты; душа мне больше ничего не должна, и я инстинктивно ставлю ее выше самых жестоких несправедливостей и самых тяжких заблуждений (как значителен и удивителен этот инстинкт!). И если мне чего-либо и жаль, то не того, что я не могу, в свою очередь, причинить страдания, но того, быть может, что я не достаточно любил, что не простил раньше...

Можно сказать, что уже все это мы теперь постигаем в глубине себя самих. Не по действиям и даже не по самым тайным мыслям судим мы о наших братьях, ибо в тайных мыслях не всегда можно разобраться; мы же идем дальше неразборчивого.

Человека совершает преступления, которые могут быть сочтены самыми низкими; а между тем тягчайшие из них не в силах исказить хотя бы на один миг атмосферу окружающей его свежести и бестелесной чистоты; в то же время близость мученика или мудреца может окутать нашу душу тяжелыми и невыносимыми сумерками. Герой или святой может выбрать себе друга среди лиц, на которых без труда читается привычка ко всем низким мыслям, и может не чувствовать себя «в атмосфере братской или человеческой» рядом с другим существом, чело которого освещается самыми высокими и великодушными мечтами. Что это означает? Что нового открывает нам это? Существуют, следовательно, законы более глубокие, чем те, которые управляют действиями и мыслями? Кто научит нас понимать их, и почему мы всегда действуем сообразно правилам, о которых никто не говорит, хотя они единственно верны?

Ибо можно утверждать, что, вопреки очевидности, герой и святой не ошиблись. Они только кому-то повиновались, и, если святой обманут и предан человеком, им самим выбранным, все же останется нечто непоколебимое, и это нечто ему скажет, что обмана не было, что нечего жалеть. Душа никогда не забудет, что другая душа была светла...

В то время, когда мы шевелим почти несокрушимый камень, покрывающий эти тайны, нас окружает слишком сильный запах бездны, и слова, как и мысли, падают вокруг нас, как отравленные мухи. Даже внутренняя жизнь кажется чем-то несущественным рядом с этими неизменными глубинами. Станете ли вы в присутствии ангела гордиться тем, что никогда не ошибались, и не существуют ли невинности низшего разряда? Когда Христос читал низкие мысли фарисеев, окружавших расслабленного из Капернаума, уверены ли вы, что Он тем же взглядом судил их душу, что Он осуждал и ее и не провидел за их мыслями свет, быть может, неугасимый?

.....

Неужели вы думаете, что, даже будучи чистыми, вы можете утаить от глаз собравшихся ангелов мелкие побуждения ваших благородных поступков? А между тем разве в нас нет многого такого, что казалось бы ничтожным в глазах богов, сидящих на высотах? Несомненно есть, и наша душа не забывает, что должна будет дать отчет. Она живет безмолвно под властью Великого Судьи, приговоры которого мы не в силах достигнуть. Но каков будет этот отчет? Какое нравственное учение откроется нам? Нет ли таинственной морали, обитающей в странах более отдаленных, чем страны мыслей, и нет ли срединной звезды, которой мы не видим, так что все наши страстные устремления к ней не более, чем бессильные планеты?

Нет ли в центре нашего существа прозрачного дерева, на котором все наши поступки и добродетели лишь эфемерные цветы и листья? Мы не знаем, в сущности, какое зло может совершить наша душа, и также не знаем, от чего мы покраснели бы перед высшим разумом или перед другой душой; а между тем кто из нас чувствует себя чистым и не страшится судьбы? И какая душа не боится другой души? Здесь мы находимся уже вне знакомых долин жизни животной и психической. Мы подходим к вратам третьей ограды, к божественной жизни мистиков. Мы переступаем только ощупью этот порог. А раз переступив его, куда девается наша уверенность? Где таятся те удивительные законы, которые мы беспрестанно нарушаем, не сознавая, быть может, этого, хотя душа наша и была предупреждена? И откуда рождается тень этих таинственных нарушений, тень, простиравшаяся иногда над нашей жизнью и делавшая ее внезапно столь страшной? Каковы великие духовные грехи, которые мы можем совершить? Станем ли мы стыдиться того, что боролись с нашей душой, или же наша душа невидимо борется с Богом? И настолько ли эта борьба молчалива, что ни один вздох не проникает через стену? Наступает ли мгновение, когда мы можем слышать эту царицу с замкнутыми устами? Она безнадежно молчит при всех внешних происшествиях: но нет ли иных происшествий, еле уловимых, которые соприкасаются однако с силами вечными и глубокими? Вот кто-то умирает, кто-то смотрит, плачет; вот к вам приближается кто-нибудь в первый раз, и мимо вас проходит ваш враг; тогда ли раздастся ее шепот? А вдруг вы ее услышите в ту минуту, когда уже не любите в будущем друга, которому пока еще улыбаетесь? Но все это ничто и не приближается даже к видимому свету бездны. Нет сил говорить о таких вещах, ибо чувствуешь себя слишком

одинокими. «В настоящее время, — говорит Новалис, — душа кое-где просыпается; когда же она совсем проснется и человечество начнет сознавать себя в массе?» Только при этом условии немногие поймут нечто. Надо терпеливо ждать, чтобы мало-помалу образовалось это высшее сознание. Возможно, что кому-нибудь из рожденных в то время удастся выразить то, что мы все чувствуем о той стороне души, которая похожа на скрытую от нас поверхность луны, не виденную еще никем от начала мира.

V. *О женщинах*

В этой области также царят законы, нам неизвестные. Среди неба, над нашими головами сияет предопределенная нам звезда любви; и всякая наша любовь будет до скончания мира рождаться в лучах и атмосфере этой звезды. Как бы мы ни искали направо или налево, на высотах или в глубине, как бы мы ни старались переступить заколдованный круг, замыкающий все действия нашей жизни, и, насилуя инстинкт, как бы мы ни пытались сделать выбор наперекор выбору нашей звезды, мы все-таки изберем ту, которая сошла к нам с незыблемого светила. И если, подобно Дон-Жуану, мы обнимем тысячу и трех, все же, при наступлении вечера, когда слабеют объятия и разъединяются уста, мы поймем, что, добра ли она или зла, нежна или жестока, любящая ли она или неверная, все та же женщина стоит перед нами...

Мы, в самом деле, никогда не переступаем через этот небольшой круг света, который судьба очертила вокруг нас; и даже люди, стоящие всего дальше от нас, хорошо знают и цвет и форму этого непереступаемого кольца. Они прежде всего замечают оттенок этих духовных лучей; смотря уже по их качеству, они, улыбаясь, протягивают нам руку или отдергивают ее с ужасом. Мы все знаем друг друга в высшей атмосфере, и представление, которое я себе составляю о незнакомце, исходит непосредственно из правды более таинственной и более глубокой, чем правда материальная. Кто из нас не испытывал влияния того, что происходит в непроницаемой области почти астральной жизни? Когда вы получаете письмо, пришедшее с затерянного среди океана острова, написанное рукою того, о чьем существовании вы не имели понятия, уверены ли вы, что он незнаком вам? Не узнаете ли вы в момент чтения о душе, которую встретили, одному Богу известно, в каких сферах, истину более непогрешимую и более глубокую, чем все обыкновенные истины? А с другой стороны, не уверены ли вы, что душа эта, мечтая о вашей наудачу, вне времени и пространства, обладала подобной же истиной? Нас окружают странные способы узнавать друг друга, и мы не можем скрыть свое существование. Эта тонкая связь, которая существует между всеми душами, становится понятнее, если постигнуть маленькие тайны, сопровождающие обмен писем между двумя незнакомцами.

Это, быть может, одна из узких щелей, — без сомнения жалкая, но их так мало, что мы принуждены довольствоваться светом самым бледным, — это, быть может, одна из тех узких щелей в дверях мрака, через которые нам дается

возможность провидеть на мгновение все то, что должно свершаться в гроте сокровищ, еще доныне не открытых.

Просмотрите полученные кем-либо письма и вы обнаружите в них какое-то странное единство. Я не знаю ни одного из тех, кто обращался ко мне сегодня утром, а между тем я уже уверен, что одному ответу не так, как другому. Я увидел нечто невидимое.

И в свою очередь, когда мне пишет кто-нибудь, кого я не знаю, я уверен, что его письмо ко мне не совсем такое же, какое бы он писал другу, который смотрит на меня в эту минуту? Всегда намечается неуловимое духовное различие. Это знак души, которая незримо приветствует другую душу. Надо верить, что мы знаем друг друга в сферах, о которых не имеем понятия, и что у нас всех есть общая родина, куда мы уносимся, где находим друг друга и откуда без труда возвращаемся.

В этой же общей отчизне мы выбираем своих возлюбленных, и вот почему мы не ошибаемся, и почему наши возлюбленные также никогда не ошибаются. Область любви — прежде всего великая область достоверностей, потому что в ней наиболее досуга. Там есть только одно занятие — узнавать друг друга, восторгаться и вопрошать друг друга со слезами на глазах, подобно молодым сестрам, которые смотрят друг на дружку после долгой разлуки, в то время как их руки переплетаются и уста целуются так далеко от их души.

Там есть досуга для того, чтобы улыбаться и жить хоть одно мгновение для себя, отдыхая от жизни, жестокой и каждодневной; и, быть может, с высоты этой улыбки и этих неизреченных взглядов нисходит в самые скучные минуты любви та таинственная соль, которая сохраняет навеки воспоминание о слиянии одних уст с другими. Но я говорю здесь только о любви предопределенной и истинной. При встрече с той, которая нам предназначена судьбою и которая вышла из глубины великого духовного града, где мы живем, сами того не зная, и направилась к перекрестку той дороги, где мы должны пройти в назначенный час, — мы предупреждены с первого взгляда. Некоторые пытаются тогда преодолеть судьбу. Мы, конечно, можем нарочно закрывать руками глаза, чтобы не видеть того, что надо видеть. Борясь всеми нашими слабыми силами против вечных сил, мы можем перейти через дорогу, чтобы направиться к другой, которая проложена там не для нас. Но, как бы мы ни старались, нам никогда не удастся «взволновать мертвые воды в огромных резервуарах будущего». Из усилий наших ничего не выйдет; таинственная сила не сойдет на нас с высоты, и эти объятия и бесцельные часы не сопричислятся к истинным часам и объятиям нашей жизни. Судьба закрывает иногда на время глаза, но она знает, что наступит вечер, и мы вернемся к ней, и что последнее слово останется за нею.

Она может закрывать глаза, но те часы, когда она держит их закрытыми, для нас потерянные часы. Кажется, что женщина более подвержена влиянию судьбы, чем мы. Она покоряется ей с большей простотой. Она никогда искренно не борется с ней. Она еще близка к Богу и подчиняется с меньшей осторожностью воздействиям тайны. И вот, должно быть, причина, объясняющая нам, почему все события нашей жизни, в которых замешана

женщина, приближают нас к чему-то, напоминающему самые источники судьбы. В их близости испытываешь моментами «светлое предчувствие» жизни, не всегда параллельной и тождественной с нашей внешней жизнью.

Она приближает нас к преддверью нашего существования. Кто знает, не тогда ли герои постигали силу и верность своей звезды, когда они покоились на женской груди, и обладает ли вообще точными чувствами будущего тот, кто никогда не отдыхал у сердца женщины? Мы снова вступаем в смутный круг высшего сознания. О! Как верно, что так называемая психология не что иное, как призрак, похитивший место в святилище, предназначенном для изображений богов!

Это тем более верно, что не всегда речь идет о том, что видно на поверхности, и даже не о тайных и самых важных мыслях. Неужели вы думаете, что любовь заключается только в мыслях, действиях или словах, и что душа никогда не вырывается из этих темниц? Необходимо ли мне знать, что та, которую я сегодня целую, ревнива или верна, весела или печальна, искренна или коварна? Неужели вы думаете, что эти маленькие ничтожные слова достигают высоты, где пребывают наши души и где судьба наша свершается в безмолвии? Какое мне дело до того, говорит ли она о дожде или нарядах, о перьях или иголках, что она как будто не понимает меня? Неужели вы думаете, что я жажду высоких слов в ту минуту, когда чувствую, как другая душа глядит мне в душу? Неужели я не знаю, что самые великие мысли не имеют права поднимать голову в присутствии тайн? Я всегда нахожусь лишь на берегу океана, и будь я Платон, Паскаль или Микель-Анджело, и говори со мною моя возлюбленная о своих серьгах, — все, что я мог бы ей сказать и услышать от нее, одинаково бездельно, казалось бы, над глубинами внутреннего моря, единственного, которое мы созерцаем в душе друг друга. Моя самая высокая мысль не перетянет на весах жизни или любви трех слов, которые любящий меня ребенок пролепечет о своих серебряных кольцах, о жемчужном ожерелье или о кусочках стекла...

Это мы не понимаем их, ибо находимся на мелкой глубине своего сознания. Стоит взобраться до первых снегов горы, и все неровности сглаживаются перед величием открывающегося горизонта. Какая разница тогда между изречением Марка Аврелия и фразой ребенка о том, что холодно? Будем смиренны и постараемся отличить случайное от существенного. Нужно, чтобы плавающие на поверхности водоросли не отвлекали наших мыслей от чудес, скрытых в пучине.

Самые прекрасные мысли и самые низкие помыслы так же мало изменяют нашу душу, как Гималайские горы и пропасти — вид нашей земли среди небесных светил. Один взгляд, один поцелуй, одна мысль о присутствии невидимого, — и все сказано; я знаю, что рядом со мной — равная мне...

Но эта равная мне поистине удивительна и непостижима. Последняя женщина, стоит ей только полюбить, уже обладает тем, чего нет в нас, ибо в ее мыслях любовь всегда бесконечна.

Не потому ли у всех них сохранились сношения с первобытными силами жизни, для нас уже недоступные? Лучшие из нас чувствуют себя всегда на

большом расстоянии от своих сокровищ, скрытых за второй оградой; и когда в торжественную минуту нашей жизни им вдруг понадобится какое-нибудь из этих сокровищ, они уже не в силах вспомнить, какие тропинки ведут к ним, и поэтому вынуждены предлагать никогда не ошибающейся судьбе поддельный камень своего разума.

Но женщина никогда не забывает дороги к центру своей души. Какой бы я ее ни увидел — богатой или нищей, невежественной или ученой, опозоренной или славной, — стоит ли обратиться к ней со словом, действительно исходящим из девственной глубина моей души, и она сумеет тотчас отыскать таинственную тропинку, которой никогда не теряла из виду, и без колебаний вынесет мне из глубины неисчерпаемых сокровищ любви слово, взгляд, движение, которые будут так же чисты, как и моя любовь.

Можно сказать, что ее душа всегда у нее под рукою; она денно и ночью готова отвечать высочайшим требованиям другой души; и дары беднейших из них ничем не отличаются от даров, приносимых королевами...

Нужно поэтому подходить с уважением к самым смиренным и к самым гордым, к рассеянным и к погруженным в размышление, к тем, кто еще смеется, и к тем, кто плачет, ибо им известно то, чего мы не знаем, и они держат светильник, который нами утрачен. Они живут у самого подножья Неизбежного, и им лучше, нежели нам, знакомы ведущие к нему дороги. Вот почему в них таится удивительная самоуверенность и степенность.

По их малейшему поступку видно, что они чувствуют поддержку верных и могучих рук великих богов. Я только что сказал, что они приближают нас к преддверью нашего существования. В самом деле, мне кажется, что все наши объяснения с ними ведутся через полуотворенную дверь первобытной силы под неясный шепот, сопровождавший, по всей вероятности, рождение вещей: тогда еще говорили не иначе, как понижая голос, из опасения, что неожиданно может прозвучать повеление или запрет.

Она не переступит через порог этой двери; она ждет нас с внутренней стороны — там, где находятся источники. И когда мы стучимся снаружи, а она изнутри открывает дверь, рука ее никогда не покидает ни ключа ни дверной ручки. Одно мгновение она оглядывает приближающегося посла и в этот кратки миг узнает все, что ей надо узнать, и будущие годы провидены до окончания времени.

Кто объяснит нам, что означает первый взгляд любви, — «этот магический жезл, сделанный из разбитого луча света», который исходит из вечного очага нашего существования, преображает две души и молодит их на двадцать столетий? Дверь снова растворяется или закрывается: не делайте больше никакого усилия, ибо все уже неизменно решено. Она знает.

Она не станет больше обращать внимания на ваши действия, ваши слова, ваши мысли, и если она за ними еще следит, то не иначе, как с улыбкой. Отныне она, сама того не зная, отвергнет все то, что не подтверждает ее первоначального убеждения. И если вы рассчитываете ввести ее в заблуждение, знайте, что она никогда не ошибается и что вы одни далеки от истины. В ее глазах ваш образ отражается реальнее, вернее, чем в вашей собственной душе,

даже и в том случае, если она будет постоянно обманываться насчет значения вашей отдельной улыбки, движения, слезы.

Скрытые сокровища, не имеющие даже названия. Я хотел бы, чтобы все те, которые осуждают женщин, заявили об этом и высказали нам свои доводы. Если эти доводы окажутся глубокими, мы будем очень изумлены и углубимся еще более в область тайны. Они в самом деле таинственные сестры всего того, чего мы не видим. Они в самом деле ближе других стоят к бесконечному, окружающему нас, и они одни умеют ему улыбаться с привычной нежностью ребенка, который не боится своего отца.

Они сохраняют на земле, как ненужную небесную драгоценность, чистую сущность вашей души, и если бы они ушли, разум одиноко царствовал бы в пустыне. У них сохранились еще божественные волнения первых дней, и их корни погружены непосредственнее, чем наши, во все беспредельное.

Мне жаль, право, тех, кто на них жалуется, ибо они не знают, на какой высоте обитают истинные ласки.

А между тем какими ничтожными кажутся они тому, кто смотрит на них мимоходом! Он видит только, как они хлопчут в своих маленьких женщинах: вот одна из них наклоняется; там другая рыдает; третья поет, последняя вышивает; и никто не понимает, что они делают.

Их посещают, потому что они умеют улыбаться; к ним приближаются настороже, и душа может выявиться только случайно. Их допрашивают с недоверием; они же ничего не отвечают, потому что им все уже известно; и вот от них уходят, пожимая плечами, в уверенности, что они ничего не понимают...

«Но для чего им понимать все это, — говорит поэт, который всегда прав: — для чего понимать им, этим блаженным душам, которые избрали себе благую часть? И такие, как они есть, они подобны чистому пламени земной любви, который сверкает только на вершинах храмов и странствующих кораблей, как знамение небесного огня, озаряющего все существующее. Часто в заветные минуты эти любящие дети открывают изумительные тайны природы и заявляют о них с бессознательной наивностью. Ученый следит за ними, чтобы подобрать все драгоценности, какие они в своей невинности и радости разбросали по дороге».

Поэт, чувствующий то же, что и они, славит их любовь и старается своими песнями пересадить эту любовь, — семя золотого века, — в другие времена и страны. Ибо все то, что он сказал о мистиках, применимо больше всего к женщинам, которые сохранили нам на земле самое чувство тайны.

VI.

*Рюисбрек Удивительный*¹

Много есть произведений более правильно прекрасных, чем произведения Рюисбрека Удивительного. Многие мистики производят большее впечатление и более современны; таковы Сведенборг и Новалис. Весьма возможно, что написанное им редко отвечает потребностям каждого дня. С другой стороны, я знаю мало писателей менее искусных, чем он. Моментами он сбивается на сущие пустяки... И первые двадцать страниц «Ornement des Noces spirituelles», несмотря на то, что они, может быть, необходимы, как предисловие, как подготовка к остальному, заключают только тепловатые и благочестивые общие места. С внешней стороны он лишен всякого порядка, всякой схоластической логики. Он часто повторяется, и иногда кажется, что он сам себе противоречит. Он соединяет невежество ребенка с мудростью существа, воскресшего из мертвых.

Он отличается синтаксисом, от которого меня не раз прошибал пот. Он вводит какой-нибудь образ и потом забывает его. Он создает даже неосуществимые образы; и все это можно объяснить только неловкостью, рассеянностью или необыкновенной поспешностью. Он пренебрегает искусством фразировки и может писать только о неизреченном. Он не пользуется никакими ухищрениями и никакой дисциплиной философской мысли, как бы принужденный думать только о непознаваемом. Когда он говорит нам о своем маленьком иноческом садике, ему уже тяжело рассказывать определенно, что там происходит; он описывает тогда, как ребенок. Он задается целью рассказать нам, что чувствует Бог, и пишет страницы, которые не мог бы написать Платон. Повсюду чудовищная несоразмерность между невежеством и мудростью, между силою и желанием. Не надо ожидать от него произведения литературного; вы видите только судорожный полет опьяненного орла, слепого и окровавленного, над снежными вершинами. Прибавлю последнее слово, в виде братского предостережения. Мне случилось читать произведения, которые считаются весьма трудно понимаемыми, например: «Учеников в Саисе» и «Отрывки» — Новалиса, «Biographia litteraria» и «Друга» Самуэля Тэйлора Кольриджа, «Тиме» — Платона, «Энеады» — Плотина, «Божественные имена» св. Дионисия Ареопагита, «Аврору» великого мистика Якова Бема, с которыми наш автор имеет много общего. Я не осмеливаюсь утверждать, что произведения Рюисбрека темнее всех этих; но им менее охотно прощаешь их темноту, потому

¹ Эта глава составляет начало большого предисловия Метерлинка к его переводу с фламандского текста мистической книги Рюисбрека «Украшение духовного брака». Мы не сочи нужным перевести все предисловие, которое, кроме кратких биографических данных о Жане ван-Рюисбреке (монахе, жившем в 1274–1381 гг., основавшем Гренендальское аббатство в окрестностях Брюсселя), содержит перевод отрывков из других сочинений этого мистика. *Примеч. перев.*

что тут речь идет о неведомом, к которому с самого начала относишься без доверия. Мне казалось необходимым честно предупредить праздных прохожих у самого порога этого храма, лишённого архитектуры, ибо этот перевод² был предпринят с целью удовлетворить лишь немногих платоников. Мне кажется, что те, которые не провели жизнь в тесной дружбе с Платоном и неоплатониками Александрии, мало подвинутся в этом чтении.

Они подумают, что окунулись в пустоту; у них получится впечатление равномерного падения в бездонную глубину меж гладкими и черными скалами. Нет в этой книге ни обыкновенного воздуха ни света; это — духовный приют, невыносимый для неподготовленных. Не надо вступать туда из литературного любопытства: там нет безделушек и редкостей; собиратели поэтических цветов найдут их там так же мало, как на полярных льдах. Я предупреждаю их, что это безбрежная пустыня, где они умрут от жажды. Они найдут весьма мало фраз, которыми можно было бы любоваться, как это делают писатели; фразы Рюисбрека — языки огня или глыбы льда. Не отправляйтесь в Исландию отыскивать розы. Возможно, что между двумя ледниками вас ждет спрятанный венчик; в самом деле, и у Рюисбрека встречаются удивительные вспышки, новые выражения, небывалые сравнения; но они не вознаградят за потерянное время того, кто издали пришел бы сорвать их. Чтобы войти сюда, надо находиться в особом философическом состоянии, столь же отличном от обыкновенного, как состояние бодрствования отличается от сна.

Порфирий в своих «Началах теории неведомого» оставил предупреждение, которое можно поместить во главе сочинений Рюисбрека: «При свете разума можно сказать многое о началах, которые выше разума. Но их интуиция лучше дается при отсутствии, чем при посредстве мысли. С этими идеями бывает то же, что с идеей о сне; о ней до известной степени можно говорить в состоянии бодрствования, но вполне познать и постигнуть ее можно лишь посредством сна. В самом деле, подобное познается лишь через подобное; необходимое условие всякого познания то, чтобы субъект был подобен объекту». Повторяю, все это трудно понять без приготовления, и я думаю, что, даже несмотря на наши приготовительные труды, этот мистицизм в большей части покажется нам теоретическим, и эти опыты сверхъестественной психологии будут нам доступны лишь как зрителям. Философское воображение есть свойство души, трудно поддающееся воспитанию. Здесь мы видим себя вдруг у предела человеческой мысли и далеко за границей разума. Тут необыкновенно холодно, тут необыкновенно темно, а между тем вы не найдете здесь ничего другого, кроме света и пламени. Но для тех, кто туда вступает, не приноровив предварительно свою душу к новым ощущениям, пламя это и свет так же холодны, как если бы они были нарисованы. Речь идет здесь о самой точной из наук. Необходимо пройти через пространства самые неприветливые и наименее обитаемые божественного «Познай самого себя».

² Речь идет о сочинении Рюисбрека «L'ouement des Noces spirituelles», которое Метерлинк перевел с фламандского и издал отдельной книгой, предисловием к которой является настоящая глава. *Прим. перевод.*

Полночное солнце царствует над зыбким морем, где психология человека приближается к психологии Бога. Важно непрестанно вспоминать об этом; речь идет здесь о науке очень глубокой, а не о сне; сны не бывают одинаковы; сны не имеют корней, между тем как пламенный цветок божественной метафизики расцветает здесь из корней мистических, находящихся в Персии и в Индии, в Египте и в Греции. Но в то же время она кажется бессознательной, подобно цветку, и не подозревает, где произросли ее корни. К несчастью, нам почти невозможно поставить себя в положение души, которая без усилий постигла эту науку; мы не в силах воспринять ее *ab intra* и воспроизвести в нас самих. Нам недостает того, что Эмерсон назвал бы «внутренней самопроизвольностью». Мы не в силах претворить эти идеи в наше собственное существо.

Самое большое, что мы можем сделать, это воспринять извне их чудесные проявления, которые доступны лишь небольшому количеству душ в пределах планетной системы. «Нелепо, — говорит Плотин, — было бы справляться, откуда происходит это интуитивное знание, как будто это нечто зависящее от места и движения. Оно ниоткуда не приближается и никуда не направляется. Оно является или совсем не является, так что бесполезно было бы проверять это знание в намерении открыть его тайные родники. Но следует ждать в безмолвии, пока оно внезапно над нами не загорится, внутренне приготавливаясь к священному зрелищу, как глаз терпеливо ждет восхода солнца». В другом месте он прибавляет: «Не при посредстве воображения или размышления, которое само должно заимствовать извне свои принципы, мы представляем себе непознаваемые силы, т. е. то, что находится над нами, а при посредстве врожденной нам способности их созерцать, способности, позволяющей нам говорить о них здесь».

Итак, мы видим их, пробуждая в себе ту же силу, которую должны пробудить в себе, когда находимся в мире непознаваемом. Мы подобны человеку, который, поднявшись на вершину утеса, увидел бы предметы, невидимые для тех, кто остался внизу. Хотя и все другие существа, начиная от камня и растения до человека, не что иное, как созерцание, те силы, в отличие от всего прочего, представляют собою бессознательные созерцания, и нам весьма трудно было бы найти в себе воспоминание о предшествовавшей деятельности этой мертвой способности. Тут мы уподобляемся глазу в неоплатоническом образе: «Он удаляется от света, чтобы видеть темноту при помощи света, и однако без света ничего не видит; таким образом, не видя, он видит темноту, насколько он способен по своей природе видеть ее».

Я знаю, какое суждение большинство людей произнесет по поводу этой книги. Они увидят в ней произведение галлюцинирующего монаха, угрюмого отшельника, пустычника, опьяненного постом и снедаемого лихорадкой. Они увидят в ней мечту, чудовищную и мрачную, озаряемую яркими молниями — и ничего больше. Таково обыкновенное мнение, которое люди составляют себе о мистиках, слишком часто забывая, что полнота достоверности только в них. Сверх того, если верно, как говорят, что всякий человек в своих снах делается Шекспиром, следует спросить себя, не есть ли каждый человек в своей жизни

безотчетный мистик, тысячу раз более трансцендентальный, нежели все те, которые проявили себя в словах. Разве есть поступок человеческий, последняя движущая сила которого не была бы мистической? Например, взор возлюбленного или матери — не в тысячу ли раз он непроницаемее и мистичнее, чем эта книга, в конце концов бедная и объяснимая, как все книги, представляющие собою лишь мертвые тайны, горизонт которых не возобновляется.

Если мы этого не понимаем, то, может быть, не поймем больше ничего. Но, возвращаясь к нашему автору, некоторые без труда поймут, что этот монах был далек от безумия, порождаемого голодом, одиночеством и лихорадкой. Наоборот, он обладал одной из наиболее мудрых, точных и тонких философских натур, которые когда-либо существовали.

Это происходило в начале одного из самых мрачных столетий средневековья, четырнадцатого. Он не знал ни греческого языка, ни, может быть, латинского. Одинокий и бедный, он жил в своей Гренендальской хижине, посреди Суанского леса. И в глубине этого темного брабансонского леса, душа его, невинная и простая, озарилась, сама того не ведая, ослепляющими лучами, отражениями всех одиноких и таинственных вершин человеческой мысли. Он постиг, сам этого не подозревая, платонизм Греции; он знал суфизм Персии, браманизм Индии и буддизм Тибета, и его удивительное невежество открыло мудрость погребенных веков и провидело знание столетий еще не наступивших. Я мог бы привести целые страницы из Платона, Плотина, Порфирия, из книг Зенд, из гностиков и каббалы, божественное содержание которых всецело повторено в писаниях скромного фламандского священника.

В его словах встречаются странные совпадения и тождественность мыслей почти пугающая. Более того, временами кажется, будто он писал в точном предположении почти всех его неизвестных предшественников. Так же как Плотин начинает свое суровое странствие с того распутия, где устрешенный Платон остановился, коленопреклоненный, можно сказать, что и Рюисбрек разбудил, после многовекового покоя, если не определенную мысль, никогда не дремавшую, то определенное слово, уснувшее на горах, где его покинул ослепленный Плотин, закрывая руками глаза, как перед большим пожаром.

Но строение их мысли удивительно различно; Платон и Плотин прежде всего цари диалектики. Они приходят к мистицизму чрез науку размышления. Они пользуются своей душой рассуждающей, как бы не доверяя своей душе интуитивной или созерцательной. Их размышление смотрится в зеркало размышления же, стараясь оставаться равнодушным ко вторжению всех других отражений. Оно продолжает свое течение, как поток пресной воды среди моря, в предчувствии скорого слияния. Здесь же, наоборот, мы находим привычки азиатской мысли; интуитивная душа одна царит над логическим развитием идеи в слове. С мечты спали оковы. Разве этот способ менее верен? Никто не мог бы это утверждать. Зеркало человеческой мысли совершенно отсутствует в этой книге, но зато здесь существует другое зеркало, более темное и глубокое, которое мы храним для интимнейших сторон нашего существа; ни одна подробность в ней явственно не обозначается, и слова не могут удержаться на

ее поверхности; мысль разбила бы зеркало, если бы могла на минуту отразить в нем свой грубый свет; но временами в нем показывается нечто другое; не душа ли это? Не сам ли Бог? Или душа и Бог вместе? Этого никогда не узнают, и однако подобные явления, почти невидимые, единственно управляют жизнью наиболее неверующего и ослепленного среди нас. В книге вы увидите лишь смутное отсвечивание этого зеркала, и так как его сокровища неисчерпаемы, то его отражения не похожи ни на одно из открываемых нами в нас самих; тем не менее их достоверность кажется необычайной. Вот почему я не знаю ничего более пугающего, чем эта книга, написанная с добрыми намерениями.

Нет в мире ни одного психологического понятия, метафизического опыта, мистического провидения, которых, как бы они ни были темны, глубоки и неожиданны, мы бы не могли в случае надобности воспроизвести и на мгновение оживить в нас самих, чтобы убедиться в их человеческой тождественности; здесь же мы уподобляемся ослепшему отцу, который не в силах более вспомнить лица своих детей.

Вот все, что человеческая мудрость может нам указать; это почти все, что первейший из трансцендентальных метафизиков мог выразить; что же касается других объяснений, то необходимо их найти в нас самих на той глубине, где всякое объяснение становится ничтожным в своем выражении. Ибо не только на небесах и на земле, но, главным образом, в нас самих заключается более тайн, чем все философы могут выразить; и с той минуты, как мы более не обязаны формулировать наше таинственное содержание, мы становимся глубже всего до сих пор написанного и выше всего существующего.

Я перевел Рюисбрека единственно в той уверенности, что писания мистиков представляют чистейшие алмазы в дивном сокровище человечества. Но, быть может, перевод бесполезен, ибо опыт показывает нам, что совершенно безразлично, совершилось ли таинство перевоплощения мысли в свете или в темноте; достаточно, чтобы оно совершилось. Как бы то ни было, истины мистические имеют странное преимущество над истинами обыкновенными: они не могут ни состариться ни умереть. Нет такой истины, которая бы в одно прекрасное утро не сошла в наш мир, удивительная по силе и юности и покрытая свежей и дивной росой, свойственной мыслям еще не высказанным. Но загляните в больницы человеческой души, куда все истины ежедневно приходят, чтобы умирать: вы никогда не увидите там ни единой мысли мистической. Они обладают преимуществом ангелов Сведенборга, которые постоянно приближаются к весне своей юности, так что ангелы наиболее старые кажутся самыми молодыми. Откуда бы эти истины ни пришли, из Индии, Греции или северных стран, у них нет ни родины ни дня рождения; повсюду, где мы их встречаем, они кажутся неподвижным настоящим, как сам Бог. Произведения искусства старятся лишь по мере того, насколько они антимистичны; и вот почему книга Рюисбрека не отмечена никаким числом. Я знаю, что она необычайно темна, но так же верю, что искренний и добросовестный автор никогда не бывает темен в вечном значении этого слова, ибо он сам всегда доступен пониманию, бесконечно выше своих слов. Только искусственные идеи отступают в действительный мрак и процветают лишь в

литературные эпохи, в века неискренние и слишком сознательные, когда мысль писателя пребывает по сю сторону того, что он выразил. Там мы имеем дело с животворной тенью леса, здесь — с темнотою погребя, среди которой процветают одни темные паразиты. Читая Рюисбрека, надо всегда иметь в виду тот неизвестный мир, который он должен был освещать сквозь двойные и скудные роговые окна слов и мыслей. Слова, как уже кто-то заметил, были изобретены для ежедневных житейских нужд, и они несчастны, беспокойны и изумлены, подобно бродягам, очутившимся вокруг трона, когда время от времени чья-либо царственная душа хочет их повести за собою. И с другой стороны, разве мысль всегда точный образ того неведомого, что ее родило? Не видим ли мы всегда в ней тень борьбы, похожую на тень Иакова, борющегося с ангелом, и лишь отличную размерами души по отношению к ангелу? Горе нам, — говорит Карлейль, — если мы носим в себе лишь то, что можем выразить и показать! Я знаю, что на страницах Рюисбрека встречается тень предметов, относительно которых мы не можем припомнить, что видели их, и назначение которых монах нам не разъясняет. Мы поймем их лишь тогда, когда увидим самые предметы по ту сторону жизни; теперь же эта тень побуждает нас взглянуть в даль, и уже это много. Я также знаю, что некоторые из его фраз колеблются, как прозрачные льдины на бесцветном море молчания; но они существуют, они отделились от воды, и этого достаточно. Я знаю наконец, что странные растения, которые он взращивал на вершинах духа, окружены особыми облаками; но эти облака оскорбляют лишь тех, кто смотрит на них снизу. Если же иметь мужество подняться вверх, то видишь, что они образуют самую атмосферу этих растений, единственную, в которой они могли расцвести, защищенные от небытия. Ибо эта растительность так нежна, что она едва отличается от молчания, из которого черпает свои соки и в котором имеет склонность раствориться. К тому же вся книга Рюисбрека похожа на увеличительное стекло, направленное на сумерки и молчание, и порою бывает трудно сразу увидеть вершины идей, которые еще в них утопают. Временами просвечивает невидимое, и нужна некоторая внимательность, чтобы улавливать его появление. Нельзя сказать, что эта книга слишком далека от нас, — она, может быть, находится в самом центре нашего человечества, — но мы слишком далеки от этой книги. Если она кажется нам безотрадной, как пустыня, если разлитая в ней тоска по небесной любви кажется страшной и жажда вершин невыносимой, то это происходит не потому, что книга устарела, а потому, что мы, быть может, слишком дряхлы, и печальны, и малодушны, как старики вокруг ребенка. Таких, как мы, и имеет в виду другой мистик — Плотин, великий мистик язычества, когда он отвечает жалующимся на то, что они ничего не видят на вершинах самосозерцания: «Необходимо прежде всего создать орган зрения похожим и равным объекту, который он должен созерцать. Глаз никогда бы не видел солнца, если бы сам не принял форму солнца. Равным образом душа никогда не увидит красоты, если сама раньше не станет прекрасной, и каждый человек, желающий увидеть прекрасное и божественное, должен начать с того, чтобы самому сделаться прекрасным, божественным».

VII. Эмерсон

«Одно только важно, — говорит Новалис, — это искание нашего трансцендентального “я”». Мы распознаем это «я» иногда в изречениях Божьих, в словах поэтов и мудрецов, на дне некоторых радостей и горя, во сне, в любви и болезни, или в неожиданных обстоятельствах, когда они издали делают нам знак и указывают перстом на нашу связь со вселенной. Некоторые мудрецы только этим исканием и были заняты; они и написали те книги, где царит одно необычайное. «Что иное достойно внимания в книгах, — говорит наш автор, — если не трансцендентальное и необычайное?» Эти мудрецы были похожи на художников, которые пытались уловить сходство среди мрака. Одни из них намечали отвлеченные образы, огромные, почти неразличимые. Другие пытались уловить какое-нибудь положение или обычное движение, свойственное высшей жизни. Многие измыслили странные существа. Таких изображений не много. Они никогда не похожи одно на другое. Некоторые бесконечно прекрасны, и те, кто их не видел, подобны людям, которые никогда не выходили бы из дома в полдень. Есть образы, линии которых чище линий неба; и тогда они кажутся нам такими далекими, что мы уже не знаем, живут ли они или только созданы по нашему образцу. Это творения чистых мистиков, и человек еще не узнает себя в них. Другие, которых называют поэтами, говорили нам о том же, но косвенно. Третий разряд мыслителей, подняв на одну ступень древний миф о центavraх, дал нам более доступный образ этого тайного тождества, соединив черты нашего внешнего и нашего высшего «я». У них образ нашей божественной души иногда улыбается, появляясь за спиною своей сестры — души человеческой, склоненной над смиренными трудами мысли; и одна только эта улыбка, заставляющая нас видеть мельком все, что превосходит мысль, важна в произведениях человека...

Немного тех, которые показывают нам, что человек больше и глубже самого себя. Немногим удастся закрепить некоторые из вечных намеков, встречаемых в жизни на каждом шагу, в жесте, в знаке, во взгляде, в слове, в молчании и в окружающих нас явлениях. Наука человеческого величия — самая странная из наук. Никто из людей не чужд ее познаний. Но почти никому не известно, что он ими обладает. Ребенок, который меня встретил, не будет в состоянии рассказать своей матери то, что он видит. А между тем, с того момента, как глаз его воспринял мое присутствие, он уже знает все, что я собою представляю теперь, чем я был прежде, чем буду, так же, как это знает мой брат, и гораздо лучше, чем это я знаю сам. Он знает меня непосредственно в прошедшем и будущем, в этом мире и в других, и глаза его, в свою очередь, открывают мне роль, которую я играю в мире и в вечности. Две непогрешимые души судили одна другую. С того момента, как он воспринял мой взгляд, мой образ, мое положение и все то бесконечное, что их окружает и чего они служат внешними толкователями, он знает уже, как держать себя. Пусть он не в состоянии отличить корону императора от сумы нищего, меня он уже знал на мгновение так же верно, как Бог.

Правда, что мы ведем себя, как боги, и вся наша жизнь проходит среди достоверностей и непогрешимых истин. Но мы — слепые, играющие драгоценностями; человек, который стучится в мою дверь, расточает в момент, когда он мне кланяется, столько же удивительных сокровищ души, сколько принц, которого я спас бы от смерти. Я открываю ему; и в одно мгновение он видит у своих ног, как будто с высокой башни, все, что происходит между двумя душами. О крестьянке, у которой я спрашиваю дорогу, я сужу так же глубоко, как если бы я спросил у нее о жизни моей матери. И душа ее говорила со мной так же интимно, как говорила бы душа моей невесты. Прежде чем мне ответить, она быстро поднялась до величайших тайн; затем, уже зная, что я такое, она мне спокойно ответила, что надо идти налево, по дорожке, ведущей к деревне. Если я проведу час в толпе, я уже тысячу раз, безмолвно и не имея сам о том ни малейшего понятия, судил о живых и мертвых, и какое из этих суждений будет изменено в последний день? В этой комнате пять или шесть человек говорят о дождливой или хорошей погоде; но за этим ничтожным разговором шесть душ ведут беседу, к которой никакая человеческая мудрость не может приблизиться без опасений. И несмотря на то, что они говорят при посредстве своих взглядов, рук, лиц и всего своего существа, им никогда не будет известно, что они высказали. Но все-таки они принуждены ждать конца этой неуловимой беседы; и вот почему, среди своего томления, они полны неизъяснимой таинственной радости, хоть им и неизвестен тот, кто внимает в них всем законам жизни, смерти и любви, которые, подобно неиссякаемым рекам, протекают мимо их дома.

Так бывает всегда и везде. Мы живем только в нашем трансцендентальном существовании, поступки и мысли которого проступают каждое мгновение сквозь окружающие нас покровы. Я отправляюсь сегодня на свидание с другом, которого никогда не видел; но мне известны его произведения, и я знаю, что душа его необыкновенна и что всю свою жизнь он старался проявлять ее, повинувшись, как только мог, долгу высшего разума. Я полон беспокойства, и час этот торжественен. Он входит, и все объяснения, которые он нам давал в продолжение многих лет, рассыпаются во прах от движения двери, открывающейся от его появления. Он не тот, каким думает быть. Он иной, чем его мысли. Еще раз мы убеждаемся, что разведчики разума всегда вероломны. Он высказал о своей душе нечто очень глубокое; но в это быстрое мгновение, между тем как я остановил на нем и отвел от него свой взгляд, я дознал все то, чего он никогда не сможет высказать, и все то, чего он никогда не сможет утвердить в своем разуме. Отныне он принадлежит мне безвозвратно. Прежде нас соединяла мысль. Теперь же нас соединяет нечто в тысячу раз более таинственное. Этого момента мы ждали многие годы, и вот теперь мы чувствуем, что все бесполезно. Чтобы только не бояться молчания, мы, готовившиеся показать друг другу самые таинственные и изумительные сокровища, мы разговариваем о только что пробившем часе, о заходящем солнце, для того, чтобы дать нашим душам время оглядеться и обняться среди иного безмолвия, которого не мог бы нарушить лепет уст или мыслей...

В глубине мы живем душа с душою, и мы — боги, которые сами не

познаем себя. Если сегодня мне невыносимо мое одиночество и я пойду к людям, они сообщат мне, что гроза побила их груши, или что последние морозы закрыли порт. Разве я пришел для этого? А между тем я уйду от них с такой удовлетворенной и наполненной новыми силами и сокровищами душой, как будто я провел эти часы с Платоном, Сократом и Марком Аврелием. То, что говорили их уста, не имело отношения к тому, что возвещало их присутствие, и человеку невозможно не быть великим и удивительным. Мысли разума не имеют никакого значения рядом с правдой нашего существования, которая заявляет о себе в молчании; и если бы после пятидесяти лет одиночества Эпиктет и Гете навестили меня на моем острове, они ничего не могли бы мне сказать иного, чего не сказал бы мне, даже, быть может, еще непосредственное, маленький юнга с их корабля.

В самом деле — всего удивительнее в человеке его скрытая значительность и мудрость. Самый суетный из людей никогда в действительности не смеется среди нас и, несмотря на усилия, не теряет праздну ни минуты, ибо душа человеческая внимательна и не делает ничего бесполезного.

Ernst ist das Leben, жизнь полна значения, и в глубине нашего существа душа наша никогда еще не улыбалась. По ту сторону наших произвольных треволнений, мы ведем дивное существование, безмолвное, бесконечно чистое и весьма уверенное, существование, на которое беспрестанно намекают наши руки, которые протягиваются для пожатия, глаза, которые открываются, взгляды, которые встречаются.

Все наши органы — мистические соучастники высшего существования, и мы знаем не человека, а душу. Я не видал этого нищего, который просил милостыни у порога моего дома; но я заметил нечто другое: в наших глазах две одинаковые судьбы узнали и любили одна другую, и в ту минуту, когда он протягивал руку, маленькая дверь дома открылась на бесконечное море.

«В моих сношениях с моим ребенком, — говорит Эмерсон, — греческий язык и латинский, все, что я знаю, все золото, которым я обладаю, ни к чему мне не послужило; нужной оказалась только душа. Если у меня есть воля, то и он противопоставляет свою волю моей, предоставляя мне позор злоупотреблять моей силой, если я хочу, и бить его; но если я отказываюсь от своей воли и действую только во имя души, ставя ее между нами посредницей, тогда из его молодых глаз смотрит на меня та же душа; и он чтит и любит вместе со мной».

Но если правда, что последний из нас не может сделать малейшего жеста, не считаясь с душой и духовным миром, где она царствует, то правда и то, что и самые мудрые никогда не думают о бесконечности, которую приводит в движение взмах ресницы, наклонение головы, пожатие руки. Мы живем так далеко от себя самих, что не видим почти ничего из того, что происходит на горизонте нашего существования. Мы бродим наугад по долине, не догадываясь о том, что все наши движения воспроизводятся и приобретают свое истинное значение на вершине горы; и необходимо, чтобы по временам кто-нибудь пришел к нам и сказал: поднимите глаза, посмотрите, что вы такое, посмотрите, что вы делаете. Мы живем не здесь, наша жизнь там, наверху. Этот взгляд, которым мы обменялись во мраке, эти слова, не имевшие смысла у

подножия горы, посмотрите, чем они стали и что они значат там, над снежными высотами. Посмотрите, как наши руки, которые мы считаем такими слабыми и маленькими, в каждое мгновение, сами того не ведая, касаются Бога.

Бывали люди, которые приходили к нам и, ударяя по плечу, указывали пальцем на то, что происходит на ледниках тайны. Они не многочисленны. В продолжение этого века их было трое или четверо, а за все прошлые века не больше пяти или шести; и все, что они могли нам сказать, ничто перед тем, что есть, и тем, мимо чего не проходит без внимания душа. Но что до того! Разве мы не похожи на человека, потерявшего глаза в раннем детстве? Когда-то он видел несметные явления жизни, видел — солнце, море, леса. Теперь эти чудеса навсегда сохранились в его существе; если вы станете говорить о них, что вы можете ему сказать и что стоят ваши бедные слова рядом с лужайками, грозой и зарею, которые живут еще в глубине его мысли и плоти? И все-таки он будет вас слушать с пламенной радостью и изумлением, несмотря на то, что он все знает и что ваши слова представляют то, что ему известно, более несовершенно, чем стакан воды представляет большую реку: маленькие, бессильные фразы, выходящие из уст человека, озарят на мгновение океан, свет и темную листву, которые спали во мраке под его мертвыми веками.

Образы этого «трансцендентального я», о котором говорит Новалис, многочисленны, и каждый из моралистов-мистиков изучал всегда новый. Сведенборг, Паскаль, Новалис, Гелло и некоторые другие изучают наши сношения с бесконечно отвлеченным, утонченным и весьма отдаленным. Они ведут нас на горы, вершины которых кажутся нам неестественными и необитаемыми и где часто дышится с трудом. Гете ведет нашу душу на берег моря, называемого ясностью. Марк Аврелий усаживает ее на склонах человеческих холмов совершенной и усталой доброты, под слишком тяжелой листвой безнадежной покорности.

Карлейль, духовный брат Эмерсона, который в наш век подал нам голос в другом конце долины, показывает нам, точно при свете молний, единственно героические мгновения нашего существования, на мрачном и бурном фоне чего-то неведомого и чудовищного. Он ведет нас, подобно обезумевшему от грозы стаду, на покинутые и сожженные пастбища. Он толкает нас в самую глубину мрака, который он открыл, преисполненный радости, и который освещается только мелькающей буйною звездой героев; там, со злобным смехом, он покидает нас в добычу тайнам. Но вот рядом с ним выступает Эмерсон, — добрый, вставший с зарею пастырь бледных и зеленых равнин нового оптимизма — естественный и правдоподобный. Он не ведет нас в сторону пропастей. Он не заставляет нас выступать из скромного узкого круга, потому что ледники, море, вечные снега, так же как дворец, хлев, и погасшая жаровня бедняка, и постель больного, равно живут под одним и тем же небом, озаряются теми же планетами и покорствуют тем же бесконечным силам.

Он пришел для множества людей в ту минуту, когда приход его был необходим, когда явилась настоятельная потребность в новых объяснениях. Героические поступки перестали быть очевидными, время отречения еще не вернулось. Осталась лишь каждодневная жизнь, а между тем мы не можем

жить без величия. Эмерсон придал почти достаточную значительность этой жизни, уже лишенной своих прежних горизонтов. Ему, может быть, удалось показать нам, что она достаточно странная, глубокая и великая и не имеет надобности в другой цели, кроме себя самой. Он не более сведущ, чем другие, но он вещает с большой смелостью и он доверяет тайнам. Надо жить, о, все вы, которые проводят дни и годы в бездействии, без мыслей и света, — ибо ваша жизнь, несмотря на все, непостижима и божественна. Надо жить, потому что никто не имеет права уклоняться от духовных событий повседневности. Надо жить, потому что нет часов без внутреннего чуда и без неизреченного значения. Надо жить, потому что нет поступка, слова, жеста, которые бы не были подчинены неизъяснимым требованиям в этом мире, «где столько вещей, которые нужно совершить, и мало таких, которые нужно знать». Нет ни большой, ни маленькой жизни, и поступки Регула или Леонида не будут иметь никакого преимущественного значения, если я сравню их с одним мгновением тайного существования моей души. Совершила ли она то, что они сделали, или нет, для нее безразлично. Душа Регула, когда он возвращался в Карфаген, была, по всей вероятности, так же рассеяна и равнодушна, как душа работника, отправляющегося на фабрику. Она слишком далека от всех наших поступков, она слишком далека от наших мыслей.

Она живет одиноко в глубине нас, жизнью, о которой не говорит; а с высоты, где она царствует, разновидность существований уже не различается. Мы живем, обремененные тяжестью нашей души, и нет соразмерности между ею и нами. Она, быть может, никогда не думает о том, что мы делаем, и это читается на наших лицах. Если бы можно было спросить у разумного существа какого-нибудь другого мира, каковым кажется ему в общем выражение человеческого лица, то оно, увидя людей в их радости, в горе и в беспокойстве, по всей вероятности, ответило бы: *«У них вид, как будто они думают о чем-то другом»*. Будьте велики, будьте мудры, будьте красноречивы. Душа бедняка, протягивающего на мосту руку, не будет вам завидовать; но ваша душа, быть может, завидует ее молчанию. Герой нуждается в одобрении обыкновенного человека, но обыкновенный человек не ищет одобрения героя и проводит свою жизнь без тревоги, как тот, чьи сокровища скрыты в верном месте. «Когда говорит Сократ, — заявляет Эмерсон, — Лизис и Менексен не испытывают никакого стыда от своего молчания. Они так же велики. И Сократ отдает им должное и в то время, как говорит, любит их, ибо каждый человек есть та самая правда, которую членораздельно выражает оратор. Но в ораторе, именно потому, что он может членораздельно говорить о ней, правда эта как будто менее живая, чем в других; и потому-то он обращается к этим молчаливым и удивительным слушателям еще с большею снисходительностью и уважением».

Человек жаждет объяснений. Надо показывать ему его жизнь. Он радуется, когда находит где-нибудь верное объяснение маленького движения, сделанного им двадцать пять лет тому назад. Эмерсон не объясняет маленьких движений. Он рассматривает главные положения нашей обыкновенной жизни. Вы не найдете у него вечной мысли Марка Аврелия. Но Марк Аврелий — это мысль по преимуществу. К тому же, кто из нас ведет жизнь Марка Аврелия? У

Эмерсона выведен человек и ничего более. Он не увеличен произвольно, а только приближен к нам более обыкновенного. Это Иван, который подрезывает свои деревья, Петр, который сколачивает себе дом; это вы, говорящие мне о жатве, это я, протягивающий вам руку, но мы поставлены в такое положение, когда должны касаться богов, и мы изумлены тем, что делаем.

Мы не знали, что все могущество души присутствовало в нас, что все законы вселенной окружили нас, и мы оборачиваемся друг к другу и безмолвно глядим, как люди, которые увидели чудо. Эмерсон пришел, чтобы с простотой возвестить это всегда одинаковое и таинственное величие нашей жизни. Он окружает нас молчанием и удивлением. Он бросил светлый луч на шаги ремесленника, выходящего из своей мастерской. Он показал нам все силы неба и земли, поддерживающие порог, у которого двое соседей беседуют о падающем дожде или о поднявшемся ветре; он показывает нам образ Бога. Он ближе, чем другие, к обыкновенной жизни. Он возвещает о ней внимательнее, неустаннее, честнее, вдумчивее и, быть может, человечнее, чем другие. Он мудрец обыкновенных дней, а обыкновенные дни — сущность нашей жизни. Не один год протекает без страстей, без подвигов, без чуда. Учитесь почитать невеликие часы вашей жизни. Если я мог поступить сегодня, как Марк Аврелий, то не подчеркивайте моих действий, ибо я знаю сам, что произошло ничто необычайное. Но если мне кажется, что я потерял день в ничтожных предприятиях, а вы сможете показать мне, что я жил в то же время так же глубоко, как герой, и что душа моя не потеряла своих прав, — вы сделаете для меня больше, чем если убедите меня, что я должен снести жизнь своему врагу: вы усилите во мне величие и желание жизни, и завтра, быть может, благодаря вам, я поведу жизнь, достойную уважения.

VIII. **Новалис^{3 4}**

«Люди идут разными путями; кто следит за ними и сравнивает их, тот увидит, как зарождаются странные образы», — говорит наш автор. Из таких людей я выбрал троих, пути которых, ведут нас на три различные вершины. На горизонте произведений Рюисбрека открывались наиболее далекие голубоватые вершины души, в то время как в произведениях Эмерсона неправильно закруглялись более скромные вершины нашей сердечной жизни. Здесь же, у Новалиса, мы находимся на острых и часто опасных хребтах мысли; но в промежутках между зеленоватыми выступами этих скал есть приюты, полные чарующей тени, где воздух неизменно чист, как кристалл.

Удивительно, до чего пути человеческой души расходятся в стремлении к недоступному. Проследим дороги тех трех людей, которых я назвал. Все они, каждый в другом направлении, пошли далеко за достоверные пределы

³ Отрывок из предисловия к переводу «Учеников в Саисе». *Примеч. Метерлинка.*

⁴ Окончание этого предисловия см. в [прилож. к этой главе](#). *Примеч. перев.*

обыкновенного сознания; и душа каждого из них встретила истины, которые не похожи одна на другую, но которые мы должны принять, как встретившихся блуждающих сестер. Скрытая истина есть то, чем мы живы. Мы ее бессознательные и безмолвные рабы и чувствуем себя связанными, пока она еще скрыта. Но едва только один из тех удивительных людей, которые составляют как бы щупальца многообразно-единой человеческой души, улавливает нечто в потемках, как последний между нами, благодаря какому-то внезапному необъяснимому потрясению, уже чувствует себя от чего-то освобожденным, новая истина, более высокая, более чистая, более таинственная, занимает тогда место той, которая увидела, что она открыта, и бежит без возврата; и душа всех, не подавая никаких наружных признаков, провозглашает более светлую эру и справляет глубокое празднество, в котором мы принимаем лишь запоздалое и далекое участие. И я верю, что именно таким образом душа поднимается и приближается к цели, которая ей одной известна.

Все, что может быть высказано, само по себе не имеет значения. Положите на одну чашу весов все слова великих мудрецов, а на другую бессознательную мудрость вот этого идущего мимо вас ребенка, и вы увидите, что открытия, сделанные Платоном, Марком Аврелием, Шопенгауэром и Паскалем, не перевесят ни на одну линию великих сокровищ бессознательного, ибо ребенок, который молчит, в тысячу раз мудрее Марка Аврелия, который говорит. А между тем, если бы Марк Аврелий не написал двенадцати книг своих «Размышлений», неведомые сокровища, которые теперь таятся в ребенке, были бы отчасти не те.

Быть может, нельзя говорить обо всем этом яснее, но кто умеет глубоко себя вопрошать и хотя бы одно мгновение жить во всю полноту своего существа, тот чувствует, что это так.

Возможно, что когда-нибудь узнают, почему, если бы не существовало ни Платона, ни Сведенборга, ни Плотина, душа крестьянина, который их не читал и никогда о них не слышал, не была бы такой, какова она теперь. Но как бы ни было, ни одна мысль никогда не пропадала ни для единой души, и кто укажет на то в нас самих, что живет, благодаря лишь мыслям, никогда, быть может, не выраженным? Есть много ступеней сознания, и наиболее мудрые заботятся только о сознании почти бессознательном, потому что именно оно находится на границе божественного. Увеличить область этого трансцендентального сознания было, по-видимому, всегда таинственным и высшим желанием всех людей. То, что об этом они сами не знают, имеет мало значения, потому что они не знают ничего, а между тем поступают в глубине души так, как поступили бы самые мудрые люди. Правда и то, что большинство людей просыпается для настоящей жизни лишь в то мгновение, когда они умирают. До этого мгновения наше сознание если и растет, то лишь увеличивая необъяснимое вокруг нас. Мы ищем знания, чтобы научиться незнанию. Мы растем лишь по мере того, как растет тайна, нас отягощающая. Мы похожи на рабов, которые могут поддерживать в себе волю к жизни, лишь при условии того, чтобы непрерывно увеличивать тяжесть своих безжалостных оков, никогда однако не теряя надежды...

История этих чудесных оков — единственная история нас самих, так как по существу мы таинственны; все же нам известное несколько не любопытно. История эта еще не велика; она занимает несколько страниц, и несомненно, что лучшие из нас боялись о ней думать. Как мало людей, осмеливающихся приблизиться к границе человеческой мысли; назовите имена тех, кто пробыв там хоть несколько часов... Многие обещали написать эту историю, некоторые уже приступали к ней, но вскоре теряли силу, необходимую для того, чтобы жить у пределов мысли. Они возвращались на берег внешней жизни, в знакомые долины человеческого разума, «и снова все начинало мелькать, как прежде, перед их глазами».

Поистине трудно вопрошать свою душу и различать ее слабый, детский голос посреди бесполезных криков, окружающих ее. А между тем как мало интересны, когда о них подумаешь, все другие усилия духа и как далеко от нас проходит наша обыденная жизнь. Можно сказать, что на берегу внешней жизни, в пустые, рассеянные и праздные часы, проходят лишь наши двойники, ибо неподвижное место нашего существования и самое средоточие бытия находится в области души. Сюда надо спасаться беспрестанно. Все другое известно прежде, чем нам о том сообщили; здесь же мы узнаем более того, что может быть сообщено словами. Именно в то мгновение, когда прерывается речь и прячутся слова, наш беспокойный взор внезапно встречает, на расстоянии лет и веков, другой взор, который его терпеливо ждал на пути, ведущем к Богу. Одновременно мигают ресницы, глаза заволакиваются нежной и грозной влагой тождественной тайны, и мы познаем, что не одиноки на бесконечном пути...

Но какие книги говорят нам об этом средоточии жизни? Метафизики с трудом доходят до границ, а кого же мы встретим, перейдя ее? Немногих мистиков, которые теперь кажутся безумными, но которые, вероятно, представляли бы собою самую сущность человеческой мысли, если бы человек имел досуг и силу быть действительно человеком. Наша любовь к учителям обыкновенного разума — Канту, Спинозе, Шопенгауэру и некоторым другим — еще не причина, чтобы отвергать учителей иного разума, столь же братского, которому, быть может, суждено стать разумом будущего. В ожидании этого будущего они сообщили нам то, что было для нас необходимо. Откройте самых глубоких моралистов или обыкновенных психологов и вы прочтете слова о любви, ненависти, гордости и других страстях нашего сердца; все это может на мгновение нравиться нам, как цветы, оторванные от своих стеблей. Но наша действительная и неизменная жизнь проходит в тысяче верст от любви и в ста тысячах от гордости. Мы обладаем более глубоким и более неистощимым «я», нежели «я» страстей или чистого разума. Несущественно говорить о том, что мы испытываем, когда нас покидает наша возлюбленная. Она ушла, и плачут наши глаза, но не душа. Возможно, что душа восприняла событие и уже преобразила его в сияние, ибо все, что попадает в нее, начинает испускать лучи. Возможно также, что она не обратила на него внимания; если так, зачем о нем говорить? Надо предоставить эти мелочи тем, кто не чувствует, что жизнь глубока. Неужели вы думаете, что если я прочел сегодня

Ларошфуко или Стендаля, то стал больше человеком, и что ангелы, к которым надо приближаться денно и нощно, найдут меня более прекрасным? Все, что не идет дальше опытной и каждодневной мудрости, не принадлежит нам и недостойно души нашей. Все, что можно постичь без трепета, унижает нас. Я едва улыбнусь, если вы докажете мне, что я поступил эгоистично, жертвуя даже честью и жизнью: что значит эгоизм в сравнении со столькими могущественными силами, которые, я чувствую, живут во мне неизъяснимой жизнью? Не у порога страстей обитают чистые законы нашего существования. Наступают моменты, когда явления обыкновенного сознания, которое можно назвать сознанием страстей или сознанием отношений первого порядка, не приносят нам более пользы и не достигают нашей жизни. Я согласен, что и это сознание может нас интересовать некоторыми своими сторонами и что необходимо знать его изгибы. Но это растение поверхностное, и его корни боятся великого центрального огня нашего бытия. Я могу совершить преступление, и в то же время наилегчайшее дуновение не поколеблет пламени этого огня; а с другой стороны, один обмененный взгляд, одна мысль, не успевшая еще расцвести, одна минута, проведенная в безмолвии, могут закрутить этот огонь ужасным вихрем на дне его убежища и обрушить его на мою жизнь. Наша душа судит не так, как мы. Ее суждения — нечто произвольное и скрытое. Она может быть поражена дуновением и может противостоять буре. Надо искать того, что поражает ее. Все в этом, ибо в этом мы существуем.

Итак, возвращаясь к сознанию обыкновенному, владения которого находятся на большом расстоянии от нашей души, я хочу сказать, что знаю уже нескольких человек, которых, например, не поражает более великолепный рисунок ревности Отелло. Ей придают значение только в первых кругах человеческого бытия. Она продолжает быть удивительной, если позаботишься о том, чтобы не отпирать ни дверей ни окон; в противном же случае образ распадается во прах под дуновением того неведомого, что ждет снаружи.

Мы воспринимаем диалог Мавра и Дездемоны как нечто совершенное, но это не мешает нам мечтать о чем-то более глубоком.

Будет ли африканский воин обманут благородной венецианкой или нет, в нем все же есть другая жизнь. В моменты его самых жалких подозрений и самого грубого гнева вокруг его существа и в его душе несомненно происходят события в тысячу раз величественнее, и этих событий не в силах нарушить его рычание; под внешним волнением его ревности продолжается неизменное существование, на которое до сих пор человеческий гений указывал только мимоходом.

Не в этом ли таится источник грусти, которую дышат великие произведения? Поэты могли создавать их, только закрывая глаза на роковые пределы и налагая молчание на слишком суровые и многочисленные голоса своей души; иначе они не имели бы мужества творить. Нет ничего печальнее и обманчивее великого произведения, ибо ничто так ярко не обнаруживает бессилие человека постигнуть свое собственное величие и достоинство. Это сознание было бы слишком унижительно для нас, если бы какой-то голос не

говорил нам, что прекраснейшее произведение искусства ничто в сравнении с сущностью нашей души.

«Душа, — говорит Эмерсон, — гораздо выше того, что можно о ней узнать, и гораздо мудрее всех своих поступков». Великий поэт открывает нам наше собственное значение, и в сравнении с этим нам кажется менее ценным то, что он осуществил. Лучшее, чему он нас мог научить, это пренебрежение ко всему, что он сделал. Шекспир увлекает нас за собой в такое возвышенное течение мысли, что внушает представление о богатстве, перед которым его богатство кажется бедностью. Мы чувствуем тогда, что его великие произведения, возносимые нами в иное время на вершину поэзии, которая существует по своим собственным законам и несомненно касается сущности вещей, не глубже, чем мимолетная тень прохожего, мелькнувшая на скале.

Величественные голоса больших поэм и трагедий ни что иное, как мистические голоса, не относящиеся к внешней жизни этих поэм или трагедий. Они вырываются на мгновение из внутренней жизни и заставляют верить во что-то неожиданное, чего мы все же ждем с таким нетерпением до тех пор, пока слишком знакомые страсти не покроют их снова своим снегом... В эти мгновения человечество является перед самим собой, как человек перед ликом ангела. Необходимо, чтобы оно как можно чаще являлось перед самим собой для того, чтобы знать, что оно такое. Если бы кто-нибудь из другого мира спустился к нам и попросил нас указать на лучшие цветы нашей души и на свидетельства величия земли, что бы мы дали ему? Иные, не ведая, что делают, принесли бы произведения философов. Я забыл имя того, кто ответил, что он принес бы Отелло, Короля Лира и Гамлета. Но нет, — все это не мы. И мне кажется, что душа наша умерла бы в глубине нашего тела от стыда, ибо ей известно, что ее видимые сокровища не созданы для того, чтобы быть показанными чужеземцу, и состоять из фальшивых камней. Самый смиренный из нас, в минуты одиночества, когда ему известно то необходимое, что знать надо, чувствует, что он в праве иметь своим представителем нечто иное, чем лучшее из художественных произведений.

Мы существа незримые. Мы не могли бы ничего сказать небесному посланнику, не могли бы ему ничего показать; все наше лучшее стало бы внезапно похожим на те бедные, милые фамильные реликвии, которые представляются нам такими драгоценными, когда лежат в глубине ящика, и становятся такими жалкими, когда мы вынимаем их на мгновение, чтобы показать их человеку равнодушному. Мы существа незримые, живущие в глубине себя, и любознательный пришлец уйдет, не подозревая о том, что он мог бы увидеть, если в эту минуту не придет на помощь наша снисходительная душа. Но она так сторонится всего мелкого, и так трудно отыскать ее в жизни, что боишься звать ее на помощь.

А между тем она всегда присутствует и никогда не ошибается и не обманывает с той минуты, как входит в свою обитель. Она указала бы неожиданному посланнику на молитвенно сложенные руки человека, на его глаза, полные безыменных сновидений, на его безмолвные уста, и, быть может, тот чужестранец, если он достоин понимать, не осмелился бы больше

расспрашивать ее... Но если бы он потребовал других доказательств, она привела бы его к тем, чьи дела почти соприкасаются с молчанием. Она открыла бы двери жилищ, где ютятся немногие полубившее ее ради нее самой, не заботясь о ничтожных движениях своего тела. Они вдвоем поднялись бы на пустынные горные долины, где сознание повышено на одну ступень и где все, чуткие к себе самим, внимательно бродят вокруг чудовищного кольца, соединяющего видимый мир с нашими высшими мирами. Она дошла бы с ним до крайних пределов человека, ибо именно там, где кажется, что человек кончается, он только начинается. И все существенное и неисчерпаемое находится в невидимом, где он вечно должен сторожить себя. Только на этих вершинах живут мысли, которые душа может признать за свои: только там возникают идеи, похожие на нее и столь же властные, как она сама. Там на мгновение царствует человечество, и эти слабо освещенные острия гор, быть может, единственные светочи земли, обозначающиеся в духовных пространствах. Их отблеск верно передает цвет нашей души. Мы чувствуем, что страсти разума и сердца показались бы чужому взору жалким раздором двух приходов. Но люди, о которых я только что говорил, покинули в своих делах маленькие селения страстей и сказали нечто, что может заинтересовать всех и не принадлежит к приходу земли. Человечество не должно волноваться исключительно в глубине самого себя, подобно стаду кротов. Необходимо, чтобы оно жило так, как будто ему предстоит со временем дать отчет в своей жизни старшим братьям.

Разум, обращенный на самого себя, похож на местную знаменитость, вызывающую улыбку чужеземцев. Есть нечто, что важнее разума, и не он соединяет нас со вселенной. Настало время не смешивать его с душой. Важно не то, что происходит между нами, а то, что живет в нас, что выше чувств и выше ума. Если я представлю мудрости чужеземца только Ларошфуко, Лихтенберга, Мередит или Стендаля, он взглянет на меня так, как я бы посмотрел среди развалин мертвого города на безнадёжного буржуа, который стал бы мне говорить о своей улице, о своем браке или о своем ремесле. Какой ангел спросит у Тита, почему он не женился на Веронике, и почему Андромаха дала слово Пирру? Что представит собой Вероника, когда я сравню ее с тем, что есть невидимого в нищей, которая остановила меня, или в проститутке, сделавшей мне знак? Только мистическое слово может временами изобразить человеческое существо. Но душа наша не обитает в этих областях без теней и пропастей. Вы сами, останавливаетесь ли вы там в сокровенные часы, когда жизнь отяготела на ваших плечах? Человек не обитает в этих явлениях, и однако они совершенны. Но о них надо говорить лишь промеж себя и пристойно молчать, если вечером прохожий постучится в нашу дверь. Но если этот же гость застал меня в момент, когда моя душа ищет ключа от своих ближайших сокровищ у Паскаля, Эмерсона или Гелло, или у тех, которые заботились о чистой красоте, я не закрою, краснея, книгу. Возможно, что он сам позаимствует нечто от близкого существа, обреченного на молчание. По крайней мере, он будет знать, что не все мы принадлежали к самодовольным обитателям земли.

IX.

Трагедия каждого дня

Существует каждодневная трагедия, которая гораздо более реальна и глубока и ближе касается нашего истинного существа, чем трагедии больших событий. Ее можно чувствовать, но очень трудно показать, потому что это истинно-трагическое не просто материально или психологично. Оно раскрывается не в законченной борьбе одной жизни против другой, не в борьбе одного желания с другим или в вечном разладе между страстью и долгом. Чтобы обнаружить его, нужно показать, сколько изумительного заключается в самом факте жизни, нужно показать существование какой-нибудь души в ней самой, посреди бесконечности, которая никогда не бездействует. Нужно, чтобы за обыкновенной беседой разума и чувств звучал какой-то более торжественный и немолчный диалог, нужно показать нерешительные и болезненные шаги существа, которое приближается к своей правде, к красоте или Богу, или отдаляется от них. Нужно открыть нам тысячу подобных вещей, которые трагические поэты касались лишь мимоходом. Но вот существенный вопрос: нельзя ли попытаться показать прежде всего то, что они показывали нам мимоходом? Все то, что мы, например, слышим за словами короля Лира, Макбета или Гамлета, — таинственные звуки бесконечного, угрожающее молчание душ или богов, вечность, которая ропщет у горизонта, судьбу или рок, которые мы познаем внутренним чутьем, не имея возможности объяснить, почему мы познали их, нельзя ли все это, посредством какого-нибудь нарушения порядка ролей, — приблизить к нам, отдаляя актеров? Разве легкомысленно утверждать, что настоящая трагедия жизни, — трагедия обычная, глубокая и всеобщая, — начинается тогда только, когда то, что называется приключениями, печалью и опасностями, миновало? Разве у счастья руки не длиннее, чем у горя, и разве оно не ближе достигает души человеческой?

Безусловно ли нужно вопить, как Атриды, для того, чтобы в нашу жизнь снизошел вечный Бог, и не является ли Он также посидеть с нами при неподвижном свете нашей лампы? Разве не ужасно наше спокойствие, когда о Нем подумаешь и когда за Ним наблюдают звезды? И в чем обнаруживается истинный смысл жизни — в шуме или в молчании? Не должно ли в то мгновение, когда в конце повести нам говорят: «Они стали счастливы», охватить нас великое беспокойство? Что происходит в то время, как они живут счастливыми? Разве счастье или минута обыкновенного отдыха не скрывают нечто более серьезное и более постоянное, чем волнения страстей? Не тогда ли раздаются шаги времени и многие другие шаги, еще более таинственные? Не тогда ли часы проходят быстрее? Не затрагивает ли все это душу глубже, чем удар кинжала в обыкновенных драмах? Ведь именно тогда, когда человек чувствует себя в безопасности от ожидающей снаружи смерти, и открывает двери своего театра странная и молчаливая трагедия бытия и бесконечности. Неужели, когда я спасаюсь от обнаженной шпаги, существование мое достигает самого напряженного момента? Всегда ли в поцелуе оно бывает всего

возвышеннее? Нет ли других моментов, когда слышатся голоса еще постояннее, еще чище? Разве только в бурные ночи расцветает наша душа? Так считалось до сих пор. Почти все наши трагики замечают только жизнь буйную и давно протекшую, и это доказывает, что весь наш театр устарел, и что драматическое искусство запаздывает на столько же лет, на сколько запоздала скульптура. Нельзя сказать того же о хорошей живописи или, например, о хорошей музыке, которые сумели распутать и восстановить черты более скрытые, но не менее важные и удивительные каждодневной жизни. Они уже заметили, что наша жизнь утратила поверхностную живописность, но выиграла в глубине, в интимной значительности, в духовной важности. Хороший живописец не станет больше изображать Марию, победителя кимвров, или убийцу герцога де Гиза, потому что психология победы или убийства слишком и элементарна, и исключительна, а бесполезный шум жестокого поступка заглушает более глубокие, хотя и нерешительные и скромные голоса существ и вещей. Он покажет нам дом, затерянный среди полей, дверь, открытую в конце коридора, лицо или руки во время отдыха: и эти простые образы могут прибавить нечто к нашему сознанию жизни, а это составляет благо, которое нельзя утратить.

Но наши трагики, так же, как посредственные живописцы останавливаются лишь на живописи исторической, видят весь интерес своих произведений лишь в буйстве воспроизводимого приключения. Они занимают нас таким же родом приключений, которые забавляли варваров, столь привычных к искушениям, убийствам и изменам, между тем как наша жизнь большею частью проходит вдали от крови, криков и шпага; и человеческие слезы стали молчаливы, невидимы и почти духовны...

Когда я сижу в театре, мне кажется, что я возвратился на несколько часов к своим праотцам; их представление о жизни было простое, сухое и грубое, и я не могу разделять его. Я вижу мужа, обманутого и убивающего свою жену, женщину, отравляющую любовника, сына, мстящего за отца, отца, умерщвляющего своих детей, детей, убивающих отца, убитых королей, изнасилованных дев, отравленных граждан, и все обычное, но — увы! — столь поверхностное и материальное великолепие крови, внешних слез и смерти.

Что могут сказать мне люди, обуреваемые одной безумной идеей, не имеющие времени жить, потому что им надо лишить жизни соперника или возлюбленную?

Я пришел в театр в надежде увидеть нечто связанное с жизнью, прикрепленное к ее источникам и ее тайнам узами, которых я не имел ни случая, ни силы замечать каждый день. Я пришел в надежде увидеть на мгновение красоту, величие и значительность моего скромного каждодневного существования. Я надеялся, что мне обнаружат чье-то неведомое присутствие, могущество, или бога, живущего со мной, в моей комнате. Я ждал каких-то высших минут, которые, помимо моего ведома, уже, быть может, пережил в самые жалкие часы своей жизни. Но в большинстве случаев мне показывают человека, который пространно изъясняет, почему он ревнив, почему он отравляет кого-то или зачем убивает себя.

Я восхищаюсь Отелло, но мне не кажется, что он живет ежедневной, величавой жизнью Гамлета, у которого есть время жить, потому что он не совершает поступков. Ревность Отелло поражающая. Но, быть может, заблуждение думать, что именно в эти моменты, когда нами овладевает такая или ей подобная страсть, мы живем настоящей жизнью? Не раз я думал, что старик, сидящий в своем кресле, который просто ждет кого-то при свете лампы или внимает, сам того не ведая, вековечным законам, царящим вокруг его дома, или толкует, не понимая того, что говорит молчание дверей, окон и тихий голос огня, переживая присутствие своей души и судьбы, склонив слегка голову и не подозревая, что все силы этого мира вступили в его комнату и бодрствуют в ней, как внимательные служанки, не зная, что само солнце поддерживает над бездной маленький стол, на который он опирается, и что нет ни одной планеты в небе, ни одной силы в душе, которая была бы равнодушна к движению опускающихся век или поднимающейся мысли, — не раз мне казалось, что такой безмолвствующий старик живет на самом деле жизнью более глубокой, более человеческой и более значительной, чем любовник, душащий свою возлюбленную, или капитан, одерживающий победу, или «супруг, который мстит за свою честь». Мне возразят, быть может, что неподвижную жизнь нельзя видеть, что ее надо оживить какими-нибудь движениями, и что эти различные и достойные быть принятыми движения вызываются лишь теми многочисленными страстями, которые до сих пор изображались.

Не знаю, правда ли, что неподвижный театр невозможен. Мне кажется даже, что он существует. Большая часть трагедий Эсхила — трагедии неподвижные. Не говоря уже о «Прометее» или «Просительницах», где нет действия, но вся трагедия «Хоэфоры», самая ужасная из древних драм, топчется, подобно недоброму сну, перед гробницей Агамемнона до тех пор, пока убийство, как молния, не прорезывает тучи нагроможденных одна на другую молитв.

Проследите с этой точки зрения несколько других, самых лучших из древних трагедии: «Эвмениды», «Антигону», «Электру», «Эдипа в Колоне».

«Они любовались, — говорит Расин в предисловии к “Веронике”, — они любовались Аяксом Софокла, убивающим себя вследствие ярости, в которую он впал, когда ему отказали выдать оружие Ахилла. Они любовались “Филоктетом”, трагедией, весь сюжет которой исчерпывается рассказом об Одиссее, который пришел с целью похитить стрелы Геркулеса. Даже трагедия об Эдипе, несмотря на то, что полна глубоких мыслей, по содержанию легковеснее, чем самая незамысловатая драма нашего времени».

Разве это не жизнь почти неподвижная? У древних обыкновенно отсутствует даже психологическое действие, которое в тысячу раз важнее материального и кажется необходимым. Но тем не менее они его уничтожают или сильно умаляют, чтобы сосредоточить все внимание на интересе, который возбуждает положение человека во вселенной. Тут уже мы не находимся среди варваров, и человек уже не мечется среди стихийных страстей, ибо не только они интересны в человеке. Дело уже не идет о каком-нибудь исключительном и буйном моменте существования, но о самом существовании. Есть тысячи

законов более могущественных и важных, чем законы чувств. Но эти неторопливые, скрытые и нешумные законы, как все, что наделено непреодолимой силой, доступны зрению и слуху лишь в сумерки, в спокойные часы самосозерцания.

Когда Одиссей и Неоптолем приходят к Филоктету за доспехами Геркулеса, их поступок сам по себе так же прост и так же безразличен, как поступок современного человека, который входит в дом, чтобы навестить больного, или поступок путешественника, который стучится в дверь гостиницы, или наконец поступок матери, которая у очага ждет возвращения своего ребенка. Софокл отмечает мимоходом еле заметными чертами характеры своих героев. Но разве не верно, что главный интерес трагедии не в борьбе, которая в ней разыгрывается между ловкостью и прямодушием, между любовью к родине, мечтательностью и упрямством гордости?

Есть в ней и нечто другое; это — существование человека, которое надо сделать видимым.

Поэт прибавляет к обыденной жизни нечто такое, что составляет тайну поэтов, и вдруг жизнь является нам в своем чудесном величии, в своей покорности неведомым силам, в своих отношениях никогда не прекращающихся и в своей торжественной скорби. Химик вливает несколько таинственных капель в сосуд, который, по-видимому, наполнен чистой водой: и тотчас до краев подымается целый мир кристаллов и открывает нам то, что таил в себе этот сосуд, где наш несовершенный взор не мог ничего различить.

Равным образом и незначительная психология трех главных действующих лиц в «Филоктете» образует лишь тонкие стенки сосуда, содержащего чистую воду, которая есть ни что иное, как обыкновенная жизнь, куда поэт опускает зиждительные капли своего откровения...

Вот почему красота и величие прекрасных и больших трагедий заключается не в поступках, а в словах. И не в одних словах, которые сопровождают и объясняют действие. Надо, чтобы было еще нечто, кроме внешне необходимого диалога. Только те слова, которые с первого взгляда кажутся бесполезными, и составляют сущность произведения. Лишь в них заключена его душа. Рядом с необходимым диалогом идет почти всегда другой диалог, кажущийся лишним. Проследите внимательно и вы увидите, что только его и слушает напряженно душа, потому что только он и обращен к ней. Вы увидите также, что достоинство и продолжительность этого бесполезного диалога определяет качество и не поддающуюся выражению значительность произведения.

В обыкновенных драмах необходимый диалог совершенно не отвечает действительности; а то, что придает таинственную красоту лучшим трагедиям, живет в словах, которые произносятся параллельно точной и осязаемой истине. Эта красота заключена в словах, соответствующих истине более глубокой и несравненно более родственной той невидимой душе, которая дает жизнь поэме. Можно даже утверждать, что поэма приближается к высшей красоте и истине по мере того, как в ней уничтожаются слова, объясняющие поступки, и заменяются словами, объясняющими не то, что зовется «состоянием души», а

какие-то неуловимые и непрерывные стремления души к своей красоте и к своей истине.

В такой же мере поэма приближается к истинной жизни. В обыденной жизни каждого человека случается разрешать тяжелые положения словами. Вдумайтесь в это. Разве в такие минуты, да и вообще, наиболее важно то, что вы говорите и что вам отвечают? Разве нет других сил, других невысказанных слов, которые решают положение? То, что я высказываю вслух, часто имеет лишь ничтожное влияние; но мое присутствие, состояние моей души, мое будущее и прошедшее, то, что от меня родится, что умерло во мне, тайная мысль, планеты, которые мне благоприятствуют, моя судьба, тысячи тайн, окружающих меня и вас, — вот что вы слышите в эти трагические моменты, вот что мне отвечает. Под каждым моим и вашим словом все это подразумевается, и только это мы и видим, только это, сами не сознавая, мы слышим. Если вы, «оскорбленный супруг», «обманутый любовник», «покинутая женщина», — пришли с намерением убить меня, то не мольбы мои, хотя бы самые красноречивые, остановят вашу руку. Но возможно, что вы тогда встретитесь с одной из таинственных сил, и что моя душа, которой известно, что они бодрствуют вокруг меня, скажет вам таинственное слово; оно-то вас и обезоружит. Вот сфера, в которой определяются события, вот диалог, эхо которого должно быть услышано. И именно это эхо, правда, чрезвычайно ослабленное и измененное, слышится в иных великих произведениях, о которых я упоминал. Но нельзя ли попытаться еще ближе подойти к этим сферам, где все происходит «в действительности»?

Кажется, такая попытка уже осуществлена. Когда-то, по поводу ибсеновской драмы, в которой самым трагическим образом слышится этот диалог «второго порядка», именно по поводу «Строителя Сольнеса», я еще неискуснее, чем теперь, пытался проникнуть в эту тайну. Однако то были следы руки того же слепца, на той же стене, направляющегося к тому же свету.

Что, спрашивал я, внес поэт в «Сольнеса» для того, чтобы жизнь казалась нам столь странной, глубокой, столь волнующей под своей внешней детской простотой? Не легко это открыть, и старый мастер хранит не одну тайну. Кажется даже, что то, что он хотел сказать, несущественно в сравнении с тем, что он должен был сказать. Он высвободил некоторые душевные силы, которые никогда еще не были свободны и которыми, может быть, он сам был одержим.

«Видите, Гильда, — восклицает Сольнес, — видите ли, в вас, как и во мне, заключены чары. И они-то приводят в действие внешние силы. Им необходимо подчиниться... хочешь или нет. Так надо».

В них это волшебство живет, как и во всех нас. Гильда и Сольнес, кажется мне, первые герои, которые осязают себя в атмосфере души, и эта открытая ими в себе необходимая жизнь, за пределами обыкновенной жизни, ужасает их. Гильда и Сольнес — две души, которые провидели свое положение в настоящей жизни. Есть несколько способов узнать человека. Беру для примера двух или трех людей, встречающихся со мною почти каждый день. Очень возможно, что я должен буду различать их только по жестам, внешним привычкам или внутренними, по их манере чувствовать, действовать и думать.

Но во всякой сколько-нибудь продолжительной дружбе наступает таинственный момент, когда мы замечаем, так сказать, истинное положение нашего друга по его отношению к неведомому, его окружающему, и положение судьбы по отношению к нему. Только с этого момента он в самом деле принадлежит нам. Мы узнали раз навсегда, каким образом события сложатся по отношению к нему.

Мы узнали, что такой-то напрасно прячется в глубине своего жилища, не двигаясь из опасения встревожить нечто в больших резервуарах будущего; это ему не поможет. Несметные события, предназначенные судьбой, откроют его, где бы он ни укрывался, и одно за другим постучатся в его дверь. Мы также узнали, что другой напрасно будет выходить в поиски приключений. Он вернется с пустыми руками. Непреложное знание родилось, казалось бы, без всякого повода в нашей душе в тот день, когда глаза наши открылись, и мы уверились, что событие, которое будто уже надвинулось на человека, никогда его не настигнет. Но с этого момента особая часть души царит над дружбою существ даже самых неразумных и темных. Происходит какое-то смешение жизни. И когда мы случайно встречаемся с одним из тех, кого таким образом знаем, то хотя бы мы заговорили с ним о падающем снеге или о проходящей женщине, — нечто в нас обоих без нашего ведома обменивается приветствиями, исследует, вопрошает, интересуется намерениями и говорит о событиях, которых мы не в силах понять...

Мне сдается, что таковы соотношения Гильды и Сольнеса, и что они наблюдают друг друга изнутри. Слова их не похожи ни на что до сих пор слышанное нами, потому что поэт попытался соединить воедино диалог внешний и внутренний. В этой сомнамбулической драме царят какие-то новые силы. Все, что в ней сказано, и скрывает и вместе с тем открывает источники неведомой нам жизни. И если мы временами удивлены, то не надо терять из виду, что душа наша часто кажется нашим бедным взорам силой безумной, и что есть в человеке области более плодотворные, более глубокие и более интересные, чем область разума или сознания...

X. *Звезда*

Можно сказать, что из века в век трагические поэты «обходят с факелом в руках лабиринт судьбы». Таким образом они закрепили, каждый по мере сил своей эпохи, дух человеческой летописи, создав вместе с тем и историю божественную. Только по ним можем мы следить за бесчисленными изменениями великой неизменной силы. А следить за ними бесконечно интересно, ибо то, что есть в душе народов самого чистого, таится, быть может, на дне идеи, которую они себе составили об этой силе.

Она никогда не умирает совсем; но есть эпохи, когда она с трудом проявляет свое существование, и в такие эпохи в жизни не чувствуется ни большой силы, ни глубины. Только раз она сделалась предметом безраздельного обожания. Тогда она была даже для богов ужасающей тайной.

Странно видеть, что эпоха, в которую безразличное божество являлось наиболее ужасным и непонятным, была самой прекрасной эпохой человечества, и что самый счастливый из народов был тот, который представлял себе судьбу в самом грозном виде.

В таком представлении о судьбе как будто скрыта тайная сила: или, может быть, само это представление уже признак силы. Растет ли человек по мере того, как он узнает величие неведомого, властвующего над ним, или же это неведомое растет вместе с человеком? В настоящее время идея судьбы как будто опять просыпается. Быть может, не бесполезно идти ей навстречу. Но где ее найти? Идти на поиски судьбы не то же ли, что идти на поиски человеческих печалей? Нет судьбы радости, нет звезды счастья. Та, которую так называют, есть лишь звезда выжидающая.

Впрочем, необходимо иногда выходить на поиски наших печалей, чтобы узнать их и наблюдать за ними даже тогда, когда великая и бесформенная масса нашей судьбы еще не вся рассеялась. Это самый действительный способ искания самого себя; ибо можно сказать, что наша внутренняя ценность определяется тем, каковы наши тревоги и печали. По мере того, как мы идем вперед, они становятся все глубже, благороднее и прекраснее. Марк Аврелий — замечательнейший из людей, потому что лучше других понял, сколько величия вложено душою в бедную безропотную улыбку, которую она должна сохранить в глубине нас. То же самое можно сказать о печалих всего человечества. Они проходят путь, подобный пути наших личных печалей; но путь этот длиннее и вернее и должен привести к родине, которую узнают лишь последние из живущих. Этот путь тоже исходит из страданий физических; он прошел через страх богов и ныне остановился у новой бездны, глубину которой еще не измерили лучшие из нас. Каждый век любит другое страдание, потому что каждый век видит другую судьбу. Мы уже относимся равнодушнее к катастрофам страстей, чем прежде; и наиболее трагические произведения прошлого по качеству печали стоят ниже, чем печали наших дней. Они больше не доходят до нас непосредственно, и если еще трогают нас, то лишь потому, что размышления и новое благородство, которые мы приобрели, благодаря печали жизни, прибавляют многое от себя к простым происшествиям ненависти и любви, изображаемым ими.

Временами кажется, что мы стоим у бездны нового пессимизма, таинственной и, быть может, чрезвычайно чистой. Самые мрачные мудрецы — Шопенгауэр, Карлейль, русские, скандинавские писатели и добрый оптимист Эмерсон (ибо нет ничего безнадежнее, чем преднамеренный оптимизм) — прошли, не объяснив нам нашей печали. Мы чувствуем, что под всеми доводами, которые они нам представили, таятся другие — более глубокие, которые, они не смогли открыть. Человеческая печаль, уже прекрасная при их появлении, может еще бесконечно облагораживаться до той поры, пока гений не произнесет наконец последнее слово печали, которое, может быть, очистит нас вполне.

Теперь же мы находимся во власти странных сил, но уже начинаем разгадывать их намерения. Во времена великих трагиков новой эры, во времена

Шекспира, Расина и их последователей, думали, что несчастья исходят от разных страстей нашего сердца.

Катастрофа не колеблется между двумя мирами, она исходит отсюда, чтобы уйти туда, причем источник ее считается известным. Человек всегда свой властелин. Во времена греков он считался гораздо слабее и на вершинах царил судьба. Но она была неприступна, и никто не смел вопрошать ее. Теперь же ей предлагают вопросы, и, быть может, в этом великий признак, отличающий новый театр.

Теперь обращают уже внимание не на последствия несчастья, а на само несчастье, и хотят знать его суть и его законы. То, что было бессознательной заботой первых трагиков и, помимо их ведома, окружало торжественным мраком сухие и резкие движения внешней смерти, т. е. внутренняя природа несчастья, — стало центром новейших драм, очагом двойственного света, вокруг которого кружатся души людей. Сделан шаг в сторону тайны, чтобы подойти к ужасам жизни. Было бы интересно исследовать, под каким углом новейшие трагики рассматривают несчастье — основу всех драматических поэм. Они видят его ближе, чем греки, и глубже проникают в плодотворные сумерки его внутреннего круга. Божество осталось то же.

Но неведение по отношению к нему стало глубже. Откуда приходит несчастье, куда оно направляется и для чего сходит к нам? Греки почти не спрашивали об этом. Начертано ли оно или рождается вместе с нами? Идет ли оно нам навстречу, или его вызывают голоса, которые мы таим в самой глубине нашего существа и которые с ним заодно? Чтобы решить эти вопросы, следовало бы наблюдать с вершин другого мира за человеком, которого должно постигнуть большое горе. И кто из нас, сам того не ведая, не трудится над созиданием горя, которое станет центром его жизни? У шотландских крестьян есть слово, которое может быть применено ко всякому существованию.

В своих легендах они зовут словом «Feu» состояние человека, которого непреодолимое внутреннее побуждение, несмотря на все усилия, на все советы и на помощь, увлекает к неминуемой катастрофе. Таким образом Иаков I был Feu, когда он, несмотря на ужасные предзнаменования земли, ада и неба, отправился провести праздник Рождества в мрачном замке в Перте, где ждал его убийца-изменник Роберт Грэм. Кто из нас, вспомнив об обстоятельствах, сопровождавших самое решительное несчастье его жизни, не чувствовал себя столь же одержимым судьбою? Я говорю, конечно, только о действительном несчастье, которого возможно было избежать, ибо есть несчастья пассивные, как смерть обожаемого существа. Они просто приходят нам навстречу, и на них наши поступки не имели бы никакого влияния.

Вспомним роковой день нашей жизни. Кто из нас не был предупрежден? И хотя теперь нам кажется, что вся судьба изменилась бы, если бы вовремя был сделан нужный шаг, или была бы открыта дверь, или поднята рука, кто же из нас однако, немощный и лишенный надежды, тщетно не боролся на самом краю бездны против невидимой силы, которая казалась столь слабой? Движение этой двери, которую я открыл однажды вечером, навеки погасило мое счастье, как оно погасило бы слабый свет лампы. И теперь, думая о

случившемся несчастье, я не могу сказать, что не знал... А между тем ничто важное не привело меня к порогу. Я мог бы уйти, пожимая плечами; никакая разумная мысль не заставляла меня постучаться в дверь... Разумная мысль — нет; ничто, кроме судьбы...

Это напоминает еще фатум Эдипа, а между тем это уже совсем другое. Вернее, это тот же фатум, постигнутый *ab intra*. Есть таинственные силы, царящие в нас самих, которые находятся как будто в сообщничестве с обстоятельствами. Мы все носим в своей душе врагов. Они знают, что делают и что заставляют делать нас; когда они ведут нас к событию, они полусловами предуведомляют нас; не достаточно громко для того, чтобы остановить нас по дороге, но достаточно внятно, чтобы заставить нас, когда будет уже поздно, жалеть о том, что мы не прислушивались внимательнее к их неопределенным и насмешливым советам.

Чего добиваются эти силы, желающие нашей гибели, ведущие себя так, как будто бы они были независимы от нас и не погибли бы вместе с нами, хотя, на самом деле, они живут только в нас? Что приводит в движение всех сообщников мира, питающихся нашей кровью?

Человек, для которого пробил час несчастья, охвачен незаметным вихрем; давно уже силы эти соединяли бесчисленные события, которые должны были привести к неизбежной минуте, к месту, где ждут его слезы. Вспомните все наши усилия и предчувствия. Вспомните бесполезные попытки помочь вам. Припомните также добрые обстоятельства, которые пытались загородить вам дорогу и которые вы оттолкнули, как назойливых нищих. А между тем то были бедные робкие сестры; они желали спасти нас и безмолвно удалились. Они были слишком беспомощны, слишком слабы, чтобы бороться с событиями, решенными Бог ведает кем...

Стоит свершиться несчастьем, и мы испытываем странное ощущение покорности какому-то вечному закону. Среди самых ужасных несчастий эта покорность приносит нам таинственное облегчение. Мы никогда так всецело не принадлежим себе, как сейчас после невознаградимой катастрофы. Тогда кажется, что мы снова нашли себя и завоевали обратно неведомую часть нашего бытия. На нас снисходит удивительное успокоение. Давно уже, почти без нашего ведома, в то время, как мы еще могли улыбаться лицам и цветам, непокорные силы нашей души ожесточенно боролись у края бездны; теперь же, когда мы находимся на дне ее, — все в нас свободно вздохнуло.

Эти силы беспрерывно борются во всякой душе; и временами, не обращая на то внимания, — ибо глаза наши открыты только на незначительное, — временами мы видим тень этих битв, в которые воля наша не в силах вмешаться. Возможно, что в то время, как я сижу меж друзей, посреди разговора и взрывов смеха, нечто не от нашего мира проходит внезапно по лицу одного из них.

Тогда, без всякого повода, воцаряется молчание, и на одно мгновение все, сами того не ведая, начинают глядеть глазами души. Минута проходит, и слова и улыбки, которые исчезли, подобно испуганным лягушкам большого озера, выплывают на поверхность еще шумнее прежнего. Но, как и везде, невидимое

уже собрало свою дань. Стало понятно, что произошла какая-то борьба, что взошла или упала звезда, что определилась чья-то судьба.

Быть может, она была predetermined заранее; и кто знает, не призрачна ли была борьба. Если я сегодня стучал в дверь дома и должен встретить там первую улыбку печали, которая никогда не окончится, то возможно, что я завершаю действие, начатое мною гораздо раньше, чем я думаю. К чему тогда воспитывать свое «я», на которое мы не имеем никакого влияния? Мы должны только следить за своей звездой. Она бывает добрая или злая, бледная или могущественная, и все силы океана не могли бы в ней ничего изменить. Иные, верующие в свою звезду, играют ею, как стеклянным шаром. Подвергая ее опасности, они бросают ее, куда хотят: верная, она все равно возвратится в их руки. Они хорошо знают, что она не может разбиться. Но есть много таких, которым стоит только поднять взор на свою звезду, как она немедленно отрывается от тверди небес и падает, рассыпаясь, к их ногам...

Но говорить о звезде опасно. Опасно даже думать о ней: ибо часто это знак того, что она скоро угаснет...

Тут мы в бездне ночи, в ожидании того, что должно свершиться. Речь идет уже не о нашей воле; мы поднялись над нею на тысячу верст в ту область, где сама воля является наиболее зрелым плодом судьбы. И об этом не следует жалеть; нам уже что-то известно, мы уже открыли некоторые привычки случая. Подобно птицелову, наблюдающему за нравами перелетных птиц, мы стоим в ожидании, и когда на горизонте появляется какое-нибудь происшествие, мы уже знаем, что оно не будет единственным, и что братья его стаями спустятся на то же место. Мы смутно угадали, что их притягивают известные мысли, известные души, что есть существа, которые отклоняют их полет, равно как есть другие, которые призывают их со всех четырех стран света.

Вернее же всего мы знаем, что некоторые мысли крайне опасны, и что стоит на мгновение подумать, что находишься в безопасности, чтобы привлечь молнию, и что счастье образует пустоту, в которую немедленно устремляются слезы. Потом мы начинаем также различать капризы случая.

Нам становится ясно, что если мы сделаем несколько шагов по пути жизни вместе с таким-то из наших братьев, привычки случая будут уже не те, какие были; если же пойдем с другим, нам неизбежно и неизменно встретится событие определенного характера. Мы узнаем, что есть существа, защищающие нас в области неизвестного, и есть другие, подвергающие опасности; что одни усыпляют, а другие будят грядущее.

Мы догадываемся, что события вначале рождаются слабыми и черпают свою силу в нас, и что в каждом приключении есть краткий миг, когда наш инстинкт предупреждает нас, что мы еще владыки своей судьбы. Наконец, еще есть события, открывающие нам, что можно научиться быть счастливым, что по мере того, как мы становимся лучше, мы встречаем людей, которые стараются исправиться, что существо доброе непреодолимо привлекает события столь же добрые, как оно само, и что в прекрасной душе самый печальный случай претворяется в красоту...

Кому не известно, что доброе подает знак доброму, и что всегда для одних

и тех же приносятся жертвы и одних и тех же предают? Если то же горе постучится в две двери рядом, разве оно произведет одинаковое действие в доме праведника и грешника? Если вы чисты, разве не будут и ваши несчастья такими же чистыми? Разве не властвует над будущим тот, кто сумеет преобразить прошлое в нежно-грустную улыбку? И не кажется ли, что даже в неизбежном мы можем что-то спасти? Разве мы не знаем, что великие случайности спят чутким сном, и достаточно резкого движения, чтобы разбудить их на горизонте? И кто знает, разразилось ли бы сегодня такое-то несчастье, если бы наши мысли утром не так празднично шумели в нашей душе? И неужели это все, что могла, среди мрака, собрать наша мудрость? Кто осмелится утверждать, что есть в этих областях истины более несомненные? В ожидании же надо уметь проливать слезы и улыбаться среди тихой и бесконечно смиренной доброты. Над всем этим вырисовывается постепенно неоконченный образ судьбы, как ее понимают в наши дни. Небольшая часть завесы, которая прежде скрывала ее, теперь раздвинута. Заглянув туда, мы не без тревоги постигли с одной стороны — *власть тех, которые еще не родились*, а с другой — *могущество умерших*. В сущности, мы снова удалились от тайны. Ледяная рука судьбы надвинулась еще ближе, и вот, в отбрасываемой ею тени, руки наших детей, еще не родившихся, соединяются с руками наших предков. Было одно чувство, которое мы считали приютом нашей свободы — чувство любви, оставшееся последним убежищем для всех тех, кто слишком болезненно ощущал цепи жизни. Сюда, по крайней мере, говорили мы, в этот тайный храм никто не дерзнет войти вместе с нами. Здесь мы можем дышать, здесь наконец душа наша царствует и пользуется свободным выбором в самом средоточии свободы. Но теперь нам показали, что мы любим не для себя самих. Нам показали, что в самом храме любви мы подчиняемся неизменным приказаниям невидимой толпы. Нам показали, что мы живем на тысячу веков от себя самих, когда выбираем нашу возлюбленную, и что первый поцелуй жениха есть ни что иное, как печать, которую тысячи рук, молящих о рождении, налагают на уста избранной ими матери. С другой стороны, нам стало известно, что мертвые не умирают. Мы знаем, что они пребывают не только в наших церквах, но и во всех наших домах, во всех наших привычках. Мы узнали, что ни один жест, ни одна мысль, слеза, ни один грех, ни один атом приобретенного сознания не теряются в тайниках земли. При самом незначительном нашем поступке наши предки восстают — не в своих гробницах, где они лежат недвижно, — а в глубине нас самих, где они продолжают жить...

Так нами владеет прошедшее и будущее. А настоящее, которое составляет наше существование, падает на дно моря подобно маленькому острову, который непрестанно пожирают два непримиримых океана. Наследственность, воля, судьба, все буйно смешивается в нашей душе; но вопреки всему над всем царит безмолвная звезда. На чудовищные сосуды, содержащие невидимое, мы приклеили временные ярлыки; но слова почти ничего не говорят о том, что следовало бы сказать. Наследственность и даже сама судьба ни что иное, как луч этой звезды, потерянный среди таинственной ночи. И все имеет право еще

на большую таинственность.

«Мы называем судьбой все то, что нас ограничивает, — сказал один из великих мудрецов нашего времени. — Вот почему мы должны быть благодарны всем тем, кто ощупью и дрожа направляется в сторону этих границ... Если мы грубы и дики, — прибавляет он, — то и судьба принимает образ грубый и дикий. Когда же мы становимся чище, очищаются и наши неудачи. А когда мы достигаем высот духовной культуры, то и наша борьба принимает форму духовную».

Быть может, правда, что по мере того, как душа возвышается, она очищает судьбу, несмотря на то, что нам угрожают те же печали, что и дикарям. Но у нас есть еще и другие, о которых они не имеют понятия. Разум лишь для того и возносится, чтобы отыскивать на всех горизонтах новые печали. «Мы называем судьбой все то, что нас ограничивает». Постараемся же, чтобы круг судьбы не был слишком узок. Прекрасно умножать свои печали, потому что этим расширяется сознание — единственное место, где чувствуешь истинную жизнь. И только таким путем можно исполнить свой высший долг по отношению к другим мирам. Ибо вероятно, что на нас одних лежит обязанность расширять сознание земли.

XI.

Незримая доброта

— Это нечто такое, — говорил мне однажды вечером мудрый человек, сойдясь со мной случайно на берегу океана, которого мы почти не слышали, — это нечто такое, чего не замечают и на что как будто никто не рассчитывает. А между тем, мне кажется, это одна из тех сил, которые составляют опору людей. Боги, от которых мы произошли, заявляют о себе тысячью разнообразных способов. Но эта таинственная доброта, которой прежде не замечали и о которой никто ясно не говорил, представляет, быть может, самое чистое знамение их вечной жизни. Откуда она исходит, неизвестно. Но она пребывает с нами и улыбается нам с порога наших душ. Того, в ком она улыбается глубже и чаще, мы можем терзать день и ночь, если он этого захочет, но не в силах перестать любить его...

Она не от здешнего мира, а все же вмешивается в большую часть наших волнений. Она не дает себе даже труда высказать себя во взгляде или слезе. Напротив того, в силу чего-то, что не поддается объяснению, она предпочитает прятаться. Она как бы боится пользоваться своим могуществом. Она знает, что ее самые произвольные движения рождают нечто бессмертное. А мы скупы на все бессмертное. Отчего же мы так боимся использовать то небесное, что скрыто в нас? Мы не дерзаем действовать согласно воле Бога, который в нас. Мы боимся всего, чего нельзя объяснить жестом или словом; мы закрываем глаза на то, что помимо ведома совершаем в той области, где все объяснения излишни. Откуда же исходит боязнь божественного в человеке?

Можно поистине сказать, что, чем больше движение души приближается к божественному, тем тщательнее стараемся мы его скрыть от глаз наших

братьев. Может быть, человек ни что иное, как Бог, объятый страхом? Или, быть может, нам запрещено изменять высшим силам? Все, что не относится к внешнему, слишком видимому миру, одарено нежным смирением убогой девочки, которую мать не зовет, когда в доме чужие. И потому-то наша скрытая доброта никогда еще не переступала через тихий порог нашей души. Она живет в нас, как пленница, которой запрещено приближаться к решетке. Да ей и не надо приближаться. Довольно того, что она существует. Как бы она ни скрывалась, но стоит ей поднять голову, двинуть звеном своих цепей или разжать руку, как темница мгновенно озаряется, отдушины открываются под давлением внутреннего света, и целая бездна, полная движущихся ангелов, возникает между словами и существами. Все умолкает, взоры на мгновение устремляются в сторону, и две души, плача, обнимаются на пороге.

Родина незримой доброты не на земле, и все попытки изобразить ее ни к чему не послужат. Необходимо, чтобы тот, кто хочет меня понять, отыскал сам в себе *тот же чувствительный пункт*. Если вы никогда не испытывали в жизни могущества *своей невидимой доброты*, — не идите дальше: ваш труд будет бесполезен. Но разве есть люди, которые никогда не испытывали ее могущества? Разве даже худшие из нас не были когда-нибудь невидимо добры? Не знаю; в этом мире так много людей, только и думающих о том, как бы смутить божественное в своей душе. А все же довольно одного мгновения бездействия, чтобы божественное снова возникло, и даже самые злые не всегда настороже. Вот почему столько злых бывает добрыми, когда этого не видно, между тем как многие из мудрецов и святых не обладают незримой добротой.

— Я причинял страдания, — прибавил он, — как всякое человеческое существо причиняет страдания другим. Мы живем в мире, где все держится невидимыми нитями, в мире, где никто не одинок, и самое нежное движение доброты или любви наносит часто рану стольким безвинным существам подле нас. Я причинял страдания также потому, что самые лучшие и самые нежные из нас чувствуют иногда потребность отыскать часть своей души в страданиях ближнего.

Есть семена, пускающие ростки только под дождем слез, которые проливаются другими; а между тем эти семена дают прекрасные цветы и целительные плоды. Как быть? Это закон, созданный не нами, и я не знаю, смел ли бы я любить человека, из-за которого никто не плакал. Часто тот, кто сильнее любит, заставляет сильнее страдать, ибо какая-то робкая и нежная жестокость сопутствует любви, как ее беспокойная сестра. Любовь ищет везде доказательств любви. И кто же не склонен прежде всего искать этих доказательств в слезах возлюбленного? Сама смерть не могла бы удовлетворить любовника, если бы он дерзал слушаться требований любви; ибо для внутренней жестокости любви момент смерти слишком краткий. По ту сторону смерти остается место для целого моря сомнений; и те, которые умирают вместе, не умирают, быть может, спокойно. Нужны долгие и медленные слезы.

Скорбь — главная пища любви. Любовь, которую не питают чистой скорбью, умирает, как новорожденный, которого захотели бы кормить, как взрослого. Будете ли вы одинаково любить ту, вблизи которой вы всегда

улыбались, как и ты, из-за которой вы иногда плакали? Необходимо — увы! — чтобы любовь плакала и часто плакала. Именно в то время, когда раздаются рыдания, скрепляются цепи любви и закаляются на всю жизнь.

— Я причинял страдания, — продолжал он, — потому что я любил; а также и потому, что больше не любил. Но какая разница между двумя печальюми! Тут медленные слезы пережитой любви, которые, казалось, знали, что они орошают в наших двух соединенных душах что-то неизреченное; там жалкие слезы, знавшие в свою очередь, что они падают одинокие среди пустыни. Но именно в эти мгновения, когда душа превращалась вся в слух, или, вернее, становилась сама собою, я познал могущество невидимой доброты; она давала несчастным слезам умирающей любви божественную иллюзию любви новорожденной. Пережили ли вы один из тех печальных вечеров, когда унылые поцелуи не в силах больше улыбаться, а душа понимает наконец, что она ошиблась? С трудом произносятся слова в этом холодном воздухе окончательной разлуки; вы уже собрались уйти навсегда, и почти безжизненные руки уже протянулись для пожатия перед неизбежным уходом, когда душа вдруг была потрясена неуловимым движением. Другая душа в то же мгновение просыпалась на вершинах бытия; рождалось нечто более высокое, чем страсть утомленных любовников, и как бы тела ни удалялись одно от другого, души отныне никогда не забудут, что они обменялись взглядом поверх гор, которых раньше не замечали, и что один миг они прониклись тою добротой, о которой раньше ничего не знали.

Что же это за таинственное движение, о котором я говорю по поводу любви, но которое может сопровождать и менее значительные обстоятельства жизни? Быть может, это какая-нибудь жертва или внутреннее обьятие, глубокое желание быть душой для души, или чувство бесконечной растроганности в присутствии жизни невидимой и похожей на нашу? Не выражается ли в ней все то изумительное и печальное, что скрыто в самом факте жизни, все созерцание единой, неделимой жизни, которое в эти минуты проникает все наше существо?

Не знаю, но именно тогда чувствуешь, что есть где-то неведомая сила, и что все мы — сокровище Бога, который все любит; что ни одно движение Бога не проходит незамеченным, и что мы наконец очутились в области явлений, которые не изменяют... Правда, что со дня рождения и до смерти мы не выходим из этой страны. Но мы блуждаем в Боге, подобно бедным лунатикам или слепым, страстно ищущим храма, в котором они находятся. Вот мы стоим среди жизни, человек против человека, душа против души, дни и ночи не снимая оружия. Мы видим, но не касаемся друг друга. Мы видим только щиты и шлемы и касаемся только железа и бронзы. Но стоит незначительному обстоятельству, рожденному прихотью неба, заставить нас на минуту сложить оружие, и нам видны под шлемом слезы, за щитом нам раскрывается детская улыбка, и во всем обнаруживается какая-то новая правда.

Он на мгновение задумался, затем снова с грустью заговорил:

— Женщина, которую я невольно заставил страдать, — ибо даже самые внимательные в любви, помимо своего ведома, причиняют страдания, —

женщина, которую я, не желая того, заставил страдать, открыла мне однажды вечером верховное могущество этой невидимой доброты. Чтобы быть добрым, надо уметь переносить страдания, но, может быть, нужно причинять страдания, чтобы стать лучше. В тот вечер я это испытал. Я чувствовал, что один достиг той скорбной обители поцелуев, где кажется, будто посещаешь хижины бедных, в то время как отставшая возлюбленная еще улыбалась в дворцах первых дней любви. Человеческая любовь умирала между нами, как дитя, пораженное болезнью, пришедшею неведомо откуда и безжалостною.

Мы ни слова не сказали друг другу. Не могу даже припомнить, о чем я думал в эту торжественную минуту. О чем-нибудь, без сомнения, ничего не значащем. О последнем встреченном лице, о дрожащем свете фонаря на углу пустынной набережной; а между тем *все происходило* в свете в тысячу раз более чистом и высоком, чем если бы действовали все силы жалости и любви, которыми я управляю в своих мыслях и сердце.

Мы расстались без слов, но в то же время поняли нашу невысказанную мысль. Мы знаем теперь, что родилась другая любовь, которая уже не нуждается ни в словах, ни в мелких заботах, ни в улыбках обыкновенной любви. Мы больше не видались, мы не встретимся, быть может, прежде чем не пройдут века. «Нам придется, вероятно, многое забыть и многому научиться в мирах, через которые мы осуждены пройти», прежде чем мы обретем друг друга *в том же самом движении души*, которое пережили в тот вечер; но у нас есть время ждать... Поэтому с того дня я постоянно, не исключая самых жестоких минут жизни, приветствовал благодетельное присутствие этой чудодейственной силы. Довольно видеть ее ясно один раз, чтобы всюду встречать ее лицо. Она часто улыбается при последних вспышках ненависти и на дне самых горьких слез. А между тем она незрима для наших земных взоров, Стоит ей заявить о себе каким-нибудь внешним поступком, и она тотчас меняет свою природу; мы уже обретаемся тогда не в духовной истине, а в какой-то человеческой лжи. Доброта и любовь, как только они встретились друг с другом, уже бессильны над душою, ибо они покинули царство, где им надлежало жить. Но раньше, чем они прозрели, они могли бы смягчить самую судьбу!

Я знаю много людей, которые совершали подвиги добра и милосердия, не тронув ни одной души; и я знал других, которые, казалось, жили во лжи и несправедливости, никого не отвращая от себя и ни в ком не возбуждая подозрения, что они не добры. Более того: тот, кто вас совсем не знает и кому расскажут о всех ваших добрых поступках, станет все-таки в чем-то сомневаться, если вы добры не невидимой добротой, и никогда не будет растроган в глубине своего существа. Как будто есть какая-то область, где все взвешивается в присутствии духов; или же там, по ту сторону ночи, скрыт родник уверенностей, куда каждое утро идут души, чтоб утолить свою жажду. Быть может, мы еще не знаем того, что выражается словом *любить*.

В своей внутренней жизни мы любим, сами того не зная. Так любить не значит только жалеть, только всецело собой жертвовать для счастья других, — это нечто в тысячу раз более глубокое, чем могли бы выразить человеческие

слова самые нежные, самые стремительные и сильные. Минутами кажется, что эта любовь — мимолетное, но до глубины пронизывающее нас воспоминание о великом первобытном единстве. Есть в этой любви сила, которой ничто не может противиться. Кто из нас, если он спросит себя в свете, на который обыкновенно не обращают внимания, — кто из нас не найдет в себе воспоминания о некоторых странных явлениях этой силы? Кто из нас не испытывал, находясь, быть может, рядом с существом равнодушным, внезапное появление чего-то, ничем не вызванного?

Была ли то душа или, может быть, жизнь, которая шевелилась подобно спящему перед пробуждением? Не знаю, и вы также не знали этого, и никто об этом не говорил; но вы уже разошлись не так, как будто ничего не случалось.

Любить так — значит любить по душе, и нет души, не отвечающей на эту любовь. Ибо душа человеческая искони веков похожа на голодного сотрапезника, и никогда не приходится дважды звать ее на брачный пир.

Души братьев наших бродят непрерывно вокруг нас в надежде на поцелуй и ждут только знака. Но сколько людей не дерзало хотя бы раз во всю свою жизнь подать этот знак! Несчастье всего нашего существования в том, что мы живем в стороне от нашей души и что мы боимся малейших ее движений. Если бы мы позволили ей откровенно улыбаться в ее молчании и в ее свете, мы жили бы уже вечной жизнью. Стоит только подумать, как она предприимчива в те редкие минуты, когда мы не стараемся заковать ее, как безумную. Например, в любви, где мы позволяем ей иногда приблизиться к ограде внешней жизни. И разве, если бы мы жили согласно с первичной правдой, не следовало бы, чтобы все существа чувствовали себя перед нами, как возлюбленная перед любовником?

Эта невидимая и божественная доброта, о которой я говорю здесь только потому, что она один из самых верных и близких признаков непрерывной деятельности нашей души, эта невидимая и божественная доброта облагораживает все, к чему бы она ни прикоснулась без своего ведома. Пусть тот, кто жалуется на какое-нибудь существо, углубится в самого себя и спросит, был ли он когда-нибудь добр в присутствии этого существа. Что касается меня, то я никогда не встречал человека, близ которого проявилась бы моя невидимая доброта и который не стал бы в то же мгновение безмерно лучше меня самого. Проникнись добротою до глубины души и ты увидишь, что окружающие тебя сделаются добрыми до той же глубины. Ничто так верно не отвечает на тайный призыв доброты, как такой же тайный призыв чужой доброты. В то время, как вы деятельно добры в невидимом, все те, которые приближаются к вам, будут, сами того не зная, поступать так, как они не поступали бы рядом с другим человеком.

В этом скрыта какая-то сила, которой нет названия, духовное соперничество, которого нельзя преодолеть. Можно сказать, что именно здесь таится самое чувствительное место нашей души, ибо есть души, которые как будто забыли о своем существовании, как будто отказались от всего того, что возвышает существо; но когда они задеты в этом чувстве, они все возникают к жизни на божественных полях тайной доброты. А между тем возможно, что в

жизни, которую видишь, ничто не изменяется. Но разве одно это важно? Разве мы существуем только в таких поступках, которые можно взять в руку, как булыжник на большой улице? Когда мы спрашиваем себя, — как утверждают, что нужно себя спрашивать каждый вечер: что бессмертного совершил я сегодня? Разве мы должны прежде всего искать ответа со стороны вещей, которые можно сосчитать, взвесить и измерить без страха? Возможно, что вы проливали необычайные слезы, наполнили чье-нибудь сердце небывалою истиною, возвратили вечную жизнь чьей-нибудь душе, хотя никто об этом не узнал, хотя вы сами об этом не знали. Возможно, что ничто не изменилось. Возможно, что при испытании все рухнет, и эта доброта поддастся малейшему страху. Пускай. Что-то божественное совершилось. Быть может, высшая цель жизни состоит в том, чтобы таким образом возродить в нас неизъяснимое. И разве мы знаем, что мы даем себе самим, когда хотя отчасти пробуждаем непостижимое, спящее во всех углах? Вы пробудили любовь, которая больше не заснет. Душа, на которую взирала ваша душа и которая пролила вместе с вами святые слезы великой, никем не замеченной радости, не будет упрекать вас, даже испытывая муки.

Ей даже не придется прощать. Она так уверена в чем-то неведомом, что ни от чего более не может отныне исчезнуть или побледнеть ее внутренняя улыбка; ибо ничто не может разъединить две души, которые в продолжение одной минуты были «вместе добры».

XII.

Глубокая жизнь

Полезно напоминать людям, что смиреннейший из них «обладает способностью изваять по божественному образцу, не им выбранному, высокую нравственную личность, составленную в разных частях из него самого и из идеала, и что все истинно живущее так именно и создано».

Нужно, чтобы каждый человек нашел для себя лично возможность жить жизнью высшей среди скромной и неизбежной действительности каждого дня. В нашей жизни нет более благородной цели. То, что отличает одного из нас от другого, заключается в наших отношениях к бесконечному. Герой только потому выше преступника, идущего с ним рядом, что в известные минуты своего существования он яснее познал одно из этих отношений. Если правда, что творение не заканчивается человеком и что нас окружают незримые и высшие существа, то существа эти выше нас только потому, что у них есть отношения к бесконечному, о которых мы и не подозреваем.

От нас зависит умножить эти отношения.

В жизни каждого человека был день, когда пред ним разверзлось само небо, и почти всегда с того момента ведет счет своей жизни истинная духовная личность всякого существа. Несомненно, что в тот момент обрисовался незримый и вечный образ, которым мы, сами того не зная, обращены к ангелам и душам. Но для большинства людей небо раскрывается только случайно. Они не выбрали образа, по которому ангелы могли бы их узнать в бесконечности,

они не в силах облагородить и очистить его черты.

Они порождения радости, горя, ужаса или случайной мысли.

Мы истинно рождаемся лишь в тот день, когда впервые глубоко чувствуем, что есть нечто важное и непредвиденное в жизни. Одни начинают внезапно сознавать, что они не одиноки под небом. Другие, отдавая поцелуй или проливая слезы, замечают вдруг, что «родник всего лучшего и святого, начиная от вселенной и кончая высшей силой, скрыт за ночью, полной слишком далеких звезд». Третий видит божественную руку, простертую между его радостью и горем; иные понимают, что мертвые правы. Тот исполнился жалости, этот удивления, а другой страха. Часто не нужно почти ничего: достаточно слова, движения, чего-то, что даже не мысль.

«Прежде я любил тебя, как брата, — говорит один из героев Шекспира перед поступком, возбуждающим его удивление, — прежде я любил тебя, как брата, но теперь почитаю, как свою душу».

В этот день, по всей вероятности, в мир явилось новое существо.

Мы можем так рождаться несколько раз; и при каждом таком рождении мы приближаемся понемногу к Богу. Но почти все мы довольствуемся ожиданием того, чтобы событие, полное непреодолимого света, насильно проникло в наши сумерки и осветило нас помимо нашей воли. Мы ожидаем счастливого совпадения, наступления чего-либо сверхъестественного как раз в ту минуту, когда глаза нашей души случайно открыты.

Но свет скрыт во всем, что происходит, и самые великие люди были велики только потому, что открывали глаза на всякий свет. Разве необходимо, чтобы на ваших руках умирала ваша мать, чтобы буря унесла ваших детей или чтобы вы сами прошли мимо смерти, для того, чтобы вы поняли наконец, что живете в мире непостижимом, где пребудете вечно и где невидимый Бог также вечно пребывает в Своем творении? Разве необходимо, чтобы ваша невеста погибла в пламени или скрылась на ваших глазах в зеленой пучине океана, для того, чтобы вы провидели на мгновение, что последние границы царства любви простираются, быть может, гораздо дальше почти невидимых огней Миры, Алтаира и Волос Вероники? Если бы у вас были открыты глаза, разве вы не могли бы заметить в поцелуе того, чему теперь научает вас только катастрофа? Нужно ли, чтобы горе пробуждало ударами копья божественные воспоминания, дремлющие в нашей душе? Мудрец не нуждается в таких потрясениях. Он с открытыми глазами и с открытой душой видит слезу, движение девственницы, каплю падающей воды, внимает мелькающей мысли, пожимает руку брата, приближается к любимым устам. Он видит в них беспрестанно то, что вы провидели на мгновение, ибо улыбка легко научит его тому, что вам с таким трудом открыла буря или рука самой смерти.

Что в сущности означают все эти «мудрости», «добродетели», «героизмы», «великие часы» и «важные моменты» жизни, если не мгновения, когда человек уходит более или менее далеко от себя и находит возможность остановиться, хотя бы на одну минуту, у порога одной из вечных дверей, откуда видно, что малейший крик, самая бледная мысль и самое слабое движение не бесследно падают в небытие. Если же и падают, то самое это падение так величественно,

что довольно его одного, чтобы придать священный характер нашей жизни. Почему вы ждете, чтобы небесная твердь разверзлась при блеске молнии? Надо быть внимательным к счастливым минутам, когда оно раскрывается в молчании; а оно раскрывается беспрестанно. Вы ищете в вашей жизни Бога, а Бог не проявляет Себя, говорите вы. Но в какой жизни не бывало тысячи часов, подобных тому моменту в драме, когда все ждут вмешательства божества и никто его не замечает до той поры, пока невидимая мысль умирающего внезапно не заявит о себе и какой-нибудь старец не вскрикнет, рыдая от счастья и страха: «Вот он Бог, вот!»...

Разве необходимо, чтобы нас предупреждали? Разве тогда только можем мы пасть на колени, когда нам говорят, что Бог проходит мимо нас? Если вы глубоко любили, то и без чужого указания знали, что душа ваша — нечто столь же великое, как мир; что звезды, цветы, волны ночи и морей не одиноки, что ничто не кончается, а все начинается на пороге явлений, что даже уста, которые вы целуете, принадлежат существу гораздо более высокому, прекрасному и чистому, чем то, которое обвивают ваши руки. Вы видели тогда то, чего не могут раскрыть все объяснения. Но разве нельзя жить так, как будто бы мы вечно любили? Так жили герои и святые. Увы! мы в самом деле слишком долго ждем в жизни, подобно слепым из легенды, которые совершили длинный путь для того, чтобы услышать своего Бога. Они сели на ступени и, когда их спрашивали, что делают они на паперти храма, они отвечали. «Мы ждем, но Господь не произнес еще ни одного слова». Они не видели, что медные двери храма были заперты, и не знали, что голос их Бога наполнял храм. Наш Бог ни на мгновение не перестает говорить; но никто не дерзает приоткрыть двери. А между тем, при некотором внимании, было бы нетрудно по поводу каждого явления услышать слово, которое Бог должен произнести.

Нас всех окружает великое. В чем же нам жить, как не в нем? Нет иного положения в жизни. Нам недостает не возможности жить на небесах, а внимания, способности сосредоточиться: недостает, быть может, некоторого опьянения души. Неужели вы думаете, что если у вас только одна маленькая комната, то Бог в ней не присутствует, что нельзя и в ней вести жизнь высокую? Когда вы жалуетесь на одиночество, на то, что ничего не случается с вами, что никто вас не любит, что вы не любите никого, уверены ли вы, что слова не обманывают? Что вообще существует одиночество, что любовь — нечто известное, видимое, и что события могут быть взвешиваемы, как золото и серебро?

Разве живая мысль, — все равно, возвышенна ли она или бедна: с момента своего рождения в вашей душе она значительна для вас, — разве высокое желание или просто минута торжественного внимания к жизни не могут вместиться и в маленькой комнате? Если же вы не любите и вас не любят, но вы все-таки в силах понять, что много есть прекрасного, что душа велика, и что жизнь полна почти невыразимого значения, — разве это не так же хорошо, как если бы вас любили или если бы вы любили? А если само небо от вас сокрыто, то разве «великое звездное небо, — как говорит поэт, — все же не простирается и над вашей душой под видом смерти»?.. Все, что с нами происходит,

божественно велико, и мы всегда находимся в центре величественного мира. Но надо приучить себя жить подобно только что родившемуся ангелу, любящей женщине или мужу в минуту смерти. Если бы вы знали, что в этот вечер умрете, или просто отойдете навсегда, разве вы смотрели бы в последний раз на людей и на окружающее так же, как смотрели на них до этого дня? Разве не любили бы так, как еще никогда не любили? Что выросло бы в ваших глазах — злая или добрая сторона явлений? Приобрели ли бы вы дар замечать красоту или уродство душ? Разве не преобразовалось бы все, включая зло и страдания, в любовь, полную нежных слез? Разве всякая возможность проявить прощение не облегчает горечи расставания или смерти? И однако, при этом свете печали или смерти, кто знает, в сторону ли истины или заблуждения был сделан последний шаг? Кто вернее видит и кто более прав — живые или мертвые? О, блажен тот, кто думал, говорил и поступал так, что заслужил одобрение готовящихся к смерти или прозревших после великого горя. Нет лучшей награды для мудреца, которого при жизни никто не слушал. И если вы провели жизнь в скрытой от людей красоте, ждите спокойно. Для каждого сердца в конце концов наступает час высшей справедливости, и горе открывает глаза, которые никогда открытыми не были. Кто знает, не проходите ли вы в эту минуту над душой умирающего, как тень человека, который познал уже истину? Не над ложем ли умирающего сплетается истинный и самый драгоценный венец мудреца, героя и всех тех, которые умели жить мудро среди высоких, чистых и скромных печалей духовной жизни?

«Смерть, — говорит Лафатер, — украшает не только нашу бездушную форму; одна мысль о смерти уже придает самой жизни более прекрасную форму». Да и вообще все мысли бесконечные, как мысль о смерти, украшают нашу жизнь. Но их надо уметь различать.

У каждого человека есть благородные мысли, которые проносятся над его сердцем подобно большим белым птицам. Увы! На них не обращают внимания; это чужеземки, на которых смотрят с изумлением и которых отстраняют докучливым жестом. Им некогда настичь нашу жизнь. Для того, чтобы душа наша стала мудрой и глубокой подобно ангельской, недостаточно мельком взглянуть на вселенную в тени смерти или вечности, в свете радости или в пламени красоты и любви. Такие минуты бывали в жизни каждого человека и оставляли его с пригоршней бесполезного пепла. Недостаточно случая, — необходима привычка. Надо научиться жить среди привычной красоты и мудрости. В жизни самые низкие существа отлично различают то прекрасное и благородное, что они должны были бы совершить; но оно не обладает в них достаточной силой. Это и есть та невидимая и абстрактная сила, которую мы должны заблаговременно воспитать в себе. А сила эта возрастает только в тех, кто приобрел привычку взбираться чаще других на вершины, где жизнь овладевает душой и откуда видно, что всякий поступок и всякая мысль неминуемо связаны с чем-то великим и бессмертным.

Смотрите на людей и предметы согласно форме и устремлению вашего внутреннего ока. Но не забывайте никогда, что тень, бросаема ими на землю или стены, есть только мимолетный образ тени более могущественной, которая

простирается, подобно крылу нетленного лебедя, над всякой душой, приближающейся к их душе.

Не думайте, что мысли эти годны только как украшения и что они не имеют никакого действия на жизнь тех, которые признают их.

Гораздо важнее увидеть жизнь, чем изменить ее, потому что она сама изменяется с того мгновения, как мы ее увидели. Эти мысли, о которых я теперь говорю, образуют тайное сокровище героизма. И в тот день, когда жизнь открывает нам его, мы, изумленные, обретаем силу, которая увлекает нас в совершенной красоте. Тогда нам уже не надо ждать смерти великого короля, которая напомнила бы нам, «что свет не кончается за дверями наших домов»; довольно малейшего повода, чтобы каждый вечер душа познавала свое благодество.

Не тогда, когда вам говорят, что Бог велик и что вы движетесь в Его сиянии, вы будете жить в красоте и на плодотворных глубинах, в которых жили герои. Вы можете повторять каждый вечер и каждое утро, что руки невидимых сил шевелятся над вашей головою, подобно бесчисленным складкам распростертой над вами палатки. Вы все же никогда не заметите ни малейшего движения этих рук. Надо быть действительно внимательным. Лучше бодрствовать на публичной площади, чем заснуть в храме. Красота и величие таятся во всем, что нас окружает, ибо достаточно непредвиденного обстоятельства, чтобы мы увидели это.

Большинство это знает, но, несмотря на свое знание, люди только под ударами рока или смерти бродят вокруг стены существования в поисках просветов, открывающих Бога. Им известно, что вечные просветы существуют и в стенах бедных хижин и что маленькие оконца не уменьшают бесконечных небесных пространств ни на одну черту, ни на одну звезду. Но обладать истиной еще мало; надо, чтобы истина нами владела.

А между тем мы живем в мире, где малейшие события принимают без труда образ все более и более прекрасный и высокий. Ничто не смешивается так легко, как небо и земля. И если прежде чем поцеловать вашу возлюбленную, вы взглянули на звезды, вы обнимете ее не так, как если бы вы посмотрели на стены вашей комнаты. В тот день, когда вы остановились, следя глазами за лучом света сквозь одну из щелей в дверях жизни, вы совершили столь же великое, как если бы перевязали рану у своего врага — ибо в тот день у вас больше не было врагов. Надо быть всегда настороже со своим Богом, ибо Бог любит скрываться. Но Его скрытность, если ее постичь, кажется невинной и простой. Отныне малейшее обстоятельство открывает нам Его присутствие, и величие нашей жизни зависит от случайных мелочей.

Так в творениях поэтов, среди смиренных событий наших будней, вдруг находишь стих, который как бы внезапно открывает нам нечто необъятное. Ни одно торжественное слово не было сказано, ничто как будто не было установлено. Однако кто объяснит, почему неизреченный образ кивнул нам из-за слез старика, почему ночь, населенная ангелами, простерлась вокруг улыбки ребенка, и почему по поводу какого-нибудь «да» или «нет», которое пролепетала душа, напевая во время работы о чем-то другом, мы вдруг, затаив

дыхание, сказали себе: «вот дом Господень и вот один из входов, ведущий в небо»?

Это происходит оттого, что поэты были более внимательны, нежели мы, к «нескончаемой тени»... В сущности, высокая поэзия только в этом и заключается. У ней нет другой цели, чем держать открытыми «великие пути, ведущие от видимого к невидимому». Но в этом также верховная цель всей жизни, и ее легче достигать в жизни, чем в самых благородных поэмах, ибо поэмы должны были сложить с себя два больших крыла молчания. Нет в жизни незначительных дней. Необходимо, чтобы эта мысль проникла в душу и претворилась в ней в действительность. Не надо быть всегда печальным. Маленькие радости, маленькие улыбки и большие слезы — все это занимает в пространстве и времени ту же точку. Вы можете играть в жизни так же невинно, «как ребенок вокруг ложа смерти», и не всегда необходимо плакать. Улыбки, как и слезы, открывают двери другого мира. Идите, возвращайтесь, выходите снова, — вы найдете среди сумерек то, что вам нужно. Но не забывайте никогда, что вы близко от дверей.

После этого долгого отступления возвращаюсь к исходному пункту, именно к тому, что «полезно напоминать людям о том, что смиреннейший из них обладает способностью изваять по божественному образцу, не им выбранному, высокую нравственную личность, составленную в разных частях из него самого и из идеала». Но эта «высокая нравственная личность» может быть изваяна только на глубинах жизни, и необходимый запас идеала увеличивается лишь благодаря непрерывным «откровениям божественного». Каждый человек может в разуме достигнуть вершин добродетельной жизни и постоянно знать, как надо поступать, чтобы уподобиться герою или святому. Но суть не в знании. Нужно еще, чтобы духовная атмосфера вокруг нас преобразилась и уподобилась атмосфере прекрасных стран и золотого века Сведенборга, когда самый воздух препятствовал неправде выходить из уст человека. Наступает время, когда малейшее зло, которое мы желаем совершить, падает к нашим ногам, как свинцовый шар на бронзовый диск, и когда почти все без нашего ведома претворяется в красоту, истину и любовь. Но эта атмосфера окружает лишь тех, кто достаточно часто проветривал свою жизнь, открывая двери в другой мир. Только поблизости от этих дверей мы видим. Только поблизости от этих дверей мы любим. Ибо любить ближнего значит не только отдаваться ему, не только служить и помогать другим. Можно не быть ни добрым, ни прекрасным, ни благородным среди величайших жертв, и у сестры милосердия, умирающей у изголовья тифозного больного, может быть мстительная, мелкая и жалкая душа. Любить ближнего на неизменных глубинах значит любить то, что есть вечного в других; ибо ближний есть по преимуществу то, что всего более приближается к Богу, т. е. ко всему чистому и доброму, скрытому в людях. Только находясь постоянно поблизости от дверей, о которых я только что говорил, вы откроете все, что в душах скрыто божественного. Тогда вы сможете сказать с великим Жан-Полем: «Когда я хочу нежно любить дорогое существо и все ему прощать, мне стóит лишь некоторое время смотреть на него молча». Надо научиться смотреть, чтобы научиться

любить. «Двадцать лет я жил вместе с моей сестрою, — рассказывал один из моих друзей, — и в первый раз я увидел ее в минуту смерти нашей матери». Нужно было, чтобы смерть насильственной рукой открыла вечную дверь для того, чтобы две души увидели себя в лучах изначального света. И разве не каждый из нас окружен такими сестрами, которых он ни разу не видал?

К счастью, как раз в тех, кто видит всего меньше, нечто глубоко скрытое безмолвно действует так, как будто бы они были зрячие. Возможно, что быть добрым значит только действовать в скудном свете так, как другие действуют во мраке. Вот почему несомненно полезно поднимать свою жизнь и стремиться к вершинам, где достигаешь невозможности быть злым. Вот почему полезно приучать свой глаз видеть события и людей в божественной атмосфере. Но и это не необходимо. Каким ничтожным должно казаться в глазах Бога всякое различие! Мы живем в мире, где в основе вещей царит истина и где в объяснениях нуждается не истина, а ложь. Если счастье вашего брата вас печалит, не презирайте себя. Вам не нужно пройти большого пути, чтобы отыскать в себе нечто свободное от этой печали. И если даже вы не прошли этого пути, ничто не изменилось, — нечто в вас осталось неопечаленным.

Тот, кто не думает ни о чем, обладает тою же истиною, как те, которые думают о Боге. Его истина лишь несколько дальше от порога — вот и все. «В жизни самой пошлой, — говорит Ренан, — очень велика доля того, что совершается во имя Бога. Человек самый низкий предпочитает быть справедливым, нежели несправедливым, и мы все молимся и славословим по нескольку раз в день, сами об этом не зная». Мы бываем удивлены, когда внезапный случай открывает нам важность этой божественной части жизни. Вокруг нас есть тысячи бедных существ, не видевших за всю свою жизнь ничего прекрасного. Они ходят и блуждают в темноте. Можно подумать, что все в них умерло, и никто не обращает на это внимания. И вдруг простое слово, непредвиденное молчание, маленькая слеза, исходящая из самых источников красоты, показывает нам, что они нашли возможность построить в сумерках своей души идеал в тысячу раз прекраснее всего, что они слышали и видели в жизни. О, благородные и бледные идеалы, воздвигнутые в молчании и тени! Вам более, нежели другим, дано рождать улыбку ангелов и возноситься прямо к Богу. В скольких бесчисленных хижинах, в скольких приютах нищеты, в скольких, быть может, темницах в эту самую минуту льются слезы и чистейшая кровь бедной, никогда не улыбавшейся души. Так, когда все цветы погибли, пчелы предлагают той из них, которая назначена быть их царицей, мед в тысячу раз более драгоценный, нежели мед, которым они кормят своих маленьких сестер обыденной жизни... Кто из нас не встречал вдоль дорог жизни покинутую душу, не потерявшую однако надежды отыскать в темноте мысль более божественную и чистую, нежели все мысли, которые другие имели случай выбрать в дневном свете? И тут любимую работу Бога остается простота. И, может быть, достаточно, чтобы несколько мудрецов знали, как надо поступать, для того, чтобы все остальные люди поступали так, как если бы и они знали всю истину.

XIII.

Внутренняя красота

Ничто в мире так жадно не ищет красоты, ничто в мире так легко не воспринимает красоту, как душа. Ничто в мире не возвышается столь естественно и не облагораживается столь быстро. Ничто в мире так охотно не подчиняется власти мысли, более высокой, чем другие. Вот почему немногие души на земле могут устоять против господства души, которая позволяет себе быть прекрасной.

Можно сказать, что единственная пища нашей души — это красота. Она ищет ее повсюду и даже на низших ступенях жизни не умирает с голода. Ибо нет красоты, которая прошла бы совершенно незамеченною. Возможно, что она воспринимается только в мире бессознательном; но во мраке ночи она влияет так же сильно, как при свете дня. Только радость, доставляемая ею, менее ощутима; в этом вся разница. Взгляните на людей наиболее обыкновенных, когда луч красоты коснулся их сумерек. Вот они собрались безразлично где, а когда они сходятся вместе, их первая забота, неизвестно почему, — закрыть большие двери жизни. Наедине каждый из них однако не раз жил согласно законам своей души.

Он, может быть, любил и наверно страдал. Он неизбежно слышал «звуки из далекой страны сияний и ужасов». В вечерний час он не раз молча преклонялся перед законами более глубокими, чем море. Но, как только люди сходятся друг с другом, они любят опьянять себя всем низким; они чувствуют необъяснимый страх перед красотой, и чем собрание многочисленнее, тем этот страх сильнее. Точно так же боятся они молчания и слишком чистой истины. Это настолько верно, что, если бы кому-нибудь из них пришлось в течение дня совершить героический поступок, он постарался бы его извинить и оправдать пошлыми побуждениями, взятыми из низменного мира, где они собрались. Прислушайтесь однако: вдруг кем-то сказано высокое и гордое слово, открывшее некоторым образом источники жизни. Чья-то душа дерзнула на минуту показаться такой, как она есть — в любви, в печали, перед смертью или в одиночестве, в присутствии ночных звезд. Всеми овладело беспокойство, лица изумлены или улыбаются. Но разве вы не почувствовали в эти минуты, как согласно и сильно все души восторгаются сказанным, как наиболее слабая из глубины своей тюрьмы неслыханно одобряет слово, в котором узнает сходство с самой собой. Они внезапно оживают в своей первоначальной родной атмосфере. И если бы у нас был слух ангелов, я уверен, вы бы услышали могучие всплески радости в царстве светов, где они соединяются между собой. Если бы подобное слово произносилось каждый вечер, не думаете ли вы, что самые робкие души стали бы смелее и люди стали бы жить правдивее? Не нужно даже, чтобы подобное слово повторялось. Произошло нечто глубокое, и оно оставит глубокие следы. Душа, произнесшая это слово, будет каждый вечер узнана своими сестрами; одно ее присутствие отныне будет придавать что-то величавое самым незначительным разговорам. Во всяком случае, произошла перемена, трудно определяемая. Неизменное отныне лишится своей

исключительной силы, и устрашенные души будут знать, что где-то им открылось место убежища...

Нет сомнения, что естественные и первобытные отношения одной души к другой суть отношения красоты. Красота — вот единственный язык наших душ. Другого языка они не понимают. Они ничем иным не живут, ничего не производят, ни в чем ином не принимают участия. Вот почему мысль, слово, поступок, если они велики и прекрасны, немедленно одобряются душою наиболее угнетенной и даже низкой, — если предположить, что есть низкие души. У души нет органа, привязывающего его к другой стихии, и она может судить только по законам красоты. Вы каждую минуту видите красоту в своей жизни. Ты, который не раз отрицал ее, знаешь ее так же хорошо, как и те, которые непрестанно ищут ее в своем сердце. Если вы почувствуете вдруг нужду в другом существе, неужели вы пойдете к тому, кто улыбнулся презренной улыбкой при виде проходившей красоты? К тому, кто кивком головы загрязнил великодушный поступок или хотя бы только благородное намерение? Может быть, вы прежде одобряли этого человека. Но теперь, в решительную минуту, когда истина постучалась в вашу дверь, вы обратитесь к другому, кто умел преклоняться и любить. Душа наша свершила суд в своих глубинах, и ее безмолвный и непогрешимый приговор, быть может, лишь через тридцать лет всплывет на поверхность и направит вас к сестре, которая более — вы, чем все остальное в вас, потому что она ближе к красоте.

Чрезвычайно мало нужно для того, чтобы пробудить красоту в чьей-либо душе. Спящих ангелов легко разбудить. Быть может, и будить не надо; достаточно лишь не усыплять. Быть может, труднее опускаться, нежели не подниматься. Разве не трудно думать о низменных предметах у моря или перед лицом ночи? Какая же душа не знает, что она всегда стоит перед морем и всегда находится в присутствии вечной ночи? Если бы мы менее боялись красоты, мы бы ничего другого не находили в жизни; ибо из всего, что мы видим, она одна действительно существует. Все души это знают, все они готовы; но где те из них, которые не скрывают своей красоты? Необходимо однако, чтобы которая-нибудь из них «начала». Почему не осмелиться быть той, которая «начнет»? Все остальные находятся тут же, теснятся, жадные, вокруг нас, как маленькие дети перед сказочным дворцом; они толпятся у порога, шепчутся, заглядывают сквозь щели, но не смеют толкнуть дверь и ждут, чтобы взрослый пришел и открыл ее. Но взрослый почти никогда не приходит.

И однако, что требуется для того, чтобы стать этим ожидаемым взрослым? Почти ничего. Души так мало требовательны. Почти прекрасная мысль, которую вы, не высказывая, лелеете в эту минуту, освещает вас изнутри, как прозрачный сосуд. Души это видят и принимают вас иначе, чем если бы вы задумали обмануть своего брата. Мы удивляемся, когда некоторые люди говорят нам, что еще никогда не встречали истинное уродство и не знают, что значит низкая душа. В этом нет ничего удивительного. Они «уже начали». Тем, что они сами были прекрасны, они привлекли к себе все прекрасное проходившее мимо, как маяк призывает корабли со всех концов горизонта. Есть

люди, жалующиеся, например, на женщин. Они не знают, что при первой встрече с женщиною достаточно одного слова, одной мысли, отрицающих прекрасное и глубокое, чтобы навсегда отравить в ее душе *ваше существование*.

«Что касается меня, — сказал мне однажды один из мудрых, — я не знал ни одной женщины, которая не принесла бы мне чего-либо возвышенного». Он сам был возвышен — в этом была его тайна. Одного лишь душа никогда не простит — принуждения видеть, встречать уродливый поступок, слово, мысль, или принимать в них участие. Этого она никогда не простит, ибо прощать в этом случае значит отрицать себя. И однако для большинства людей быть умным, сильным, ловким не значит ли удалять прежде всего свою душу от ее жизни, заботливо устранять от себя все ее глубокие стремления? Так они поступают даже в любви; и вот почему женщина, которая еще ближе к правде, почти никогда не бывает с ними правдива. Можно подумать, что люди боятся общения со своей душой и стараются быть в ста милях от ее красоты. Следовало бы, наоборот, пытаться идти навстречу себе. Старайтесь думать и говорить в эту минуту о вещах слишком прекрасных для того, чтобы они были искренни; они станут искренними завтра, если вы сегодня вечером старались о них думать. Пытайтесь превзойти красотой самих себя; вы не превзойдете своей души. Нельзя ошибиться, когда речь идет о красоте безмолвной и скрытой; впрочем, безразлично, ошибается ли человек или нет, если только внутренний источник прозрачен. Но кто делает эти невидимые усилия? И однако тут все приводит к цели, ибо все готово к восприятию. Все двери открыты, остается лишь их толкнуть, и дворец полон закованных царевен. Иногда бывает достаточно слова, чтобы смести целые горы нечистот. Почему не осмелиться благородно ответить на низкий вопрос? Думаете ли вы, что ваш ответ пройдет незамеченным или возбудит только изумление?

Думаете ли вы, что, поступая так, вы не приближаетесь к естественной беседе души с душою? Нельзя знать, кого вы своим словом ободрите или избавите. Даже тот, кто отринет ваш ответ, делает помимо своей воли шаг к своей собственной красоте. Прекрасное никогда не умирает, не очистив чего-либо. Ничто прекрасное бесследно не теряется. Не надо бояться бросать семена красоты по дорогам. Они останутся там лежать неделями, может быть, годами, но, подобно алмазам, и не истлеют и в конце концов, кто-нибудь пройдет, заметит их блеск, подберет их и уйдет счастливый.

Зачем утаивать прекрасное и высокое слово из опасения, что другие вас не поймут?

Зачем на минуту замедлить рождение высшей доброты из опасения, что окружающие не воспользуются ею? Зачем побеждать в себе инстинктивное движение к высоте из сознания, что вы находитесь среди жителей долины? Разве глубокое чувство теряет свою силу в темноте? Разве у слепого, помимо глаз, нет средства распознавать тех, кто любит его, от тех, кто не любит? Разве красота должна быть понята для того, чтобы существовать? И вообще не допускаете ли вы, что каждый человек понимает более, чем это кажется, более, чем он сам полагает? «Даже самому презренному, — сказал мне однажды

самый возвышенный человека, которого я имел счастье знать, — у меня не хватило бы духа ответить даже самому презренному существу что-либо некрасивое или посредственное». И этот возвышенный человек, за жизнью которого я долго следил, имел неизъяснимую власть над душами наиболее темных, скрытых, буйных, даже мятежных людей. Ибо ничьи уста не могут высказать силу души, которая пытается жить в атмосфере красоты и деятельно-прекрасна в себе самой. И разве не свойство этой деятельности делает жизнь презренной или божественной?

Если б можно было дойти до основ жизни, мы бы, может быть, открыли, что всех нас поддерживает власть немногих прекрасных душ. Понятие, которое каждый из нас составляет себе о некоторых избранных существах, образует, быть может, единственно живую и действительную мораль жизни? Но что в этом понятии принадлежит душе избранной и что душе избравшей? Не смешано ли все это весьма таинственно и не достигает ли эта идеальная мораль тех глубин, которых никогда не заденет мораль прекраснейших книг? Тут мы имеем дело с влиянием, пространство и границы которого трудно определить; с источником силы, к которому каждый из нас приходит не раз в день, чтобы напиться. Разве разочарование в одном из этих существ, которое вы почитали совершенным и полюбили в области прекрасного, не уменьшает тотчас же ваше доверие ко всемирному величию вещей и ваше удивление перед ними?

И с другой стороны я думаю, что ничто в мире не возвышает душу более незаметно и естественно, чем уверенность, что поблизости есть чистое и прекрасное существо, которое она может любить без задней мысли. Когда же душа действительно приблизилась к такому существу, красота перестает быть мертвым предметом, который выставляют на показ чужим; она внезапно получает властную жизнь, и ее деятельность становится столь естественной, что ничто не может ей противостоять. Вот почему помышляйте об этом. Никто не одинок. Добрые да бодрствуют.

Плотин, в восьмой книге пятой Энеады, говоря о непознаваемой, т. е. божественной красоте, говорит в заключение следующее: «Что касается нас, то мы прекрасны, когда принадлежим себе самим, и уродливы, когда унижаемся до низшей природы. Еще мы бываем прекрасны, когда знаем себя, и уродливы, когда обретаемся в неведении». Но забудем, что тут мы находимся на вершинах, где обретаться в неведении не значит просто не знать, что происходит в нас, когда мы влюблены или ревнивы, боимся или завидуем, счастливы или несчастны. Обретаться в неведении означает здесь не ведать, что происходит в людях божественного. Мы уродливы, когда удаляемся от врагов, живущих в нас, и мы становимся прекрасными по мере того, как открываем их присутствие. Но отыскать божественное в других мы можем, лишь показав им предварительно божественное в нас самих. Необходимо, чтобы бог сделал знак другому богу, и все боги отвечают на еле заметный знак. Надо повторять это как можно чаще. Достаточно почти незримого отверстия для того, чтобы небесные воды просочились в душу. Все чаши протянуты к неведомому источнику, и все мы проживаем в месте, где помыслы устремлены только на красоту. Если бы можно было спросить ангела о том, что делают наши души в

тени, я уверен, что он, в течение долгих лет наблюдавший их далеко по ту сторону всего, что они совершают на глазах людей, ответил бы так: они «превращают в красоту мелочи жизни». Да, нужно сознаться, что душа человеческая обладает особым терпением; она соглашается работать всю жизнь в сумерках, куда большинство из нас ее изгоняет и где с нею никто не говорит. Она совершает там, не жалуясь, все, что может, и старается извлечь из бросаемых в нее камней зерно вечного света, которое в них, быть может, заключено. Применяясь таким образом к трудностям своей задачи, она сторожит миг, когда могла бы показать терпеливо собранные ею сокровища более любимой или случайно более близко стоящей сестре. Но есть тысячи существований, в которых ни одна сестра ее не посещает и где жизнь сделала ее столь робкой, что она уходит безмолвно, ни разу не украсив себя самыми скромными драгоценностями своей смиренной короны...

И несмотря на это она обо всем заботится в своем незримом небе. Она предупреждает, любит, восторгается, притягивает, отталкивает. При каждом новом событии она снова поднимается на поверхность, в ожидании, что ее заставят опуститься на дно, ибо она слывет невыносимой и безумной. Она бродит, подобно Кассандре, перед портиком Атридов. Она беспрестанно произносит слова, самая правда которых похожа на тень, и никто ей не внемлет. Когда мы поднимаем глаза, она ждет от нас солнечного или звездного луча, из которого могла бы создать мысль или стремление бессознательное и весьма чистое; и если наши глаза ей никакого луча не принесут, она сумеет превратить свое бедное разочарование в нечто несказанное и будет скрывать это до смерти. Если мы любим, она стоит, опьяненная светом, за запертой дверью и, предаваясь надежде, не теряет времени. Проникающий через щели свет становится для нее добротою, красотой или истиною. Но, если дверь не откроется (а во многих ли существованиях она открывается), душа вернется в свою тюрьму, и, может быть, ее сожаление станет более высокой истиной, которую никто не увидит, ибо мы находимся в месте неизъяснимых превращений. И то, что родилось не по нашу сторону дверей, хотя не потеряно, но никогда не смешается с нашей жизнью...

Я только что сказал, что душа претворяет в красоту мелочи, получаемые от жизни. Вдумываясь, хочется сказать, что у нее нет другого смысла бытия, и что вся ее деятельность направлена на то, чтобы в глубине нас собирать сокровища неопишуемой красоты. Разве не все превратилось бы естественно в красоту, если бы душе так часто не мешали в ее упорной работе? Разве самое зло не становится драгоценным, когда она извлекает из него глубоко скрытый алмаз раскаяния? Разве свершенные вами несправедливости и слезы, которые из-за вас проливались, не превратятся когда-нибудь в вашей душе в свет и любовь? Заглянули ли вы в себя в это царство очистительных огней? Вот сегодня вам причинили большое зло; жесты были скудны, поступок мелок и печален, и вы плакали в уродстве. Однако, если вы через несколько лет заглянете в свою душу, не увидите ли вы, под воспоминанием об этом поступке, нечто уже более чистое, чем мысль, какую-то безымянную силу, не имеющую ничего общего с обыкновенными силами этого мира, какой-то «ключ другой жизни», из

которого вы, не исчерпывая его, можете пить до конца ваших дней? И однако вы ничем не помогали неутомимой царице. Вы думали о другом, покада поступок очищался без вашего ведома, в молчании вашего существа, обогащая драгоценные воды в великом резервуаре истины и красоты. Он не волнуется подобно другому, менее глубокому резервуару верных и прекрасных мыслей; он навеки защищен от дыхания жизни.

«Всякий поступок, всякое событие нашего существования, — говорит Эмерсон, — рано или поздно теряет свою инертную, липкую форму и, к нашему изумлению, устремляется в глубине нашего тела в эмпирию». И это верно еще в большей степени, чем полагал Эмерсон, ибо по мере того, как подвигаешься вперед в этом направлении, открываешь все более божественные сферы.

Еще с достоверностью не известно, в чем заключается молчаливая деятельность окружающих нас душ. Мы сказали чистое слово существу, которое его не поняло. Вы сочли слова потерянным и больше не думали о нем; и вдруг наступает день, когда случайно это слово возникает странно измененное, и вы неожиданно видите плоды, которые оно принесло в темноте; затем все снова исчезает в молчании. Но не все ли равно? Вы узнали, что ничто не теряется в душе и что самое малое имеет свои минуты величия. Истина в том, что наиболее несчастные и обездоленные носят, наперекор себе, в глубине существа сокровища красоты, которых не в силах растратить. Нужно лишь приобрести привычку черпать оттуда. Нужно, чтобы красота не оставалась уединенным праздником жизни, а сделалась праздником каждого дня.

Не требуется большого усилия, чтобы быть допущенным в число тех, «в чьи глаза цветущая земля и блистающее небо входят не бесконечно малыми частицами, а огромными величинами». И я говорю о цветах и небесах более постоянных и чистых, чем те, которые мы видим. Существует тысяча каналов, по которым красота души может подняться до нашей мысли. Самый изумительный и центральный из них — канал любви.

Не в любви ли заключены чистейшие элементы красоты, которое мы могли бы предложить душе? Есть существа, которые любят друг друга в красоте. Так любить значит терять мало-помалу чувство уродливого, стать слепым для всего ничтожного и видеть только чистоту и девственность самых смиренных душ.

Так любить значит не иметь более надобности прощать. Так любить значит не уметь ничего скрывать, ибо вечно присутствующая душа превратит все в красоту. Так любить значит видеть зло лишь с целью утончать свою снисходительность, научаясь не смешивать грешника с его грехом.

Так любить значит поднять в себе самом всех окружающих на вершину, где они не могут более изнемогать; всякий низкий поступок падает оттуда с такой высоты, что, встречая землю, невольно испускает свою алмазно-чистую душу. Так любить значит помимо ведома претворять бодрствующие вокруг нас самые мелкие побуждения в беспредельно большие. Так любить значит призывать на праздник любви все, что есть прекрасного на земле, на небе и в душе. Так любить значит чувствовать себя перед другим человеком, как перед Богом. Так любить значит вызывать малейшим жестом присутствие души и все

ее сокровища. Не нужно больше ни смерти, ни катастрофы, ни слез для того, чтобы душа явилась: достаточно улыбки. Так любить значит видеть истину в счастье так же глубоко, как некоторым героям удалось ее видеть при свете великих страданий. Так любить значит не различать больше красоту, которая претворяется в любовь, от любви, которая претворяется в красоту. Так любить значит не различать более, где кончается луч звезды и где начинается поцелуй общей мысли. Так любить значит настолько приблизиться к Богу, что вами овладевают ангелы. Так любить значит вместе украшать одну и ту же душу, которая мало-помалу становится тем *единственным ангелом*, о котором говорит Сведенборг. Так любить значит каждый день открывать в этом таинственном ангеле новую красоту и идти вместе с ним к доброте все более живой и высокой. Ибо есть также мертвая доброта, созданная лишь из прошлого; истинная же любовь делает прошлое бесполезным и при своем приближении создает неисчерпаемое будущее без несчастий и без слез. Так любить значит освободить свою душу и стать прекрасным, как эта освобожденная душа. «Если среди сильного волнения, которое должно в тебе возбудить это зрелище, — говорит великий Плотин, из всех известных мне умов наиболее близкий к божеству, — если среди сильного волнения, которое должно возбудить в тебе это зрелище, ты не восклицаешь, что оно прекрасно, и если, погружая взор в самого себя, ты не испытываешь обаяния красоты, то напрасно при таком расположении души ты стал бы искать умственной красоты; ты искал ее при помощи нечистого и безобразного. Вот почему речи, которые мы здесь произносили, не предназначаются для всех людей. Но если ты познал в себе красоту, воспрянь для воспоминаний о красоте духовной...»

Приложение к главе VIII

II

Среди вестников человеческой души Новалис воплощает один из самых неуловимых, утонченных и прозрачных ликов того высшего существа, которое осуждено на молчание в глубине нас самих. Его можно назвать блуждающей душой, кристальной пчелой среди этой почти неподвижной группы. Он не менее мистик, чем другие, но мистицизм его особого рода. «Что такое мистицизм, — спрашивает он сам себя в своих отрывках, — и что подлежит мистическому исследованию? — Религия, любовь, политика. Все возвышенное имеет отношение к мистицизму. Если бы все человечество представило только одну чету влюбленных, то различие между мистицизмом и не-мистицизмом исчезло бы».

Между мыслью мистической и мыслью обыкновенной, как бы последняя ни казалась высокой, та же разница, как между мертвыми глазами слепого и глазами ребенка, глядящего на море и горы. Душа распознает их всегда безошибочно. Тут речь идет не только о мистицизме теологическом или экстатическом. Мистиком бывает всякий, кто различает нечто по ту сторону обычных явлений страстей или разума. Если бы Паскаль вдохновлял Расина, когда тот создавал Беренику, любовь Береники была бы мистической, то есть более человеческой; и Паскаль вдохнул бы в это чувство нечто такое, что напоминало бы взор любящей, когда ее глаза встречаются с глазами возлюбленного. Произведение сделалось бы тогда неисчерпаемым, между тем как теперь Береника живет жизнью сухой, обособленной, не могущей возобновиться. Как поэтический образ, она нетленна, но она не общается с Богом, подобно Гамлету или Корделии.

Существует тысяча различных видов мистицизма. «Мистицизм, — говорит Маттер, биограф Клода Сен-Мартена, — мистицизм, идя дальше положительной науки и умозрений разума, имеет столько же различных форм, сколько существует выдающихся мистиков. Но под всеми этими формами он скрывает два стремления, которые всегда остаются одни и те же: стремление достигать интуиции в метафизических исследованиях и совершенства в практической морали. Наивысшее знание и наивысшая нравственность — вот в двух словах все, чего ищет мистицизм, к достижению чего он стремится с непреклонной волей и что он претендует если не преподавать, — ибо эти внутренние победы не могут быть преподаваемы, — то, по крайней мере, приоткрывать другим». Новалис не занимается исключительно ни теософией, ни теургией, ни трансцендентной пневматологией, ни метафизической космологией, ни всем тем, что заключено в специальных сферах мистики в собственном значении слова. Он мистик почти бессознательный, не преследующий никакой определенной цели. Он мыслит мистически, ибо всякая

мысль, которая известным образом соприкасается с бесконечным, становится мыслью мистической. Следует повсюду отыскивать подобные мысли, потому что только в них наша душа живет истинною жизнью. И так как они чрезвычайно редки, то следует довольствоваться малейшими попытками и указаниями. Я не хочу сказать, что из всех мистиков Новалис является самым удивительным. Его учение довольно туманно и не содержит нового решения великих вопросов о сущности всего. Но некоторые из его мыслей поистине пропитаны особым ароматом души, и вы легко узнаете этот аромата, для определения которого нет слов ни на каком языке. Он сумел облечь в мистические покровы многое земное, и покровы эти кажутся самыми удобными, безыскусственными и девственно-чистыми из всех существующих. Его мистицизм кажется до того простым и внутренне необходимыми, что его с первого взгляда даже не замечаешь. В этом мистицизме неожиданно для вас складываются бесконечные обобщения и с нужной легкостью охватывают все существующее. Новалис не делает мучительных усилий. Он не ищет в мраке или в слезах, а улыбается всему существующему с каким-то кротким безразличием и взирает на мир с рассеянным любопытством досужего и развлекаемого долгими воспоминаниями ангела. Он беззаботно играет в садах души, как бы не подозревая, что находится на предельной точке жизни, и что он часто просовывает руку меж ветвей, чтобы сорвать цветы, растущие по ту сторону огненной ограды. Он так же далек от клокочущей и мрачной радости мистиков-аскетов. Ему неведом невыносимый пламень, растворяющий душу на полюсах божественной любви. Он скорее похож на удивленного, мелодично настроенного вибрирующего ребенка, в котором живет чувство единства. Он не знает ни печали ни тревоги. «В этом мире, собственно говоря, нет страдания», — говорит он нам, и однако он был несчастен, как любой среди нас. Но скорбь не могла проникнуть в его душу и не смущала его мыслей. «Страдание есть божественное призвание», — говорит он в другом месте. Но чувствуется, что он не испытал страданий и говорит о них, как путешественник на языки чужой страны. Ибо душа, независимо от ее желания, рождается сестрою страдания или радости, и внешние события ничего в этом не могут изменить. Когда умерла его юная невеста, единственная женщина, которую он искренно любил, казалось, что жизнь его разбита. Он не переставал до самой смерти мечтательно плакать над ее могилой. Но в какой момент его творчества умерла она, — на этот вопрос трудно ответить. Однако, несмотря на все его слезы, ангельский оптимизма его жизни не был омрачен. Мы поистине слишком мало знаем о законах, управляющих нашей душевной жизнью, на которую наше существование несколько не влияет. Впрочем, он сам мало занимается собою, как и всем тем, что кажется несомненным. Он живет в области мимолетных интуиций, и его философия крайне волнистая. Мистицизм его, пользуясь выражением, которое он любит и охотно употребляет, говоря о науке, всего правильнее назвать «магическим идеализмом». Новалису кажется, что ничто так не близко нашему духу, как бесконечное, и вот почему он почти никогда не проникает в общедоступные области человеческой мысли. Он лишь обходит границы этой мысли, но обходит их почти все, без исключения.

Мистицизм большинства известных нам мистиков носит характер психологический. Другими словами, этот мистицизм примыкает к какой-то трансцендентальной психологии, с помощью которой душа пытается изучить свои навыки и страсти, подобно тому как наш разум, в обыкновенной психологии, старается исследовать привычки и страсти нашего существа, отрешенного от тайны. Душа, храня неподвижность, обращается к себе самой, менее озабоченная окружающим, ее неизвестным, чем неизвестным, заключенным в ней самой. Вернее говоря, она замечает внешнюю тайну лишь случайно, и то по поводу и при посредстве тайны внутренней. В большинстве случаев душа становится мистической лишь по поводу себя самой, между тем как у Новалиса она может стать мистической по поводу явления химического, или закона патологии, или арифметической выкладки. Она каждое мгновение меняет свое обиталище и везде обретает себя вне себя самой. Вместо того, чтобы вовлечь в себя все внешнее и кажущееся, она сливается с ним, насыщает его своим содержанием и преобразует его сущность. Она, если так можно выразиться, менее трансцендентализирует свое собственное «я», чем вселенную. Она проникает в искусство, в науку, в мораль, и это искусство, эта наука, эта мораль уже становятся не тем, чем были, и уже не принадлежат непосредственно земной жизни. Впрочем, он сам лучше кого бы то ни было определил неуловимую сущность и особенное начало своих духовных эмоций: «В нас живут, — пишет он, — известные мысли, как бы вполне отличные от всех остальных, ибо они сопровождаются в нас ощущением фатальности, и однако они зарождаются без всякой внешней причины. Как будто принимаешь участие в каком-то диалоге, и какое-то неведомое духовное существо странным образом предоставляет нам случай развивать мысли наиболее очевидные. Это, должно быть, высшее существо, так как оно вступает с нами в сношения способом, который недоступен существам, прикованным к внешнему. Существо это должно быть также однородное нам, ибо оно обращается с нами, как с существами духовными, и очень редко побуждает нас к личной деятельности. Это высшее “я” относится к человеку так же, как человек относится к природе или мудрец к ребенку. Человек старается уподобиться ему, так же, как оно старается уподобиться всему “не-я”. Этого явления нельзя установить внешним образом. Необходимо, чтобы каждый сам испытал его в себе. Это явление высшего порядка, и его может постигнуть только человек необыкновенный. Однако нужно, чтобы и средний человек попытался воспроизвести его в себе. Философия — не что иное, как автология высшей сущности, ее самопроявление: акт возбуждения реального “я” идеальным “я”. Философия лежит в основе всех проявлений духа, и настойчивая потребность философствовать есть приглашение, обращенное к реальному “я”, для того, чтобы оно прониклось сознанием, пробудилось и стало духом».

Трудно найти более приемлемое и понятное определение, чем это встреченное нами мимоходом определение того рода мыслей, среди которых мы теперь возвращаемся и которые переступают за первые ограды души. «Философия, — и он говорит только о философии трансцендентной, — есть акт возбуждения реального “я” идеальным “я”». Что же касается сущности его

мыслей, то он лучше самого искусного комментатора определяет их, говоря, что «они сопровождаются в нас ощущением неизбежности (фатальности), и что какое-то неведомое существо странным образом предоставляет ему случай развивать самые очевидные из них». Впрочем, очевидность, о которой он говорит тут, есть та мимолетная очевидность, которую мы постигаем лишь в самые светлые часы жизни. Но то, что мы все постигаем изредка и то лишь смутно, так что оно не доходит до нашей мысли и дает о себе знать лишь чувством неведомого до сих пор удовлетворения и общим подъемом силы, — все это Новалис испытывает каждый день и даже умеет закрепить в словах часть испытанного. Если бы нужно было охарактеризовать его одним словом, то всего вернее было бы назвать его мистиком научным, хотя наукой он занимается лишь изредка, и только в той ее области, где она почти сливается с поэзией. «Есть какая-то волшебная атмосфера», — говорит он в другом месте, и он сам принадлежит к тем, кто всего реже выходил из этой волшебной атмосферы. На границах вероятного он провидит многое, чего нельзя доказать, но чего мы не можем не признать и чем не можем не восхищаться. Он касается этих мыслей лишь мимоходом, и раньше, чем вы успели очнуться от вашего изумления, он уже, улыбаясь, ожидает вас на самой уединенной вершине другого полушария. У него бывают взгляды, которые мгновенно объединяют все миры. Может быть, он тот, кто глубже всех людей проник во внутреннюю мистическую природу и в таинственное единство вселенной. Он обладает чувством единства и нежной тоскою по единству. «Он не видит ничего отрешенным от целого», он, прежде всего, объятый изумлением исследователь таинственных отношений, связующих все существующее. Он непрестанно ощупывает границы нашего мира, места, куда солнечный свет достигает лишь изредка. Повсюду он предугадывает и намечает странные совпадения и удивительные аналогии, смутные, трепетные, мимолетные и дикие, исчезающие раньше, чем мы постигли их сущность. Но он провидел многое, существования чего никто бы не подозревал, если бы он не шел так далеко. Он — часовая стрелка, указавшая несколько из самых изысканных часов человеческой души. Несомненно, что не раз он заблуждался. Но, несмотря на вихрь безумия и заблуждений, крутящийся вокруг него, ему удалось дольше, чем кому бы то ни было, удержаться на опасных вершинах, где все грозит крушением. В нем как бы воплотилось шаткое сознание единства, самое, несмотря на свою неопределенность, полное, какое мы до сих пор встречали. Мало было на земле людей, в ком наша вселенная сделалась более духовно и божественно человеческой, чем в нем. Он сам похож на светлого учителя в Саисе. «Он в одно и то же время слышит, видит, ощущает, мыслит. Порою звезды кажутся ему людьми, порою люди кажутся ему звездами, камни — животными, облака — растениями. Он играет силами и явлениями».

III

Фридрих фон-Гарденберг, писавший под псевдонимом Новалиса, родился 2 мая 1772 года, в старом родовом имении Видештеде, в прежнем графстве

Мансфельде, в Саксонии. Отец его, бывший в молодости военным, честный солидный немец, — ничего, впрочем, не понимавший в гении своего сына, — занимал должность директора саксонского соляного завода, — должность по тому времени значительную, обеспечивавшую всей его семье широкий достаток. Мать его, о которой, по обыкновению, биографы мало говорят, хотя душа ребенка всегда определяется под влиянием материнским, была, вероятно, одна из тех кротких, благочестивых и покорных женщин, которые, не сумев за всю свою жизнь понять положение в мире человека, довольствуются тем, что могут молчать. Они скрывают все, что знают, и все, о чем догадываются, под жалкой смиренной улыбкой. Возможно, что Новалис думал о ней, изображая простодушную и нежную мать, сопровождающую его героя, Генриха Офтердингена, в его идеальном странствии. Свое болезненное детство Новалис провел в обществе матери и трех сестер в этом небольшом уединенном замке. Там, в несколько сумрачных и заставленных мебелью покоях старинного немецкого жилища, протекала его скромная молчаливая жизнь, и его внутреннее существо смогло рано себя обрести и разузнать. Впоследствии он прошел курс наук в университетах Иенском, лейпцигском и виртембергском. И вот наступил момента, когда мы видим его оставившим за собою те темные годы молодости. Душа его, неведомо как, созрела для будущей деятельности, и он вступил в полосу света, которую его творчество бросило на его жизнь, сплетенную, как и всякая жизнь, из происшествий незначительных и мелких.

Наступил 1794 год. Прошло тринадцать лет после того, как Кант выпустил в свет свою «Критику чистого разума». Но из них лишь в последние четыре или пять лет книга эта стала распространяться в Германии, положив начало, среди взрывов восторга и гнева, деспотической власти кёнигсбергского мыслителя. И в то же время, когда Кант анализировал, Фихте воссоздавал мир в своей «Доктрине наук», а Шеллинг, в своей маленькой квартире в Лейпциге, начинал, в присутствии немногих учеников, к числу которых принадлежал и Новалис, излагать свое учение об абсолютном тождестве субъекта и объекта.

Здесь не место по поводу философии, носящей скорее характер литературный, останавливаться подробно на великих распрях, ознаменовавших золотой век немецкой метафизики. Достаточно указать, что вся молодость Новалиса прошла в самом средоточии этого обширного пожара человеческой мысли. Но он никогда не замыкался в тесных тюрьмах систематической философии. Он предпочитал воображать себе мир согласно свободным порывам своей души, а не подчинять его неизменным и произвольным требованиям одной основной идеи. Он обладал гением, а Кант верно заявил, что гению нет места в науке. Нет сомнения, что из трех великих философов, властвовавших то время над человеческим разумом, наиболее глубокий след в мысли Новалиса оставил Фихте, — мыслитель наиболее страстный. В своих сочинениях Новалис часто упоминает о нем. Впрочем, невозможно с точностью определить, какое влияние они имели на его душу, ибо истинная внутренняя жизнь зависит от мелких обстоятельств, остающихся неизвестными. Гете в своей духовной биографии умалчивает о крупных событиях своей жизни и посвящает много страниц скромным играм своего детства. Душа никогда не

слушает, но порою слышит. Когда мы поднимаемся к источникам нашего нового истинного существа, мы часто находим слово пьяницы, уличной женщины или сумасшедшего как раз там, где мудрейшие из наших наставников тщетно говорили в течение многих лет.

Впрочем, философы не долго остаются его духовными братьями. «Философия, — пишет он где-то, — покоится теперь в моей библиотеке. Я счастлив, что прошел через этот лабиринта чистого разума и снова душой и телом обретаюсь в освежающих областях чувств... Можно высоко ставить философию, не делая ее однако хозяйкой своего дома и не живя ею одною. Одна математика не создает война или механика, и одна философия не образует человека».

То был одновременно с расцветом философии и великий век немецкой литературы. Гете, — этот художник, трудно поддающийся определению, этот человек с тысячью способностями, этот Аргус, величаво улыбавшийся всем внутренним истинам, — только что обнаружил «Фауста» и готовился выпустить в света «Вильгельма Мейстера». А «Вильгельм Мейстер», — эта книга наиболее смущающая и неисчерпаемая, — до смерти преследовал Новалиса. Он не любил «Вильгельма Мейстера», но постоянно к нему возвращался. Он был им околдован и не мог от него оторваться. В дневнике, который он вел в последние годы жизни, важнейшим событием каждого утра и вечера во все дни оставалось его нетерпеливое, таившее недовольство собою обожание «Мейстера». Он в одно и то же время любил и ненавидел его, как любят и ненавидят женщину, с которой нас связывает таинственная губительная сила. Это была книга всей его жизни, и можно сказать, что она тяготела над всем его существованием. Напрасно он вел борьбу с ангелом «романтической иронии», напрасно с ним спорил и гнал его. Минуту спустя он кидался в его объятия, с глазами, закрытыми от обожания. Ему тем не менее были известны все недостатки этого требника обыденной жизни. «Он насквозь пропитан новым духом и прозаичен, — говорит он. — Романтик гибнет в Мейестере, равно как поэзия природы и все чудесное. Он говорит только о вещах самых простых. Артистический атеизм, — вот каков дух этой книги». Но «пламенный и святой Новалис», как его называет Эмерсон, не мог, среди величайших скорбей своей жизни, забыть на мгновение этого «Кандида, направленного против поэзии», который до конца жизни властвовал над его душою не меньше, чем воспоминание о его умершей невесте.

Гете был центром, вокруг которого расцвела вся Германия. Всем известна история романтической школы. Чтобы представить себе среду, в которой протекала жизнь Новалиса, достаточно знать, что в ранней молодости, почти еще ребенком, он часто находился в обществе великого и нежного Шиллера и никогда потом не мог забыть экстаза, в который его погружали эти счастливые часы. Он был другом братьев Шлегелей, которые своими переводами открыли Германии Шекспира. Он также был другом многостороннего Жан-Поля, столь мало известного во Франции, Жан-Поля, этого романтического и мистического Рабле немцев, самого мощного, беспорядочного и неистощимого, самого хаотического и нежного из всех литературных чудовищ. В последние дни

жизни Новалиса с ним сблизился Людвиг Тик, добрый и верный Тик, автор наивных и светлых легенд. Вместе с Шлегелем он бережно собрал рукописи юноши, похищенного нетерпеливою смертью.

Но пока смерть еще стояла на повороте дороги. Новалис прослушал курс юридических наук. Он также занимался химией и математикой. Он только что вернулся из Виттенберга и поселился в Теннштедте. С этих пор те немногие годы, которые остались ему для завершения его труда, протекали между Теннштедтом, Вейсенфельсом и Грюнингеном в Тюрингии. Судьба, знающая, что надо делать, и извлекающая из некоторых интересующих ее людей все, что возможно извлечь, приковала его к этим погруженными в сон, интимным патриархальным городкам центральной Германии. Окрестности там далеко видны кругом. Повсюду растут высокие деревья, больше всего сосны. Виднеются горы Эрцберга, содержащие руду. Недалеко до Гарца и большого Тюрингского Леса. На берегах Заалы растут виноградники. Работа кипит на солеварнях и в медных рудниках. Старые низкие харчевни уютятся в тени лип, вдоль больших дорог. На скалах высятся башни в развалинах. По пейзажу, сумрачно-зеленому, хранящему отпечаток чего-то уютного, разбросаны склонившиеся набок домики, покрытые мхом хижины и почерневшие замки легендарной Германии. Крестьяне возвращаются с жатвы, распевая на нагруженных возах. Пешеходы, идя из лесу, переправляются через мост, перекинутый над речкой, или в полдень и под вечер возвращаются в деревню. И жизнь, как, впрочем, везде под звездами и солнцем, протекает в ожидании чего-то грядущего.

В 1796 году поэт, обогащенный огромными знаниями, собирается начать настоящую жизнь, когда, по иронии судьбы, дни его уже сосчитаны. Он становится чиновником саксонских солеварен. Но за несколько месяцев перед тем произошло великое событие его чистой и простой жизни, произошло бесшумно и бесцветно, как все события, проникающие в душу.

Это совершилось во время небольшого путешествия по Тюрингии, в котором его сопровождал его честный Юст, которому вскоре суждено было сделаться его неожиданным, несколько туманным биографом. Но предоставляю слово Людвигу Тику, на рассказе которого еще дрожит роса этой первой любви. «Он недавно прибыл в Теннштедт, когда в деревенской помещицкой семье по соседству познакомился с Софией фон-Кюн. Первый взгляд, брошенный им на это прекрасное и удивительное создание, решил участь его жизни. Можно даже сказать, что чувство, охватившее и вдохновившее его, было субстанцией и сущностью всей его жизни. Часто взор и лицо ребенка бывают проникнуты выражением, которое мы должны назвать сверхчеловеческим и небесным, ибо они прекрасны красотой слишком ангельской и слишком эфирной. Обыкновенно при виде таких просветленных и почти прозрачных лиц нас охватывает опасение, не слишком ли они хрупки, не слишком ли нежно созданы для этой жизни. Мы не знаем, глядит ли на нас так глубоко из этих глаз смерть или бессмертие, и слишком часто быстрая развязка превращает в действительность наше грустное предчувствие. Лица таких детей производят на нас еще большее впечатление, когда первый период их жизни

благополучно миновал и они являются перед нами на цветущем пороге зрелости. Все знавшие удивительную невесту нашего друга сходятся в том, что никакое описание не в силах дать понятия о грации и небесной гармонии, окружавших это прекрасное существо, о красоте, сверкавшей в ней, о кротости и величавости, запечатленных в ее чертах. Новалис становился поэтом каждый раз, когда начинал говорить о ней. Ей едва минуло тринадцать лет, когда он впервые ее увидел. Осень и лето 1795 года были расцветом его жизни. Все часы, какие он мог отнять у своих занятий, он проводил в Грюнингене, а к концу года он получил от родителей Софии желанное согласие».

Возможно, что старый поэт глядел на молодую невесту Новалиса сквозь призму экстаза своего влюбленного друга. Впрочем, не особенно важно, в какой сосуд человек изливает иллюзии своей любви, и я думаю, что Тик сильно преувеличивает влияние, какое эта встреча имела на жизнь и мысли Новалиса. В людях, подобных ему, мысль является центральным пышным цветком, который защищен от влияния каких бы то ни было обстоятельств. И затем вообще душа следует своим путем, подобно слепому, который бредет, не развлекаясь цветами, растущими вдоль дороги. Если она обращает внимание попутно на другую душу, то это доказывает, что другая душа шла той же дорогой, как она. Наше внутреннее существо пребывает почти непреклонным. Все произведения Новалиса, написанные как до встречи с Софией фон-Кюн, так и после ее утраты, одинаково проникнуты счастливой нежностью чистого опьянения и кроткой беспредельной любви. Любовь эта обитала в нем самом, а ее объект был дан случаем. Впрочем, мы ничего не знаем. Часто великие происшествия обязаны своим происхождением женщине, и нередко ее влияние меняет направление жизни. Но как знать, влияет ли в таких случаях женщина, как женщина, или же тут происходит вмешательство души? Случается, впрочем, что жизнь преобразуется, хотя душа оставалась неподвижной. Однако возможно, что душа женщины оказывает более быстрое влияние, чем душа мужчины, или же это влияние легче поддается наблюдению. Как бы то ни было, эта необыкновенная тринадцатилетняя девочка, как вы увидите, ничем не отличалась от всех девочек ее возраста. Она болтала, смеялась, причесывала волосы, ела незрелые плоды и еще продолжала играть оставшимися у нее куклами. В последних тетрадях Новалиса нашли страницу наивных заметок, в которых он восторгается ее малейшими движениями и маленькими детскими мыслями, не подозревая, что с начала мира все девочки делали те же движения и выражали те же самые мысли. Он набожно отмечает, что она «любит суп из овощей, жаркое и зеленые бобы, равно как пиво и вино». «Она боится мышей и пауков. Она боится привидений. Она опасается брака. Она страстно любит все благопристойное; ее иногда наказывают. Она вспыльчива и чувствительна. Любовь Новалиса часто ее раздражает. Она холодна. Она хорошая хозяйка. Однажды она без чужой помощи хотела задержать вора. Она любит слушать рассказы. Она необыкновенно скрытна». «Женщины многостороннее, чем мы, — прибавляет он, — и более горды. Они вернее все распознают, чем мы. Их природа кажется нашим искусством, а наша природа — их искусством. Они индивидуализируют, а мы обобщаем».

И вот перед нами та, кого он любил. Мы на мгновение смотрим его глазами на эту девочку, похожую на всех девочек в достаточных домах и в приемных всех институтов. Ее он любил, ею восхищался, и она умерла. Он, может быть, был прав, и в этом нет ничего удивительного. Без сомнения, он знал, не умея самому себе высказать, то, что в ней таилось. Он боготворил все ее малейшие движения, зная, что существо более глубокое спокойно дремало в глубине ее глаз, улыбающихся банальной улыбкой. Трудно определить, что содержат в себе эти встречи влюбленных. И наконец, нельзя судить о женщине только по тому, что сохранилось от ее мыслей или поступков, или по тому, что другие о ней говорили. Необходимо видеть ее и быть в ее близости для того, чтобы знать, что она такое и каково неведомое существо, живущее в ней. Ибо каждая женщина, гораздо больше чем мужчина, ставит вопрос о душе.

Он был счастлив в течение одной весны и одного лета. Но несчастье, улыбаясь, ожидало его на пороге отходящего года. Маленькая София внезапно тяжело заболела. У нее в печени образовался нарыв, и бедное девственное тело очутилось под ножом хирурга. Весь следующий год Новалис проводит в путешествиях между родительским домом, где умирал один из его братьев, и усадьбой в Грюнингене, где угасала его молодая невеста. Наконец, 19 марта 1797 года София фон-Кюн прощается со сновидением жизни. Ей минуло пятнадцать лет. Три недели спустя умирает брат Новалиса.

Не следует долго говорить о печали. То, что в ней есть внешнего, меняется сообразно с переживаемыми нами днями. А все, что в ней таится внутреннего, не может быть ни взвешено ни высказано. Печаль Новалиса, вначале бурная, вскоре превратилась в странное глубокое и грустное спокойствие, и из глубины его страданий повеяло важным, суровым, устойчивым холодом истинной жизни. Он похож был на пьяного, который в зимний вечер, при мерцании звезд, просыпается на вершине башни. Начиная с этого дня, его улыбка становится глубокой, и его мертвая невеста оживает в нем для жизни чистой и торжественной. Нет ничего столь благородно грустного, как подобное преобразование печали на дне души, хотя это одно из явлений наименее редких. Но большинство душ подвержено молчанию, и мы обыкновенно окружены сонмом безмолвных и одиноких воплощений красоты.

Он продолжал жить рядом со своей незримой возлюбленной. Приведу страницу из его интимного дневника, взятую наугад, ибо все они похожи одна на другую: жизнь его, как это часто замечается с приближением смерти, становится однообразной и ясной.

«5 мая. — Сорок восемь дней после смерти Софии. Думал о ней, по обыкновению, с самого утра. Потом размышления о критике. Затем Мейстер. После завтрака оживленный политический спор. Прогулка. По дороге счастливое и глубокое размышление по поводу замечания Гете о том, как редко мы знаем и выбираем средства, наиболее подходящие к цели, и как редко мы избираем верный путь. Кажется, я становлюсь более глубоким и совершенным. Под вечер я имел перед глазами ее живой образ: в профиль, обращенный ко мне, на диване, в зеленой шали. Я вспоминаю о ней особенно охотно в характерных для нее позах и одеждах. Весь вечер глубоко размышлял о ней.

Бог до сих пор руководит мною с благостью, Он и впредь будет поступать так же».

В таком роде дневник ведется в течение трех месяцев, отмечая с точностью одни и те же воспоминания и мелкие факты: прогулки, работу, трапезы, семейные празднества, посещения могилы Софии, музыку в тени лип и вечера при свете лампы. «Мир становится все более и более чуждым мне и все происходящее все более безразличным», — замечает он. А на следующий же день он, как ребенок, радуется солнечному свету, ибо жизнь вопреки всему сильнее воспоминания. Между рассказом о незначительных фактах он анализирует себя и делает выводы: «Я заметил, — пишет он, — что моя судьба на земле ничего не достигает до конца. Со всем я должен прощаться в расцвете, и лишь в самом конце я научусь познавать лучшее в том, что я хорошо знаю... Я только теперь научаюсь познавать себя самого и наслаждаться собою. И вот почему я должен вскоре умереть».

Он часто говорит о каком-то твердо принятом решении. Он спрашивает себя, какую пустоту его смерть образовала бы в его семье, и решает, что ничья жизнь не необходима. Когда он находится среди друзей, речь часто заходит о самоубийстве. Являлась ли у него мысль посягнуть на свою жизнь? Определенно он этого не говорит. Ежедневные записи продолжаются до десятого дня после смерти Софии. Потом, вдруг на повороте страницы загорается имя другой женщины.

В 1798 году Новалис отправился в Фрейберг с целью изучать минералогию под руководством знаменитого Вернера. Там он знакомится с молодой девушкой, Юлией Шарпантье, и недолго спустя происходит новое обручение.

В этом месте все биографы приходят в ярость. Добрый Тик бормочет слова оправдания, старый Юст пробегает мимо, не смея оглядываться. Сам Карлейль, хотя привычный к неожиданным поступкам истинных героев, чувствует себя неловко и проводит различие между постоянством активным и постоянством пассивным, которое, говорит он, является добродетелью низшего порядка, скорее случайностью, чем добродетелью, и, во всяком случае, чем-то крайне редким в этом мире. «Его София, — прибавляет он, — могла быть для него святыней, грустной и незримо нежной святыней, обожаемой в тайном храме души. Но такое обожание не составляет единственной цели человека, и мы не должны порицать Новалиса за то, что он осушил свои слезы и еще раз взглянул с надеждой на эту землю, которая всегда остается тем, чем до сих пор была: странной смесью света и тайны, радости и горя. Жизнь принадлежит живым, и тот, кто пользуется жизнью, должен быть готов к превратностям судьбы». Не думаю, чтобы существовала надобность в стольких объяснениях; я бы меньше любил Новалиса, если бы он не любил дважды. Необходимо жить с наивностью, и умершие имеют над нами иные права.

Теперь, казалось, наступали в его жизни счастливые дни, более прекрасные и верные, чем прежде. Он занял видную должность в Тюрингии, жизнь его расширилась; его вторая невеста с улыбкой ожидала его в радостном предбрачном нетерпении. Никогда он так близко не чувствовал подле себя теплое и мощное присутствие счастья. Этого ощущения жизненной полноты,

силы, надежды и радости надо опасаться, как смерти. Это в нас говорит инстинктивная последняя реакция жизни, которая все знает, против смерти, которая приближается и завтра высадится на берег. Когда мы слишком живо чувствуем наше счастье, это значит, что оно мимоходом ударяет нас по плечу, в знак прощания. Внезапно, летом 1800 года, в то время, когда его счастье близко было к осуществлению, неожиданная смерть одного из его братьев так глубоко поражает его, что причиняет разрыв сосуда в груди. С ним делается сильное кровохаркание. Его перевозят в Дрезден, потом в Вейсенфельс, где он еще несколько времени влачит существование, посреди великих надежд и великих планов, свойственных всем страдающим чахоткой, и умирает 25 марта 1801 года. Ему не было полных двадцати девяти лет от роду.

IV.

В заключение мне остается бегло обозреть другие произведения Новалиса, которые в первоначальном издании следуют за переведенными здесь отрывками. «Генрих фон-Офтердинген», находящийся во главе издания Тика и Шлегеля, был написан в Тюрингии, среди уединения «золотистых лугов», у подножия Кифгейзерских гор. Это было в 1800 году, когда Новалис, уже на волос от смерти, обручился во второй раз и, полный надежд, планов и бодрости, улыбался жизни с радостью и доверием, доньше неиспытанными. Генрих фон-Офтердинген должен был представлять по его замыслу положительный оттиск того образа, отрицательный, теневой оттиск которого дал тяготевший над всею его молодостью Вильгельм Мейстер. Он хотел создать нечто вроде «апофеоза поэзии». Не стану распространяться об этом романе, так как в скором времени должен появиться полный его перевод.

Произведение это, которое он не мог завершить, является самым значительным и крупным трудом нашего автора; но читатель не найдет в нем изумительной, счастливой смелости «Отрывков». В «Офтердингене» художник борется с мыслителем, и их силы временами взаимно истощаются в этой борьбе. Это произведение одноцветное, ясное, холодное, прекрасное и благородное. Но чистая сущность гения Новалиса проявлена в нем меньше, чем в других произведениях. С начала до конца в нем царит та изумительная кристальная ясность, которая вообще свойственна Новалису; она особенно ярко сказалась в этой книге, как бы написанной ангелом, сошедшим из рая снегов и льдов.

Следуют затем «Гимны ночи». Это краткая серия поэм в прозе и стихах, написанных вскоре после смерти его невесты. Новалис считал эти поэмы наиболее совершенной частью своего творчества. «Они странны, — говорит Карлейль, — туманны и почти загадочны. Однако при более глубоком рассмотрении они не лишены истинного поэтического значения. В них чувствуется простор, бесконечность мысли. В них царит торжественное спокойствие, одиночество почти потухшей планеты. Временами среди глубокой пустоты мелькнет луч света, и мы бросаем ясный, изумленный взгляд на тайны этой загадочной души»... Вот одна из этих поэм:

«Неужели утро будет вечно возвращаться?.. И усилие земли никогда не прекратится?.. Злая деятельность пожирает небесное дыхание ночи. Неужели тайная жертва любви никогда в вечности не будет больше гореть? Время измерялось светом. Но царство ночи не знает ни времени, ни пространства. Сон длится вечно. О, священный сон! Не слишком редко приноси счастье тем, кто в этих земных трудах отдан во власть ночи. Только безумцы пренебрегают тобой и знают лишь тот сон, ту тень, которую ты в своем милосердии проливаешь на нас в этих сумерках, предшествующих истинной ночи. Они не чувствуют тебя в золотой влаге виноградных гроздей, в дивном масле миндалей и в буром соке мака. Они не знают, что это ты окутываешь нежную грудь девы и превращаешь ее лоно в рай. Они не подозревают, что ты приближаешься из глубины легенд, приоткрывая небеса и неся ключ от обители блаженных. О, молчаливый вестник бесконечных тайн!»

Новалис написал также серию духовных гимнов, предназначенных для пения в церкви, и несколько стихотворений, о которых я упоминаю здесь лишь для полноты. Духовные гимны его отличаются ясной и нежной гармонией, чистотой и странной прозрачностью, характеризующими гений поэта; но в них не следует искать того, что он сама, называл «зерном своей души».

Затем в издании Тика следуют «Ученики в Саисе», удивительный физический, или, вернее, метафизический роман, перевод которого читатель найдет дальше. Мало в литературе произведений более таинственных, ясных и прекрасных. В нем автор как будто поднялся на какую-то внутреннюю, ему одному ведомую гору. И с высоты ее безмолвной вершины он увидел у своих ног природу, философские системы, гипотезы и мысли людей. Он не обобщает, он освящает. Он не судит, а безмолвно властвует. В этих великих диалогах — глубоких и торжественных, сотканных из символических намеков, которые часто выходят за пределы возможной мысли, — он запечатлел воспоминание об одном из самых светлых моментов человеческой души. Читатель должен быть предупрежден, что речь идет об одной из тех редких книг, в которых каждый находит свою награду, смотря по заслугам.

Произведение, к несчастью, не закончено. Автор с самого начала перешагнул за узкий круг обыкновенных сил и смог дольше, чем кто бы то ни было, пребывать вдали от этого круга. Но пришел вечерний час, когда он в свою очередь должен был остановиться, не высказав всего, что еще видел, ибо между тем, что можно высказать, и тем, что открываешь, лежит бездна. Среди его бумаг нашли впоследствии следующие пометки к проекту завершения его романа, прерванного страхом или смертью. Как бы то ни было — вот эти заметки:

«Преображение храма Саис». «Появление Изиды». «Смерть Наставника». «Сон в храме». «Мастерская Архея». «Прибытие греческих богов». «Посвящение в таинства». «Статуя Мемнона». «Путешествие к пирамидам». «Младенец и его Предтеча». «Миссия природы». «Новый Завет» и «Новая природа». «Новый Иерусалим». «Космогония древних». «Индусские божества».

От отрывков этого таинственного произведения, которое как бы урезано ночью с обоих концов, перейдем к другим «Отрывкам», еще более

поврежденными, ибо все созданное этим несчастным поэтом является идеальным памятником, который судьба превратила в удивительные развалины раньше, чем он был выстроен. По поводу этих «Отрывков» Новалиса называли немецким Паскалем, и это определение отчасти верно. Конечно, у него нет ясной и глубокой силы, сдержанной мощи и изумительных прыжков большого хищного зверя, характеризующих автора «Мыслей». Это Паскаль, живущий как бы в сомнамбулическом сне и редко вступающий в область достоверностей, в которых так хорошо себя чувствовал его французский собрат. Но есть у Новалиса нечто, не менее прекрасное, чем достоверность. Паскаль не знал Беме, Лафатера, Экартсгаузена, Цинзендорфа, Юнга Стилинга. Великий Беме более других держит в своей власти счастливых, которых ему удалось покорить. Новалис царит над страной гипотез и неопределенностей. А в этих областях власть человека становится шаткой. У него нет определенной цели, как у Паскаля. Он с открытыми глазами кружится среди пустыни. Но нужно сознаться, что круг, в котором он движется, бесконечен. Он хотел создать нечто вроде энциклопедии, «в которой опыты и идеи, порожденные различными науками, взаимно бы освящались, поддерживались и оправдывались», — говорит он. Вероятно, он никогда не смог бы закончить это произведение, но разбросанные его развалины прекрасны и своеобразны.

Большая часть «Отрывков» собрана Шлегелем и Тиком в томе, содержащем другие произведения поэта. В 1846 году Людвиг Тик, в сотрудничестве с Эдуардом Бюловым, обнародовал новую серию «Отрывков», еще не исчерпавшую огромного запаса заметок, оставленных автором «Учеников в Саисе». Я, в свою очередь, сделал выбор среди этого выбора. Новалис в своем произведении трактует почти все науки. Я прежде всего устранил соображения политические, не представляющие теперь больше интереса. Я устранил также все то, что вследствие успехов химии и физики могло бы показаться устарелым или ошибочными. Я точно так же поступил с некоторыми вопросами историческими и религиозными, относившимися исключительно к положению Германии в эпоху, когда жил автор. В остальном выбор казался более трудным и произвольным. Но мне необходимо было пока ограничить свой труд. Возможно, что другой том последует за этим. Тем не менее я могу утверждать, что среди этих мыслей я выбрал все те, которые проникнуты истинной, чистой сущностью гения Новалиса, как бы упорно они часто ни отказывались выдавать свою тайну. В заключение прошу извинения за неизбежные промахи. Не легко было перевести на французский язык автора очень темного, часто как бы говорящего шепотом. Наш язык толмач кропотливый и строгий, который, прежде чем согласиться выразить нечто, требует объяснений; а часто бывает опасно давать ему эти объяснения.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ «МАКБЕТА»

I

«Макбет» составляет часть той группы великих произведений, — группы, теперь непоколебимо прославленной, — которая заключает в себе «Гамлета», «Короля Лира», «Отелло», «Антония и Клеопатру» и «Бурю». Некоторые критики на первом месте ставят «Макбета». Их мнение можно не разделять. Таинственный Гамлет, безумный, бурный, полный отчаяния король Лир освещают в мире мыслей и страстей человеческих области более глубокие, более благородные и более трогательные. «Гамлет» отмечает собою одну из величайших вершин, если не в жизни интеллекта, то, по крайней мере, в жизни воображения и чувства. «Король Лир» исследует и освещает самые глубокие бездны. Но, как театральная пьеса, с точки зрения чисто-драматической, нельзя, я полагаю, отрицать, что «Макбет» превосходит обе эти трагедии. Можно даже утверждать, что в мире трагедий эта пьеса занимает единственную страшную вершину, которую провидел один только Эсхил. Она пребывает до сих пор на этой вершине, одинокая и дикая, блистательно-мрачная, столь же отягощенная опытом и страданиями, как в тот день, когда, три столетия тому назад, ее возвела туда трепетная рука поэта, только что окончившего свое творение.

Следует ли отсюда, что «Макбет» представляет собою то, что ныне называется «хорошо построенной пьесой»? Ни в коем случае. С точки зрения французской техники эта трагедия лишь издали похожа на театральную пьесу. Она еще витает на границе легенды и истории, в области уже близкой нам, но еще туманной, где, к счастью для нас, она не могла принять неблагодарного и доэстетического характера исторической драмы в собственном смысле слова. Любопытно мимоходом заметить, что даже самому Шекспиру не удалось вдохнуть жизнь в историческую драму. Эта часть его творчества, включая даже римские драмы, значительно ниже его великих шедевров. Печать несовершенства лежит даже на «Антонии и Клеопатре» — очаровательном произведении зрелого гения, несмотря на то, что образ Клеопатры еще причастен миру легенды или басни. Можно подумать, что для того, чтобы художественный образ мог жить полной жизнью на сцене, или, вернее, в душе создавшего его поэта, необходимо, чтобы он раньше нигде еще не жил, чтобы он не истратил своих сил в предыдущем существовании, слишком реальном и определенном.

«Макбет» являет собою ничто вроде легендарной и драматической биографии, — жанра довольно неблагодарного; в нем, а priori, интерес не может усиливаться с каждым актом, как это требуется, ибо действие тут необходимо должно следовать за жизнью героя, и человеческая жизнь редко складывается так искусно, как трагедия. В самом деле, высший пункт действия уже достигнут в предпоследней сцене третьего акта. Все, что следует за ней,

т. е. почти вся вторая половина произведения, за исключением двух несравненных, но весьма кратких эпизодов (диалога между Россом и Макдуффом и сцены сомнамбулизма), уже не достигает высоты начала трагедии. Если прибавить к этому, что, как в лучших, так и в менее удачных частях «Макбета», есть много мест опасно излишних, — считать ли их апокрифами или нет, — из дух с лишком тысяч стихов обыкновенно вынуждены бывают исключить для представления около четырехсот, т. е. почти пятую часть всего произведения, — если мы еще скажем, что оба героя мало симпатичны, что атмосфера трагедии однообразно-мрачна, что элемент вымысла в ней незначителен, так как вся интрига целиком взята из старинной хроники Голиншеда, и что только две сцены, — что еще недостоверно установлено, — именно сцены банкета и сомнамбулизма, — принадлежат одному Шекспиру, то мы исчерпаем главные, бесспорные доводы, по которым «Макбет» не может считаться шедевром.

И тем не менее это шедевр. Если обозреть все произведения, которые дожили до нас, заслужив одобрение столетий во всемирном репертуаре, — за исключением, конечно, других трагедий самого Шекспира, — кто укажет драматическое произведение, которое сравнялось бы с первыми тремя актами «Макбета»? У Корнеля и у Расина попадаются сцены более трогательные, благородные, героические, или же написанные более гармонично. У греческих трагиков можно найти сцены более чистые по стилю и грандиозные. Может быть, у современников Шекспира, — у Вебстера, Бомона, Флетчера и Джона Форда встретятся две-три сцены с положениями более резкими и захватывающими. Без сомнения, у Гете и у новейших писателей можно найти сцены, веденные более искусно, в которых мысли, оставаясь чистыми мыслями, более обширны и возвышенны. Но нигде нельзя найти три акта, в которых трагическая сущность была бы настолько сгущена, столь мрачно пышна, столь естественно глубока, где, оставаясь по-видимому простой и обыденной, она достигла бы столь высокого, поэтического совершенства, такого огня, такой точности. Нигде нельзя созерцать группы людей, окруженной свойственной ей атмосферой, которая вернее отражала бы в словах, при чтении и на сцене, свою мрачную, тайную жизнь. Вот в чем заключается великая загадка и чудо «Макбета».

В трагедии этой рассказывается исключительно история двух коронованных убийц, с начала весьма отталкивающих, морально ничтожных и умственно посредственных. Преступление их вульгарно, глупо, и ни один благовидный мотив не маскирует его ужаса. С первого взгляда казалось бы, что могло быть лишь одно средство поддерживать драматический интерес: именно, по примеру большинства античных трагедий и вообще всего трагического театра, сосредоточить наше внимание на жертвах преступления. Но они являются лишь на мгновение. Они проходят, спотыкаются и падают под ножом убийц. Жизнь их слишком случайна, слова их слишком редки для того, чтобы они могли создать атмосферу пьесы или повлиять на нее. Тут нет никакого недоразумения. Поэт явно желает сосредоточить все наше внимание и все наши симпатии на убийцах. Для этого он должен победить две необычайные

трудности: во-первых, заставить нас интересоваться героями антипатичными и посредственными и, во-вторых, поднять произведение над уровнем моральной и умственной посредственности своих героев и сделать это исключительно при посредстве тех самых лиц, которые своей посредственностью принижают это произведение. В самом деле, после шедевров Шекспира, который первый сделал ненарушимым закон, до него допускавший большие послабления, поэт не может больше говорить в произведении от своего имени. Ни в каком случае, ни под каким предлогом зритель не должен слышать непосредственно его голос. Свои мысли он может выразить лишь устами своих героев, которые под угрозой потерять мгновенно дыхание, их оживляющее, должны произносить лишь слова, строго отвечающая их положению. В прежнее время это было не так. В греческих трагедиях поэт во всех случаях, когда находил это нужным для украшения своего произведения, поднимал свой голос не только при посредстве хора, но весьма часто при помощи того или другого из своих героев. Следуя их примеру, и Корнель то и дело приоткрывает дверь, отделяющую его от зрителей, и в его трагедиях непосредственно раздается его громкий голос.

Шекспир, наоборот, не позволяет себе выступать в своих шедеврах. Если он берет слово, то всегда заранее в этом извиняется, — как я заметил, это по поводу «Короля Лира», — при помощи особой уловки, к которой он постоянно прибегает. «Он систематически лишает своих героев разума и таким образом прорывает плотину, державшую в плену огромный лирический поток. С этой минуты он говорит свободно их устами, и красота наполняет сцену, не опасаясь, что ее сочтут неуместной. С этой минуты также лиризм его великих произведений становится более или менее широким и обширным, соразмерно с безумием центрального героя».

Но в «Макбете» Шекспир лишь изредка находит возможность пользоваться этой уловкой для того, чтобы поднять и очистить атмосферу драмы, возвышая свой собственный голос. В самом деле, Макбет не безумен; лишь в двух-трех местах, в самые буйные моменты своих галлюцинаций, он вдруг превышает тон обычной будничной речи. Весь же остальной диалог намеренно выдержан в диапазоне будничного разговора между участниками и помощниками кровавого преступления. Но едва ли нужно объяснять, что эта будничность тона является просто результатом удивительной иллюзии. Чтобы убедиться в этом, достаточно перенести драму в условия строгой современной реальности, в духе натуралистов, — что может быть сделано воображением самым ленивым. Тогда сразу обнаружится, что лишь весьма немногие стихи драмы останутся правдоподобными и приемлемыми. В то же время легко будет убедиться, что с начала до конца пьесы мы слышали только голос самого Шекспира, не отдавая себе в этом отчета, — так искусно он сумел скрыть свое присутствие. Присматриваясь ближе к его труду, мы поймем, что в искусстве драматического поэта самое существенное заключается в том, чтобы, не показывая вида, говорить устами своих героев, располагая стихи таким образом, чтобы их голоса, по-видимому, звучали на уровне обыденной жизни в то время, когда, в самом деле, они доносятся с большой высоты.

Более того. Если бы Шекспир не говорил с нами через своих героев, то

последним почти не о чем было бы разговаривать между собою. Они ни в каком отношении не превышают уровня обыкновенных людей. Они не могли бы быть иными; в противном случае, они не совершили бы своих непонятных преступлений, и мы не имели бы трагедии. Следует сознаться, что жизнь, на которую обыкновенно ссылаются, когда желают в чем-либо уличить поэта, пресловутая реальная жизнь, я хочу сказать, внешняя жизнь, какую мы ее видим и слышим вокруг себя, что эта жизнь вообще являет нам происшествия довольно жалкого свойства. Вот почему Шекспир, незаметно для нас, постоянно переходит от этой внешней жизни к другой, скрытой в глубине сердец и в тайниках сознания, а также во всем, что есть неведомого в этом мире. Он говорит во имя той жизни, которая безгласна для нашего слуха, но не для нашей души. И голос его до того правдив и необходим, что мы не замечаем момента, когда прекращается непосредственная жизнь преступников мгновения и начинается та вечная жизнь, которую в них вдохнул поэт. Он одаряет обоих убийц всем, что есть самого возвышенного и великого в нем самом. И он не заблуждается, населяя их молчание такими чудесами. Он убежден, что в молчании, или, вернее, в молчаливых мыслях и чувствах последнего из людей скрыто больше тайн, чем это могли бы выразить поэты, даже одаренные гением.

Чудо заключается в том, что все это совершается на наших глазах и без нашего ведома. Ни Макбет, ни его жена ни разу не высказывают ни одной возвышенной или просто выдающейся мысли, не выражают ни одного благородного или просто симпатичного чувства; и сам поэт, с своей стороны, не позволяет себе ни одного психологического объяснения или нравственного размышления. И тем не менее драма вся окутана и проникнута мрачной и величавой красотой, таинственным и как будто с незапамятных времен унаследованным благородством, величием не героическим или сверхчеловеческим, но как бы более древним и глубоким, чем то, которое нам известно. Эта красота и величие исходят неведомо откуда, и было бы невозможно определить сцену или стих, в которых они сосредоточены. Они, можно сказать, поднимаются среди слов, как жертвенный дым, исходящий из самых источников жизни, где все души и все сердца людей, невинных или виновных, равны между собой и одинаково бесконечны. Макбет и его соучастница обитают в области столь обширной, что добро и зло, созерцаемые с великой высоты, кажутся почти безразличными и имеют меньше значения, чем самый факт их бытия. И вот почему они оба — виновники одного из самых отвратительных преступлений — сами не внушают нам отвращения. Мы забываем об их преступлении, которое кажется нам чем-то вроде случайности или предлога. Мы созерцаем только ту жизнь, которую это преступление, подобно камню, брошенному в бездну, поднимает из глубин, недостижимых для поступка более обыкновенного.

Мы здесь находим весьма ценный урок, касающийся трагической поэзии. Обыкновенно мы склонны все более и более искать красоту произведения в возвышенности мыслей, в обширности общих идей, а также, ступенью ниже, в красноречии стиля. Мы бы хотели, чтобы наши поэты и драматически авторы

были прежде всего мыслителями и чтобы их произведения трактовали самые возвышенные социальные и нравственные проблемы: мы даже склонны находить эти произведения пустынными и холодными после того, как они дали нам то, чего мы от них требовали. По мере того, как утончается наша умственная жизнь, мы начинаем думать, что единственное литературное величие, которое поистине нас достойно и способно к долгой жизни, это величие интеллекта. Драма, подобная «Макбету», где силы разума возникают лишь на заднем плане, доказывает нам, что есть красота более захватывающая и менее тленная, там красота мысли, или, вернее, что мысль должна служить лишь фоном драмы, столь естественным, что он должен казаться необходимым, и что на этом фоне должны вырисовываться узоры гораздо более таинственные.

Вглядываясь ближе в драму о Макбете, мы открываем, что известная часть разлитой в ней необъяснимой мощи и красоты, о которой мы выше говорили, непосредственно порождена бесчисленной толпой образов, населяющих всю глубину трагедии. Большинство героев пьесы, хотя с первого взгляда мы этого не замечаем, говорят только образами. Подобно первобытному человеку, они создают все то, о чем говорят. Тут, конечно, не может быть речи о трудолюбиво построенных и искусно расположенных сравнениях. Быстрота действия исключает возможность такой досуговой работы. Речь идет единственно о постоянном и внезапном акте воскресения из мертвых всех слов, которые магической силой становятся при появлении поэта полными жизни метафорами и возникают из гробов словаря. Переводчик должен обратить на это особое внимание...

В «Макбете» весьма мало выражений устаревших. Почти все трепещут жизнью и окрашиваются в неожиданную духовность, заимствованную у всего, что окружает героев, и преимущественно у самых благородных и величавых тайн земли и неба. Герои драмы образуют сами ту атмосферу, которую они дышат, и сами в то же время становятся трагическими созданиями этой созданной ими же атмосферы. Среда, в которой они пребывают, так глубоко проникает в их речь, так сквозит в ней, до такой степени оживляет собой и насыщает все их слова, что мы видим эту среду гораздо лучше, интимнее и непосредственнее, чем если бы они стали нам изображать ее... Мы изнутри созерцаем не только их самих, но и одаренные жизнью, подобно им, дома и пейзажи, где они обитают. И мы не нуждаемся в том, чтобы нам показывали извне их самих или эту среду. Бесчисленное дыхание и непрерывное движение всех этих образов образуют глубокую жизнь, тайную и почти беспредельную сущность произведения. На поверхности его витает диалог, необходимый для действия. Он кажется единственным, который проникает в наш слух. Но в действительности наш инстинкт, наша бессознательная чувствительность, наша, если хотите, душа улавливает ту, другую речь. И если внешние слова проникают в нас глубже, чем слова всякого другого поэта, то происходит это потому, что их поддерживает более многочисленная толпа скрытых сил.

А теперь спросим себе, что в сущности представляет собою Макбет и его мрачная подружка? Действительно ли они — те именно титанические чудовища, которых прославляет, например, Поль Сен-Виктор, самый блестящий из

комментаторов французского романтизма? Следует, по-моему, энергично и раз навсегда устранить всякое подобное толкование, наиболее фальшивое из всех. Но, с другой стороны, представляют ли они собой нормальных людей, введенных в искушение случайностью, оказавшейся выше их сил, более властной, чем те, которые обычно нам угрожают? Больше ли они или меньше, чем мы все? Мудрее или ближе к древнему мраку? Действовали ли они свободно или толкаемые непреодолимой силой? Три роковых сестры жили в пустыне или в их собственных сердцах? Достойны ли они презрения или жалости? Представляет ли их душа зачатое поле, ограниченное низменными преступлениями и населенное зловредными мыслями, или же в ней остались свободные, благородные области? Следует ли считать Макбета зловещим мясником, подвластным зверскому инстинкту, со взором столь же свирепым и диким, как его кулак, упрямым, обросшим волосами варваром первобытных легенд, или же в нем можно видеть печального поэта, неуверенного мечтателя, одаренного болезненной чувствительностью, подобно Гамлету, растерянного перед необходимостью действовать, несколько быстрого на поступки, но в сущности столь же нерешительного и почти столь же мечтательного, как его брат из Эльсинора, или даже нечто вроде Марка Антония, только менее чувственного и более мрачно настроенного? А леди Макбет? Считать ли ее угловатой глупой мегерой, резкой, жестокой и тщеславной, внушающей ужас деловой женщиной, неумолимой, скрытной, сухой, хитрой, вероломной и более холодной, чем сталь ее кинжала, или же можно видеть в ее сдержанных словах слишком любящую супругу, жертву, слишком тяжело наказанную за ужасную мысль, зачатую на супружеском ложе? Следует ли удержать в памяти чудовищную улыбку, с которой она приветствовала несчастного Дункана, или невыразимую скорбь, с которой она каждую ночь бродила в Денсинене, — дымящиеся кровью кинжалы или же лампу, освещающую слабую душу, терзаемую тайными слезами до самой смерти? Лучше ли она или хуже, более достойна внимания или презрения, чем ее супруг? И какие черты придать ее лицу? Черна ли она, как тот ворон, которого она призывает в ожидании жертвы? Высока ли она и мрачна, худоцева и мускулиста, надменна и дерзка, или же хрупка, со светлыми волосами, мала ростом, с круглыми формами, сладострастна, нежна? Трактует ли пьеса психологию убийства или же трагедию угрызения совести и отринутого правосудия? Говорится ли в ней о судьбе или же об отравлении души собственными мыслями? Мы не знаем. Можно спорить до бесконечности, защищая то или другое толкование. И весьма возможно, что сам Шекспир не мог бы точно определить эти два существа, созданные его чудодейственной рукой. Их так же трудно обнять взором в писаной трагедии, как это было бы трудно, если бы они жили среди нас. Они со всех сторон выступают за пределы поэмы, которая желает их замкнуть в себе. Думаешь, что знаешь их; но они всегда поражают своей неожиданностью. Чувствуешь, что они способны меняться самым необычайным образом. Макбет, жертвующий собой для Малькольма, его жена, отдающая свою жизнь, чтобы спасти сына леди Макдуфф, не противоречили бы глубокой сущности, которой их наделяет драма. Это означает не отсутствие

точности в очертаниях, а изумительную жизненность рисунка. Герои драмы действительно не перестали еще жить. Они не сказали своего последнего слова, не сделали последнего жеста. Они еще не отделились от общих корней всякого существования. Их нельзя судить, нельзя обозреть всю их жизнь, ибо целая область их существа обращена к будущему. Они не завершены, если не со стороны драмы, то со стороны бесконечности. Характеры, которые вполне постигаешь и можешь анализировать с достоверностью, уже умерли. Но Макбет и его жена, кажется, не могли бы недвижно застыть в стихах и словах, которые их создали. Они переступают за их пределы, волнуют их своим дыханием. Они в них преследуют свою судьбу, видоизменяют их форму и смысл. Они в них развиваются, растут, как в жизненной, питательной среде, подвергаясь влиянию проходящих лет и веков, черпая в них непредвиденные мысли и чувства, новое величие и новую мощь.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ ДРАМЫ ДЖОНА ФОРДА «АННАБЕЛЛА»

История литературы шекспировского века мало известна, и многие полагают, что Шекспир царил над своим временем, как великий король, одинокий и неожиданно пришедший. В действительности было не так, ибо гений редко приходит к нам по безлюдной дороге. У него всегда есть и предтечи и ученики. Можно сказать, что его душа влияет на другие души уже до своего рождения, и она не умолкает и после своей смерти. Вот почему я попытаюсь в этом кратком предисловии поместить во времени и пространстве переведенную мною драму и скажу несколько слов об огромной литературной области, ее окружающей.

Мы находимся в центре одного из самых необычайных периодов, когда в литературе царила красота, буйная и безумная, как взволнованное море. Речь идет в самом деле о море, о самом бурном океане поэзии, какой когда-либо омывал бесформенные скалы обыденной жизни. Современные писатели почти ничего не знают об этом океане, этом подлинном *Mare roëtarum* нашего духовного глобуса, этом море наиболее могущественном, обширном, неисчерпаемом, какое когда-либо волновалось на нашей планете. Один только Тэн, странствовавший повсюду, однажды отправился и к этому морю и исследовал его ближайшие берега. Он вернулся оттуда, еще более ослепленный, чем во время своих великих путешествий по странам безупречных шедевров. Это море, как я сказал, почти неизвестно нынешним писателям; а между тем, если верно, что дух живших до нас избранников созерцает нас, оно должно казаться их взору местом и моментом нашей земной жизни, наиболее ярко озаренными. К берегам этого моря следовало бы направлять неутомимых искателей, желающих узнать, где находится в человеческой душе самый обширный источник поэзии. «Сорок поэтов, — указывает нам Тэн, — и среди них люди с гением, не говоря уже о величайших из всех, кто когда-либо изображал жизнь души при помощи слова; несколько сот театральных пьес, и среди них пятьдесят шедевров». Какой век и какой народ являет нам подобные сокровища? Но море это столь мрачно и дико и обуреваемо такими ураганами, что последние обитатели его берегов едва дерзают приблизиться к этим гигантским волнам, в прозрачном лоне которых постоянно кипят как все драгоценности, так и все нечистоты мира.

Речь идет о том огромном шекспировском цикле, который, от Марлоу до Отвея, как бы венчает венцом буйных шедевров чело творца «Гамлета» и заключает в себе всех тех, кого англичане называют драматургами века Елизаветы. Они образуют легион, беспорядочный и великолепный, опьяненных жадой вина, диких страстей, жизни и красоты, как будто бы они все в одно и то же время открыли священные ключи, откуда поэзия внезапно вырвалась из недр земли. Такое время, может быть, никогда больше не вернется, и тем не

менее подобный избыток поэтического творчества должен иметь таинственное влияние на неведомую историю нашей души. Душа наша, пройдя через эту поэзию, переродилась, все равно, создала ли это или нет, ибо она участвует во всех событиях, которые происходят в области духа. Но подобные эпохи опьянения преобразили бы и очистили бы духовные сферы до срока, и вот почему они так редки в литературе.

В то время на берегах Темзы существовало около десятка театров, уже не раз описанных. У меня перед глазами лежит старый план Лондона, гравированный в 1620 г., на котором эти театры виднеются на берегу реки против церкви Св. Павла, точно огромные улы, среди зелени Bankside'a. Здесь, в обстановке, известной нам по дошедшим от шекспировских дней преданиям, царили вокруг своего молодого бога некоторые из величайших поэтов земли. На первом месте стоит Христофор Марлоу, предтеча Шекспира, автор «Доктора Фауста», «Мальтийского жидка», «Эдуарда II» и несравненной поэмы о «Геро и Леандре», — этот английский Виллон, который на тридцатом году жизни скончался в непотребном доме и, вместе с Адджерноном-Чарльзом Свинберном, может считаться гениальнейшим лирическим поэтом Англии. Тут же, среди неизреченного разгула, никем не превзойденного, заседали Вебстер и Тоурнер, черные принцы всех ужасов, авторы «Черного дьявола», «Мальфийской герцогини», «Трагедии безбожника», а также «Мстителя», — эти двое ядовитейших трагиков, непроницаемые, как каменный уголь, адски-смертоносные, из которых особенно первый пригоршнями сыпал свои удивительные цветы среди отрав и мрака. Затем следуют Бомон и Флетчер, два неразлучных имени, беспокойные, беспечные и жестокие авторы «Трагедии девы», «Филастера», «Верной пастушки» и бесчисленных других пьес, одни названия которых наполнили бы целые страницы. Один из них, Джон Флетчер, единственный придворный среди этой толпы поэтов, прошел подле трона Елизаветы школу подлинного трагизма. Отец его, духовник бедной Марии Стюарт, присутствовал при самой эффектной сцене этого театрально-пышного века, когда он в Фотринге подымался, рядом с шотландской королевой, на ступени траурного эшафота. Он присутствовал при торжественном моменте, когда в глубине залы, задрапированной черной тканью, где все, — не только зрители, но и солдаты и судьи, — носили черные покрывала для того, чтобы ничто не могло отвлекать взоры, вдруг отдернулся огромный занавес, и девственная королева Елизавета предстала лицом к лицу со своею жертвой, с золотой короной на голове, одетая с ног до головы в царственный пурпур...

Вослед за Флетчером и Бомоном идет Джонсон, толстокожий, упрямый, могучий Бен Джонсон, принадлежащий к семье литературных крупных чудовищ, в которой блистают Дидро, Жан Поль и другой Джонсон, Джонсон Босвель. Бен Джонсон был волшебный механик, создавший «Волпону», «Молчаливую женщину», «Алхимика» и множество подобных гигантских, точных и отвлеченных пьес. Затем идут все остальные члены бесчисленной, славной шайки Mermaid Tavern, в которой заседал сам Шекспир. Томас Миддлтон, неровный, краткий и глубокий, как природа, автор де-Флореса, жестокого влюбленного воина, самого, быть может, жизненного персонажа,

который когда-либо являлся на подмостках сцены. Затем добрый Деккер, автор «Honest Whore» (не решаюсь перевести заглавие, ибо прежние драматурги не боялись резких слов), поэт божественный и нежно-человечный. Несколько позже выступает неисчерпаемый Массингер, потом Марстон, Роулей, Чепман. Шерлей (я вынужден для краткости умалчивать имена многих), Гейвуд, автор шедевра, первой семейной трагедии, более грустной, чем все другие, вследствие своей обыденной простоты, озаглавленной «Женщина, убитая с кротостью»⁵. Трудно найти в жизни или в литературе момент более трагический, чем тот, когда добрый сэр Франкфорд, с ключом в руке, нерешительно стоит перед спальней, где, как он знает, жена его покоится в объятиях любовника; поэты той эпохи умели без натуги находить слова, которые, в положениях самых неярких, скликали на мгновение все силы всех трех миров вокруг жалкого, раненого на смерть сердца. Минуту спустя добрый сэр Франкфорд выходит из комнаты: он застал обоих любовников спящими на его супружеском ложе. Ему стало жаль жены, и он вспомнил о счастливых часах, когда он любил ее. Он не решается убить ее: он, плача, нежно будит ее. Она выходит на сцену, бросается на колени; дети сбегаются на крики прислуги, и добрый сэр Франкфорд, укоризненно качая головой, называет ее нежным именем, каким привык называть ее в дни счастья: «О, Нанетта! О, Нанетта!..»

Я никогда бы не кончил, если бы хотел привести все имена, ибо никогда человеческий гений не расцветал так самобытно, так пышно в мире неисчерпаемый поэзии и многообразной глубокой красоты. Кажется, будто находишься среди чудодейственной весны человеческой души. Это действительно были дни чудных обетований, когда человечество точно готовилось переродиться. Впрочем, мы не знаем, какое влияние имели на нашу жизнь эти великие проявления поэзии. Я не помню, какой мудрец сказал, что если бы не существовало на свете Платона или Сведенборга, то душа проходящего по дороге крестьянина, никогда их не читавшего, не была бы тем, чем она стала теперь. В области духа все явления теснее связаны одно с другим, чем это думают: подобно тому, как нет болезни, которая не тяготела бы над всем человечеством и не обнаруживала бы своего незримого действия даже рядом с самым здоровым организмом, так и наиболее признанный гений не рождает ни одной мысли, которая не преобразила бы чего-нибудь в душе последнего идиота в убежище для слабоумных.

Джон Форд, самую прекрасную драму которого мы предлагаем читателям, жил в самом центре великого циклона поэзии, обрушившегося над Лондоном в конце XVI столетия. Он родился в 1586 г., в Ильсингтоне, в графстве Девоншайре. Неизвестно, когда он умер; о его жизни также не осталось никаких сведений. Единственный след о нем сохранился в двустишии одного из его современников: «Deer in a dump John Ford was alone got with folded arms and melancoly hat». Вот и все. Прежние писатели не говорили сами о себе, а утренних газета еще не было. Форд оставил десяток пьес, и среди них четыре

⁵ Пьеса эта с большим успехом была разыграна в прошлом году в Париже на сцене модернистского театра du Vieax Colombier. *Прим перевод.*

шедевра: «'Tis pity she's a whore» (которую мы называем «Аннабеллой», по имени героини, так как английское заглавие непереводаемо и к тому же произвольно), «Разбитое сердце», «Жертва любви» и «Перкин Варбек».

Не стану распространяться об этих пьесах, хотя «Разбитое сердце» должно быть признано удивительной поэмой смертельной грусти; в ней впервые в литературе, в сценах безупречной красоты, раскрыта с огромной силой и нежностью великая женская душа, ибо Форд является самым убежденным феминистом в шекспировской плеяде. У него женщина играет уже не ту роль, как у большинства его современников. Это не только физически прекрасное создание, нежное или трагическое, черпающее большую часть своей жизни во внешних событиях, которые оно отражает в себе, любящее и страдающее лишь по случайным и исключительным мотивам. Форд глубже других спустился в сумерки, окутывающие внутреннюю жизнь всякого женского сердца. Он дошел до тех областей, где все души начинают быть похожими одна на другую, потому что там они мало зависят от внешних обстоятельств, и потому что, чем глубже мы спускаемся или чем выше поднимаемся (что представляет одно и то же, лишь бы мы перешли за уровень слепой посредственной жизни), тем ближе мы подходим к великим источникам человеческой души, глубоким, бесцветным, однообразным и для всех одинаковым.

Временами Форд напоминает Расина, и героини его, Аннабелла, Каланта, Пентея и Бьянка, среди крикливых и суетливых окружающих их красивых дикарок, живут внутреннею жизнью, нежной, сильной и безмолвной. Чувствуешь, не зная сам — почему, что в драме заключена живая душа, как в Беренике и Андромахе. Это таинственный и весьма редкий дар. Благодаря ему малейшее произносимое в драме слово получает значительность и жизненность, которых оно не имеет в другом произведении. Тон драмы, там, где есть этот дар, также преобразуется. Он становится более скромным, глубокий и значительным, и все романтические преувеличения, а также все громкие, неискренние крики страстей, отпадают сами собою.

Героини его живут жизнью более интимной, чем героини других драматургов, хотя трудно постигнуть причину этого. Может быть, она принадлежит к тем неуловимым мотивам, по которым Христос, например, кажется нам ближе, человечнее и прекраснее, чем Сократ, хотя Сократа также произносил удивительные слова и смерть его была так же прекрасна, как смерть Христа.

Это ясно видно на примере Аннабеллы. Аннабелла — молодая девушка, ничем не отличающаяся от других девушек ее возраста, и ничто внутреннее или внешнее не выделяет ее среди других обыкновенных женщин. Ее характер самый простой, одноцветный, всеобщий. Ее привычки и вкусы самые ординарные. В сношениях ежедневной жизни она обнаруживает душу маленькую и будничную. Она довольно плоско шутит со своей наперсницей и своими поклонниками. Но с того мгновения, как в ней заговорила страсть, все, что есть в женской душе глубокого, нежного, героического и влекущего, вдруг само собой обнаруживается в этой банальной девушке. Она становится очаровательной возлюбленной. Она чиста, нежна, в ней пышно расцветает все,

что только есть утонченного и благородного на дне женской души; и все это лишь потому, что она полюбила, и потому, что нет на языке человеческих слов для исчисления соковок, которые неиссякаемо рождаются в душе женщины, какая бы она ни была, если только она полюбила — в особенности, если ей приходится любить в тайне, в страхе и в слезах.

Возможно, что все это и еще многое, более близкое к истинной жизни, не заключено в самой драме, и трудно определить, чувствуется ли оно в стихах поэта или вне их. Но ясно сознаешь, что оно витает над ними, а это и свидетельствует о присутствии таинственного дара, о котором я выше говорил.

Присутствие это доказывается еще другими особенностями, столь же трудно поддающимися определению. Так, например, действие драмы и характеры с удивительной силой развиваются в молчании, и время, проходящее между сценами, так же плодотворно для драмы, как самые сцены. Акт кончается, но жизнь драмы продолжается, и страсть отсутствующих персонажей естественно растет в нас самих, так что неожиданные их превращения нас не удивляют. Таким образом, в «Жертве любви», когда Бьянка, жена павского герцога, резко отвергнувшая сперва любовь Фернандо, в следующей сцене входит, с распущенными волосами и в открытом платье, в спальню своего возлюбленного, чтобы отдаться ему во всем бессилии долго скрытой страсти, — мы не испытываем удивления, как можно было бы ожидать. Бьянка, хотя отсутствующая и безмолвная, жила и говорила в нас самих, и мы ее понимаем.

Форд чрезвычайно сдержан, и Аннабелла, Каланта, Бьянка, Пентея никогда не поднимают голоса. Они к тому же не многоречивы. В моменты самые трагические, отягощенные страданиями, они произносят два-три простых слова, которые кажутся тонким стеклом, сквозь которое мы, нагибаясь, можем на минуту заглянуть в бездну. Можно бы привести несколько удивительных слов нежной Пентеи, самой чистой, покорной и грустной жертвы любви, или же Бьянки, бедной жертвы своей страсти, но Каланта лучше всех резюмирует это внутреннее искусство Форда, когда она произносит, закрывая навсегда свои прекрасные глаза: «Только немые страдания обрывают вены сердца, — дайте мне умереть с улыбкой на устах»...

В заключение, передам вкратце содержание Аннабеллы, — этой поэмы беспощадной любви, в одно и то время мрачной, и наивной, и кровавой. В ней рисуется чувственная любовь во всей ее силе, красоте и почти сверхъестественном ужасе. Джованни и Аннабелла — брат и сестра. Они давно любят друг друга, не говоря о своей любви и, может быть, сами не подозревая о ней. Затем вдруг, в один из тех моментов, когда глаза, без всякой внешней причины, внезапно открываются на истину, точившую сердце в течение дней, недель и месяцев, они оба, трепеща, встречаются в одной из комнат отцовского дома. Тогда любовь их прорывается наружу, грозная, жестокая, дикая и в то же время пугливая и трепетная, уже чувствуя угрозу смерти. Слова, которыми они объясняются друг с другом, уже имеют на их устах терпкий и горький вкус крови. Они дрожат друг перед другом, охваченные каким-то священным торжественным ужасом. Оба падают на колени, слившись в поцелуе. «Люби

меня, брат мой, или убей меня», — шепчет Аннабелла. «Люби меня, сестра моя, или убей меня», — отвечает Джованни.

Они вступили в великий вихрь несчастья, и драма начинает разворачиваться. Старый священник, духовник Джованни, расточает тщетные мольбы, чтобы разлучить преступные уста любящих. И вскоре, после нежных и судорожных улыбок запретной любви, несчастье, все время таившееся под землей, вдруг возникает перед ними на исходе дня и в первый раз указывает им на пройденную ими и ведущую к смерти дорогу. Аннабелла беременна. Ее необходимо выдать замуж. Она принимает руку знатного Соранцо, одного из бледных силуэтов, промелькнувших перед ее красотой. Но, едва женившись, Соранцо узнает часть истины и в одной из самых удивительных сцен драмы пытается вырвать у оскорбляемой им Аннабеллы имя того, от кого у нее должен родиться ребенок. Аннабелла защищается изумительными словами, выбрасываемыми, как драгоценные камни в бурю, из вечных глубин человеческой души. Но то, чего Соранцо не мог вырвать из уст Анабеллы насилем, слуга его узнает хитростью. Соранцо делает вид, что прощает жену. Он изменнически приглашает Джованни на празднество, где его ждет смерть. Джованни, отправляясь на пир, на минуту заходит в спальню своей сестры. Он застает ее лежащей на постели и одетой в подвенечное платье. Аннабелла сообщает ему, что нарядилась для смерти, и что их последний час пробил. Не думаю, чтобы во всемирной литературе была сцена более прекрасная, нежная и кроткая, и в то же время более жестокая и полная отчаяния. Они прощаются друг с другом, и Джованни, целуя, тихо убивает ее. Затем, с кинжалом в руке, яростный и покрытый кровью, он устремляется в залу пиршества. Драма завершается одной из быстрых и бурных сцен убийства, столь излюбленных старинными английскими драматургами.

Такова эта удивительная трагедия, столь простая и столь человеческая.

ПРЕДИСЛОВИЕ МЕТЕРЛИНКА К КРИТИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ КАМИЛЛА МОКЛЕРА О ПОЭЗИИ ЖЮЛЯ ЛАФОРГА⁶

Следовало бы, чтобы стоящий на страже у храма славы обращался к каждому приближающемуся поэту с несколькими простыми вопросами:

«Один ли ты из тех, которые создают или которые повторяют названия? Какие новые предметы видел ты в свете их красоты и истины, или же в свете какой новой красоты и новой истины видишь ты предметы, раньше тебя виденные другими?» — Если поэт не может немедленно ответить на эти вопросы, если он смущенно медлит, пройдите мимо него, не обернувшись. Он явился не из тех мест, где находится источник. Но если, скромно понизив голос, он вспомнит, что, кажется, видел, в их красоте и истине, цветок, слезу, призрак или улыбку, остановитесь, приблизьтесь к нему, выслушайте его. Нет сомнения, что он послан навстречу вам каким-то богом, который хочет, чтобы его славословили по-новому.

И вот мы теперь стоим перед неизвестным поэтом. Я называю его неизвестным, потому что он еще не стал классиком. Что ответим мы от его имени всем тем, кто спросит нас, какие предметы видел он в свете красоты и истины, до него неведомых? Он многое в жизни видел не так, как другие, а видеть вещи по-новому значит видеть их лучше, чем другие. И затем, увидев новое, он сумел открыть и нам пейзажи, образы и чувства, отличные от тех, которые были нам привычны. Но всего яснее он, по моему мнению, увидел в свете неожиданной красоты и истины детски-божественную улыбку, скрывающуюся на дне всех наших поступков, то, что может быть названо «улыбкою души». Эта улыбка неизреченно прелестна и глубока, и я не знаю в литературе произведений, который могли бы дать нам понятие о ней. Вдали виднеются тени Генриха Гейне, Стерна, великого Жан-Поля. Но у Стерна и Гейне душа не улыбается; она скорее плачет, а разум мимоходом смеется над ней. Улыбка же гиганта Жан-Поля испаряется такими вихрями!.. Чтобы дать понятие о «литературном облике» бедного поэта, умершего в 27 лет, следовало бы подняться до смеха в трагедии «Андромаха». Вы помните знаменитую «улыбку сквозь слезы» в объятиях детских ручек Астианакса? Эта улыбка все время витает над страницами неоконченного труда Лафорга. Она всегда живет в них и кажется столь естественной и необходимой, что удивляешься, почему никто не открыл ее до него. По мере того, как читаешь его, убеждаешься, что душа в нас никогда не перестает улыбаться. И в первый раз понимаешь, что ей не надо быть торжественной для того, чтобы приблизиться к богу, и что она

⁶ Лафорг — французский поэт-символист, род. в 1860 г., умер от чахотки на 27 году жизни в 1887 г. Полное собрание его сочинений издано Л. Ванье в 1894 г.

скорее похожа на дитя, не желающее умереть, чем на старика, не умеющего более забавляться игрою.

В то время, когда Гамлет в «Moralités Legendaires» Лафорга, — в известные моменты более подлинный Гамлет, чем Гамлет самого Шекспира, — мечтает о смерти на кладбище Эльсинора, второй гробокопатель кричит ему: «Эй, вы! Смотрите! Вот въезжает колесница с гробом Офелии!» — «И первым движением мечтателя было желание выкинуть коленце, подражая клоуну, которого внезапно хлопнули по спине; он с трудом удерживается от этого движения». Таково положение поэта в жизни, беспрестанно пробуждаемого от своих мечтаний ударом судьбы в спину. И разве это движение Гамлета не составляет самого тайного ядра нашего существа, которое не хочет верить, что все происходящее происходит «взаправду»? Я нарочно выбрал этот пример, который может показаться несколько грубым; но разве он не подчеркивает чертою уверенною, забавною и глубокою ту необъяснимую рассеянность души, которая согласна играть в жизнь где угодно, хотя сердце разрывается от боли, — быть может, потому, что душа в своих глубинах знает, что величайшие несчастья, поражающие нас, происходят только «по-видимому».

Кажется, что до Лафорга никто не дерзал плясать и петь на пути истины. Весь Лафорг сказывается в подобных чертах. В «Лоэнгрине» сын Парсифаля, первосвященник, друг Селены, поднимается с места и, обращаясь к девам, стоящим «в полярном молчании», произносит: «Сестры мои, как идут эти вечера к вашей красоте!»

И вот я утверждаю, что в том месте, где она написана, эта маленькая фраза, взятая из предместий жизни, более отвечает самой величавой улыбке нашей души, чем наиболее красноречивая страница о красоте вечера. Несколькими строчками выше Лафорг восклицает перед лицом моря «с торжественным лоном»: «О, как все это далеко от моей деревни!» А несколько дальше (ибо я взял страницу наугад, и все приведенный места находятся на том же листке) даже каламбур очищается у него дыханием какого-то вольного ветра, когда он серьезно обращается к луне со словами: «Приветствую вас, дева ночей, покрытая льдом» и т. д. Знаете ли, что требуется особенная сила для того, чтобы, никогда не ошибаясь, освятить будничной жизненный смех и преобразить его, как это делает Лафорг, в нечто не менее светлое и глубокое, чем слезы? И не нужно ли носить в себе много миров для того, чтобы таким образом приобщать всеобщей жизни жалкие ничтожные фразы, затерянные на поверхности будничного существования? Разве эти ничтожные фразы, пренебреженные судьбою, не представляют собою, подобно всему существующему, человеческих чувств, также нуждавшихся в том, чтобы их облагородили?

Надо любить всех тех, кто сумел нечто освятить, а этот поэт освятил наш смех. Разве это не подвиг — взглянуть таким образом на грубо-комическое и превратить его в нечто радостное и почти грустное, в то, что может быть названо «ангельски-комическим»? Чем могли мы до сих пор передать серьезную улыбку, которою наша душа улыбается сквозь слезы? И разве смех наших будничных шуток не имеет никакого отношения к нашей душе и не

связан ни с чем, что боготворит душа? Но вот явился юноша и из тысячи мелочей, до сих пор все отрицавших, создал поэму, утверждающую глубину и красоту всего существующего столь же божественно, как и великие поэмы. И неужели мы неправы, мы, немногие, преклоняющиеся перед поэтом, который впервые уронил на нашу злополучную землю чистейшую росу улыбки Бога?

В заключение этих строк, имеющих лишь значение «Salve», начертанного на пороге, могу прибавить одно. Какой-то мудрый критик утверждает, что единственным судьей *положительной* ценности поэта является народ, из которого этот поэт вышел. «Мы, англичане, не понимающие Расина и мало восторгающиеся Шатобрианом, должны все-таки преклониться перед ними и признать Расина одним из безупречнейших поэтов Франции, а Шатобриана — прозаиком редкой силы. В свою очередь, французы, которые не могут любить нашего Мильтона, должны также допустить, что автор “Потерянного Рая” — величайший из наших писателей после божественного Шекспира».

Справедливость требует, чтобы оно так было, и чтобы каждый у себя оставался верховным судьей своей красоты. Но то, что верно относительно народов, не относится ли также к поколениям? Нам кажется, что люди, предшествующие поэту в жизни, лишены органов, чтобы воспринять молодую красоту, родившуюся после них. Поэт может быть судим лишь теми, кто его окружает и следует за ним. И вот почему я полагаю, что поэзии Лафорга, пред которой преклоняются лучшие из нас, нечего бояться будущего...

МУДРОСТЬ И СУДЬБА

Жоржетте Леблан

Посвящаю вам эту книгу, которая является как бы вашим произведением. Есть сотрудничество более возвышенное и действительное, чем сотрудничество пера: это сотрудничество мысли и примера. Мне не надо было с трудом придумывать решения и поступки, достойные мудрого идеала; мне не надо было извлекать из своего сердца мораль прекрасной мечты, по необходимости несколько смутной. Мне достаточно было слышать ваши слова, внимательно следить за вами в жизни. Мои глаза в то же время следили за движениями, жестами и привычками самой мудрости.

Метерлинк

I

В этой книге часто будет говориться о мудрости, о роке, о справедливости, о счастье, о любви. На первый взгляд могут показаться не лишеными иронии подобные рассуждения о каком-то невидимом счастье посреди страданий весьма реальных, — о справедливости, быть может, и совершенной, но скрытой под пластами неправды, увы, слишком грубой, — о любви, довольно трудно уловимой в обстановке ненависти и равнодушия, слишком очевидный. Могут показаться досадными и праздными эти попытки отыскать в потаеннейших изгибах человеческой души задатки доверия и безмятежности, настроения, позволяющие улыбаться, радоваться и любить, чувства, возбуждающие благодарность и удивление, — в то время, когда большинство людей, во имя которых дерзаешь возвысить свой голос, не только лишены возможности медленно вкушать эти внутренние радости, эти глубокие, возвещаемые мудрецами, но столь трудно достигаемые утешения, а даже не имеют достаточно сил и времени, чтобы испытать до дна бедствия и горести жизни.

Не раз уже упрекали моралистов, не исключая Эпиктета, в том, что они заняты только психологией мудреца. Упрек этот отчасти заслуженный, как, впрочем, все упреки, которые делаются людьми. В сущности, если иметь мужество слушаться самого непосредственного, самого настоящего и бесхитростного веления своей совести, то единственным несомненным нашим долгом было бы облегчать вокруг себя, на возможно большем пространстве, как можно больше страданий. С этой целью следовало бы сделаться братом милосердия, посещать бедных, утешать страждущих, основывать образцовые фабрики, стать врачом, земледельцем или, по крайней мере, подобно лабораторному ученому, посвятить свои силы на то, чтобы вырвать у природы как можно больше полезных материальных тайн. Однако, занимаясь только взаимопомощью, люди не могли бы долго предаваться такой любвеобильной деятельности, если бы кто-нибудь из них не отвоевывал себе досуг, чтобы посвятить его другим занятиям. Только благодаря этим немногим деятелям,

которые кажутся бесполезными, всегда найдется достаточное количество людей, несомненно полезных. Добрые дела, совершаемые в настоящую минуту вокруг нас, зародились большею частью в душе одного из тех, кто, быть может, не раз пренебрег исполнением какой-нибудь непосредственной, настоятельной обязанности для того, чтобы размышлять, чтобы погрузиться в самого себя или говорить с другими. Следует ли из этого, что они поступили наилучшим образом? Кто осмелится ответить на такой вопрос? В глазах человека смиренного и честного, — каким каждый из нас должен стараться быть, — наилучшим делом является исполнение ближайшего и простейшего долга. Но было бы тем не менее грустно, если бы никто не шел дальше ближайших обязанностей. Во все времена жили люди, которые искренно верили, что они исполняют обязанности текущего дня, размышляя об обязанностях дня грядущего. Большинство мыслителей утверждает, что эти люди не заблуждались. Нужно, чтобы мыслитель что-нибудь утверждал, хотя, заметим мимоходом, мудрость иногда находится в противоречии с тем, что утверждает мудрец. Пускай; без этих утверждений она прошла бы незамеченной, — мудрец таким образом исполнил свой долг.

II

В настоящее время отсутствие счастья составляет одну из болезней человечества, точно так, как болезнь является одним из человеческих несчастий. И подобно тому, как существуют доктора против болезней, следовало бы иметь докторов, врачующих от отсутствия счастья. Но из того, что состояние болезни встречается, к сожалению, слишком часто, неужели следует, что не надо заниматься здоровьем и что профессор анатомии, — естественной науки, наиболее точно соответствующей науке о морали, — должен считаться исключительно с явлениями уродства, которым человеческое тело подвергается вследствие более или менее общего упадка? Необходимо, чтобы он говорил также о теле здоровом, и правильно развившемся, точно так же, как необходимо, чтобы моралист, старающийся заглянуть дальше текущего дня, брал исходной точкой душу счастливую или, по крайней мере, такую, которая обладает всем, что нужно для счастья, не говоря уже о достаточно ясном сознании.

Мы живем в условиях великой несправедливости; но я полагаю, что можно, не будучи ни равнодушным, ни жестоким, говорить иногда о жизни так, как будто этой несправедливости больше не существует, ибо иначе мы бы никогда не могли выйти из ее круга.

Необходимо, чтобы кто-нибудь решился мыслить, говорить и действовать так, как будто бы все кругом были счастливы; в противном случае каким образом все другие люди могли бы познать, что такое счастье, справедливость, любовь и красота, — в тот день, когда судьба наконец раскроет перед ними доступные всем сады обетованной земли? Можно, конечно, утверждать, что прежде всего следует приступать к «наиболее неотложному». Но заботиться о «самом неотложном» не всегда самое разумное. Часто бывают случаи, когда

сразу следует приступать к «самому высокому». Когда море или ближняя река прорвали плотину, защищающую обработанную землю, и вода ворвалась в жилище крестьянина, наиболее неотложным для него будет спасать свой скот, свои припасы, свои пожитки. Но наиболее разумным было бы подняться на вершину дюн, чтобы бороться с волнами, и призвать туда всех тех, кто живет под защитой этих поврежденных насыпей.

Человечество до сих пор походило на больного, который поворачивается с боку на бок на своей постели, желая забыться. И все же единственные слова утешения были сказаны теми, кто говорил так, как будто оно никогда не было больным. Дело в том, что человечество создано для того, чтобы быть счастливым, подобно тому, как отдельный человек создан для того, чтобы быть здоровым. Поэтому, когда говоришь людям об их бедствиях, даже в условиях всеобщих, непрерывных страданий, все-таки как будто говоришь им о чем-то случайном и временном. Всегда уместно обращаться к человечеству так, как если бы оно находилось накануне великого счастья или великой истины. И оно так и живет по своему инстинкту, хотя бы ему в действительности не суждено было дожить до счастливого завтрашнего дня. Благоразумно поэтому верить, что достаточно некоторого напряжения мысли, мужества, любви, любознательности и энергии жизни для того, чтобы врата радости и истины наконец открылись перед нами. И все это, быть может, не недостижимо. Можно надеяться, что наступит день, когда все будут счастливы и мудры. И если даже этот день никогда не наступит, не преступно было жить в его ожидании.

Во всяком случае, полезно говорить несчастным о счастье для того, чтобы они научились понимать его. Они так склонны считать счастье чем-то необыкновенным и почти недоступным. Но если бы все те, кто в праве считать себя счастливыми, бесхитростно открыли причины своего довольства, то стало бы очевидным, что разница между грустью и радостью сводится к различию между несколько более добродушным и просветленным сознанием покорности и мрачным, озлобленным чувством порабощения, между толкованием жизни более гармоничным, широким и толкованием узким, упрямым. Тогда несчастные воскликнули бы: «Только и всего? Но мы все тоже обладаем в своем сердце задатками такого счастья!» Вы, действительно, обладаете ими. За исключением великих физических несчастий, все люди ими обладают. Но не относитесь к этому счастью с презрением. Другого не существует. Счастливее всех людей тот, кто больше других сознает свое счастье. Всех же больше сознает свое счастье тот, кто глубже других знает, что счастье отделено от отчаяния лишь одной возвышенной, неутомимой, человеческой и бесстрашной идеей.

Вот об этой идее и полезно говорить как можно чаще, — не для того, чтобы навязать свое представление о счастье другим, а для того, чтобы исподволь в сердце каждого, кто нас слушает, разбудить желание обрести свою собственную мысль о счастье, ибо она различна для каждого из нас. Ваше понимание счастья не подходит мне, и, как бы красноречиво вы ни твердили мне о нем, оно не дойдет до скрытых органов моей жизни. Необходимо, чтобы я выработал идею счастья в себе самом, собственными силами. И все же, говоря

о вашем понимании, вы, сами того не зная, поможете мне обрести мое собственное. Быть может, то, что вас печалит, меня будет утешать и то, что вам приносит утешение, меня будет огорчать; но дело не в этом. Все, что есть прекрасного в вашем отрадном видении, проникнет в мою грусть, и все, что есть возвышенного в вашей печали, перейдет в мою радость, если моя радость достойна вашей печали. Прежде всего нужно воздвигнуть на поверхности души некоторую высоту, чтобы принять эту идею, подобно тому, как жрецы древних религий обнажали и очищали от терна и шипов вершину горы, на которой они ждали, чтобы к ним спустился небесный огонь. Возможно, что завтра из глубины Марса, вместе с окончательной истиной о происхождении и цели мира, нам сообщат непогрешимую формулу счастья. Но и она сможет изменить и улучшить нашу моральную жизнь лишь постольку, поскольку мы уже давно жили в ожидании этого улучшения. Каждый из нас воспользуется и насладится благодеяниями этой формулы, самой по себе неизменной, лишь по мере того, сколько она найдет в его душе беспристрастия, чистоты, внимания и уже освещенного простора. Вся мораль, все знания о справедливости и счастья в сущности ни что иное, как возможно полное, возможно искреннее и страстное ожидание и приготовление. Нам, конечно, всего желаннее тот день, когда мы наконец будем жить в полной уверенности, в свете научной истины, всецелой и непоколебимой. Но, в ожидании этого дня, нам дано жить в истине еще более важной, — в истине нашей души и нашего характера, и некоторые мудрецы доказали нам, что такая жизнь возможна среди самых великих материальных заблуждений.

III

Не следует ли признать праздными все слова о морали, о справедливости, о счастье и обо всем, относящемся к ним, произносимые теперь, накануне решительного часа в науке, который может все перевернуть? Быть может, мы живем среди временных сумерек, а ведь многое на свете совершается в сумерки не так, как в сиянии дня.

Но ведь существенные события нашей жизни телесной и духовной происходят в темноте так же полно и неизбежно, как при свете. В ожидании слова разгадки надо все-таки жить; и только живя жизнью по возможности счастливой и благородной, мы будем жить наиболее напряженно и обладать возможно большей отвагой, независимостью и проницательностью, необходимыми для того, чтобы стремиться к истине и искать ее. И наконец, что бы ни случилось, время, посвященное нами исследованию себя самих, не может считаться потерянным. И под каким бы видом нам со временем ни предстал этот мир, часть которого мы составляем, всегда в душе человеческой останется больше нетронутых и неизменных чувств, страстей и загадок, чем звезд, связанных с землею, или тайн, разъясненных наукой. Достигнув непререкаемой и всепроникающей истины, человек, конечно, вырастет, но расти он будет лишь по неизменному направлению человеческой души. И можно с уверенностью сказать, что, чем более могущественной и отрадной окажется всемирная

истина, тем более властными и волнующими покажутся в глазах людей проблемы справедливости, морали, счастья и любви, — какими, впрочем, они всегда и являлись взору мыслителя.

Нужно жить так, как если бы мы находились постоянно накануне открытия великой истины; нужно быть всегда готовым принять ее как можно целостнее, задушевнее, пламеннее. И для того, чтобы быть в состоянии когда-нибудь принять ее наилучшим образом, в каком бы виде она нам ни открылась, следует с нынешнего же дня желать видеть ее столь возвышенной, всеобъемлющей, совершенной и облагораживающей, какой только нам дано ее вообразить. Нечего опасаться, что мы представим себе ее чрезмерно могущественной, прекрасной или величавой. Она несомненно превзойдет самые смелые наши надежды, ибо если бы она оказалась отличной от них или даже противоречащей им, то одним тем, что она даст нам верное знание, она принесет нам нечто более величественное, более возвышенное, более согласное с природой человека, чем все, чего мы могли ожидать. Если бы даже человек должен был потерять с нею все, перед чем он до сих пор преклонялся, то сокровенная истина мира сама будет для него предметом, по преимуществу достойным преклонения. Если даже допустить, что в тот день, когда истина обнаружится, рассеется пепел наших самых скромных надежд, то все же при нас останется наша готовность принять чудесное, и чудесное проникнет в нашу душу более или менее обильным потоком, смотря по ширине и глубине русла, вырытого нашим ожиданием.

IV

Должны ли мы считать себя более совершенными, нежели вселенная? Как бы мы ни рассуждали, разум наш всегда будет лишь слабым лучом природы, лишь бесконечно малой частицей того целого, о котором он присваивает себе право судить. А разве для того, чтобы луч исполнял свое назначение, нужно, чтобы он желал переделать лампу, откуда он струится?

Вершина нашего существа, с которой мы намереваемся осудить или оправдать совокупность жизни, по всей вероятности, ни что иное, как легкая неровность, которую наш только глаз замечает на безграничной сфере бытия. Благоразумно думать и действовать так, как если бы все, что случается с человечеством, было необходимым. Еще недавно, — называя лишь одну из задач, которые инстинкт нашей планеты призван разрешить, — еще недавно к европейским мыслителям намеревались, кажется, обратиться с вопросом, считать ли несчастьем или счастьем, если энергичная, упрямая и могущественная раса, которую однако мы, арийцы, вследствие предрассудков, слишком слепо воспринявших, считаем низшей по духу и сердцу, — словом, если раса еврейская исчезнет, или же сделается преобладающей? Я убежден, что мудрец может ответить, не опасаясь заслужить упрека ни в излишней покорности судьбе, ни в равнодушии: «то, что произойдет, и будет счастьем». Часто то, что происходит, кажется нам ошибочным; но разве самое полезное, что до сих пор совершил человеческий разум, не заключалось в том, что он

отыскивал высший смысл в ошибках природы? Все, что нас поддерживает и помогает нам, как в жизни физической, так и в нравственной, является лишь медленным и постепенным оправданием силы, которая вначале казалась нам беспощадной. Если раса, вполне отвечающая нашему идеалу, исчезает, то это лишь значит, что наш идеал не вполне отвечает идеалу по существу, который, как я уже сказал, есть сокровенная истина мира.

Мы уже могли заключить из нашего опыта, уже не раз видели, что прекраснейшие мечты и желания, великие идеи и чувства любви, красоты и справедливости часто подтверждаются в действительности. Если же в нашем воображении есть мечты еще более обширные и отрадные, но не могущие вынести испытания действительности, т. е. безыменной таинственной силы жизни, то отсюда следует, что эти мечты должны быть другими по существу, но не менее обширными, не менее прекрасными, не менее отрадными. В ожидании того дня, когда мечта воплотится в действительность, полезно, быть может, лелеять идеал, который в нашем воображении кажется прекраснее действительности. Но, как только действительность наконец настанет, пламя идеала, питавшееся нашими сокровеннейшими желаниями, должно служить лишь тому, чтобы всесторонне освещать не столь хрупкую и не столь нежную красоту внушительной громады, раздавившей наши желания.

Во всем этом, я уверен, нельзя усмотреть ни рабской покорности перед судьбой, ни усыпленного фатализма, ни бездеятельного оптимизма. Возможно, что в известных случаях жизни мудрец лишен отчасти той упрямой, исключительной и слепой страстности, с помощью которой некоторые, потому именно, что они не обладают полнотою человеческой мысли, совершают дела сверхчеловеческой трудности. Но несомненно, тем не менее, что ни одной честной душе не дозволено отправляться в поиски энергии и сильной воли, иллюзии и ослепления, спускаясь в область низшую в сравнении с мечтами ее лучших часов. Нельзя исполнить долг своей внутренней жизни иначе, чем оставаясь всегда на вершине своей души и своей собственной правды. В жизни практической и повседневной еще возможно иногда считаться с обстоятельствами, хотя не всегда позволительно доходить до последнего предела себя самого, как это делал, например, Сен-Жюст, который, стремясь с великой страстностью к справедливости, миру и всеобщему благу, посылал, с самыми честными намерениями, тысячу жертв на эшафот; зато в жизни духа долг каждого доходить во всем до крайних пределов своей мысли. К тому же сознание, что действовать следует только в ожидании истины, помешает лишь тем, кто не сделал бы ничего и в состоянии невежества. Мысль, стремящаяся вверх, настолько же ободряет к поступкам, насколько сперва от них отпугивает. Тем, которые взирают на жизнь с высоты и заранее преклоняются перед силой, призванной уничтожить их дела, кажется вполне естественным совершенствоваться, насколько они могут, то, что можно бы назвать разумом, справедливостью, красотой земли, инстинктом планеты. Они знали, что в здешней жизни совершенствоваться значит, в сущности, открывать, понимать, ценить. Прежде всего, они питают доверие к «идее вселенной». Они убеждены, что каждое усилие достигнуть лучшего приближает их к таинственной воле

жизни; но в то же время они научаются извлекать новую пищу для своего преклонения, для своей энергии, для своей надежды даже из поражений своих благороднейших усилий и из сопротивления, оказываемого им величием мира.

Когда вы под вечер поднимаетесь на высокую гору, вы видите, как мало-помалу уменьшаются в размере и наконец совершенно теряются среди заволакивающих долину теней деревья, дома, колокольня, луга, сады, дорога и даже река. Но светлые точки, различаемые на дне самых темных ночей в населенных людьми местах, не бледнеют по мере того, как вы будете подниматься. Наоборот, с каждым шагом по направлению к вершине вы будете открывать все большее число огней в деревьях, погруженных в сон под вашими ногами. Свет, как он ни нежен по своей природе, единственное в мире, что почти не теряет силу перед лицом бесконечности. То же самое происходит с нашим душевным светом, когда мы созерцаем жизнь с некоторой высоты. Хорошо, если созерцание научает нас относиться равнодушно ко всем нашим низшим страстям; но оно не должно ослаблять или лишать бодрости ни одного, — хотя бы самого смиренного, — из наших стремлений к истине, справедливости и любви.

Откуда вытекает это правило, которое я только что формулировал? Не знаю сам. Оно кажется мне человечным и необходимым — и только. Я не мог бы привести в его пользу других доводов, кроме доводов чувства; но не всегда следует презирать доводы, опирающиеся на чувство. И если бы я достиг вершины, откуда этот закон перестал бы казаться мне полезным, я бы послушался тайного инстинкта, повелевающего мне не останавливаться, а подниматься все выше до тех пор, пока я снова не убедился бы в его полезности.

V

После этих общих вступительных слов поговорим в частности о влиянии, какое мудрость может оказать на нашу судьбу. И, может быть, теперь же будет уместным заметить, что в этой книге напрасно стали бы искать строгого метода изложения. Она состоит из отдельных размышлений, которые в более или менее определенном порядке вращаются вокруг двух или трех вопросов. Она не стремится кого-либо убедить, она не намерена что-либо доказать. В сущности, книги не имеют в жизни того значения, какое им желает придавать большинство людей, кто их пишет или читает. К книгам достаточно было бы прислушиваться с тем настроением души, с каким один из моих друзей, большой мудрец, слушал однажды рассказ о последних минутах жизни императора Антонина Благочестивого. Антонин Благочестивый, имеющий еще больше прав, чем Марк Аврелий, на то, чтобы мы его считали лучшим и совершеннейшим из когда-либо живших на земле людей, ибо с мудростью, глубокомыслием, добротой и другими добродетелями своего приемного сына он соединял еще бóльшую мужественность, энергию, практичность, бóльшую самобытность и способность быть счастливым, — Антонин Благочестивый, простертый на ложе, ожидал смерти, с невольными слезами на глазах и

холодным потом агонии на всем теле. В это время начальник дворцовой стражи вошел в комнату, чтобы, по обыкновению, спросить слово пароля. «Aequanimitas, уравновешенность духа», — ответил император, обращая лицо в сторону вечной тени. «Прекрасно поступает тот, кто любит и по достоинству ценит это слово, — сказал мой друг. — Но еще прекраснее, — прибавил он, — посвящать время, уделяемое нам случаем для того, чтобы мы им восхищались, мелким полезным, простым житейским делам, которые тот же случай непрестанно предоставляет доброй воле нашего сердца. Нужно только делать это незаметно для других и для себя».

VI

«Судьба их, без сомнения, требовала, чтобы повсюду, куда они поставят ногу, они были преследуемы людьми и обстоятельствами», — говорил один автор о героях своей книги. Так оно бывает с большинством людей, — с теми, кто не научился отделять свою внешнюю судьбу от своей судьбы духовной. Они похожи на мелкий слепой ручеек, который я однажды утром созерцал с высоты холма. Пробираясь ощупью, выбиваясь из сил, постоянно спотыкаясь и шатаясь на дне темной долины, он отыскивал путь к большому озеру, дремавшему по другую сторону леса, в мирных лучах зари. Тут он должен был сделать четыре длинных обхода, наткнувшись на глыбу базальта, там корни старого дерева, или, еще дальше, одно воспоминание о давно исчезнувшем препятствии заставляло его напрасно кипеть, поднимаясь вспять по направлению к своему источнику, и бесконечно удаляло от его цели и счастья. Но вот в другом направлении, почти перпендикулярно к обезумевшему, несчастному, бесполезному ручейку, сила, высшая, чем инстинктивные силы природы, провела через поля, через обломки скал, через покорный лес, нечто вроде длинного канала, прямого, зеленеющего, беззаботного, мирного, который, без колебаний, в спокойном и светлом течении, направлялся из глубин другого источника, скрытого за горизонтом, к тому же безмятежному, сверкающему озеру. И я имел перед собою образ двух великих судеб, открытых человеку.

VII

Наряду с теми, кто притесняем людьми и обстоятельствами, есть другие, таящие в себе какую-то внутреннюю силу, которой подчиняются не только люди, но и окружающие их события. Они сознают в себе эту силу, и она в сущности ни что иное, как чувство своей собственной личности, которое сумело распространиться за пределы обычного человеческого сознания.

Быть с самим собой, не опасаясь капризов случая, быть счастливым и сильным можно только за оградой самопознания. Впрочем, эта истина повторялась слишком часто, и мы останавливаемся на ней лишь с тем, чтобы наметить нашу исходную точку. Человек духовно растет лишь по мере того, как увеличивается его сознание, и его сознание увеличивается по мере того, как он

растет. В этой области замечается удивительное взаимодействие, и подобно тому, как любовь неутолимо жаждет любви, всякое самопознание неутолимо жаждет нравственного расширения и подъема, и всякий нравственный подъем жаждет самопознания.

VIII

Однако это чувство своей личности, как его обыкновенно понимают, часто ограничивается знанием своих недостатков и достоинств. Но оно может простираться на тайны гораздо более существенные. Познать себя не значит только познавать себя в состоянии покоя или более или менее познавать себя в настоящем и прошлом. Люди, о которых я говорю, обладают этой силой лишь потому, что они познают себя также в будущем. Познать себя самого для людей самых великих значит, в известной степени, познавать свою звезду и свою судьбу. Они знают отчасти свое будущее, потому что они сами уже составляют часть этого будущего. Они питают доверие к себе самим, потому что уже теперь знают, во что превратятся события в их душе. Событие само по себе только чистая вода, которую судьба нам льет и которая сама не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Оно становится прекрасным или грустным, сладким или горьким, смертельным или жизнетворным, смотря по качеству души, которая его приемлет. Со всеми, окружающими нас, беспрестанно случается тысяча приключений, по-видимому, чреватых семенами героизма, и однако ничто героическое не всходит, лишь только приключение рассеялось. А Христос встречает на своем пути толпу детей, прелюбодейную жену или самаритянку, и человечество три раза поднимается на высоту Бога.

IX

Следовало бы сказать, что с людьми случается лишь то, что они хотят, чтобы с ними случилось. Правда, нам дано лишь слабо влиять на известное число внешних событий; но мы можем могущественно воздействовать на то, чем эти события становятся в нас самих, т. е. на духовную сторону каждого события, которая вместе с тем есть его светлая и бессмертная сторона. То духовное, что зарождается от каждой любви, каждого несчастья, каждой встречи, в тысячах людей не могло прожить и мгновения, и эти люди проходят в мире, как обломки, уносимые рекою. Зато есть немногие, в которых бессмертное поглощает все остальное, и они пребывают, как острова среда моря, ибо они обрели неподвижную точку и оттуда управляют внутренними судьбами; истинная же судьба всегда судьба внутренняя. Для большинства людей то, что с ними случается, омрачает или освещает их жизнь; но внутренняя жизнь тех немногих, о которых я говорю, одна освещает все, что с ними случается. Если вы полюбили, то не эта любовь составит часть вашей судьбы, а то познание самого себя, которое вы нашли на дне этой любви, одно преобразит вашу жизнь. Если вам изменили, то важна не эта измена, важно прощение, которое она родила в вашей душе. Глубина этого прощения, более

или менее всеобъемлющего, возвышенного и обдуманного, обратит ваше существование к мирной и более светлой стороне судьбы, где вы будете чувствовать себя лучше, чем если бы вам сохранили верность. Но если измена не увеличила искренности и объема вашей любви, не сделала возвышеннее ваше доверие, то вам изменили бесполезно, и вы можете сказать себе, что ничего не случилось.

X

Не забудем, что все, что с нами случается, бывает по природе таким же, как мы сами. Всякое приключение предстает перед нашей душой в образе наших обычных мыслей, и никогда героический случай не представлялся тому, кто уже в течение многих лет не был молчаливым, безвестным героем. Поднимитесь на гору или спуститесь в деревню, отправьтесь на конец света или прогуляйтесь вокруг своего дома, вы на всех путях случая встретите только себя самого. Если этим вечером отправится в дорогу Иуда, он обрящет Иуду и найдет случай для измены; но если дверь откроет Сократ, он встретит на пороге дома спящего Сократа, а также случай быть мудрым. Наши приключения блуждают вокруг нас, как пчелы, готовые роиться, носятся вокруг улья. Они ожидают, чтобы идея-матка вышла наконец из нашей души, и как только она показывается, они облепляют ее. Если вы лжете, ложь обступит вас. Если любите, гроздья приключений будут содрогаться от любви. По-видимому, все они ожидают внутреннего знака, и если наша душа стала к вечеру более мудрой, то и несчастье, которое она сама накликала утром, также становится к вечеру более мудрым.

XI

Великие внутренние события не случаются с теми, кто ничего не сделал для того, чтобы их призвать, хотя малейшее жизненное происшествие таит в себе зерно великого внутреннего события. Но эти события рабски подчинены справедливости, и каждый получает лишь ту часть добычи, которую он заслужил. Мы в точности становимся тем, что открываем в счастье и горе, приносимом случаем, и самые неожиданные капризы судьбы научаются принимать самый образ наших мыслей. Одежда, оружие и украшения судьбы находятся в нашей внутренней жизни. Если бы Сократ и Терсит в один день потеряли своего единственного сына, горе Сократа не было бы похоже на горе Терсита. Сама смерть, которую принято считать для всех одинаковой, по-иному движется и плачет в доме добрых, чем в доме злых. Можно подумать, что горе и счастье очищаются, прежде чем постучаться к мудрецу, и что они понуро опускают голову, входя в душу пошляка.

XII

По мере того, как мы становимся мудрыми, мы спасаемся от власти

некоторых из наших инстинктивных судеб. В каждом человеке живет известное стремление к мудрости, которое способно претворить в сознание бóльшую часть жизненных случаев. Все же, что было претворено в сознание, уже не принадлежит к враждебным силам. Страдание, которое претворено вашей душою в нежность, в снисходительность, в улыбку терпения, уже больше не вернется к вам без духовных украшений. Заблуждение или недостаток, которым вы взглянули прямо в лицо, уже не в силах вам вредить и не в силах причинить вред другим.

Между инстинктом и судьбою существуют непрерывные сношения; они поддерживают друг друга и бродят рука об руку вокруг того, кто невнимателен. Но тот, кто умеет подавлять в себе слепую силу инстинкта, тем самым ослабляет вокруг себя силу судьбы. Он как будто создает место убежища, неприступное в силу его мудрости, и те, кто случайно проходит через светлую полосу его приобретенного сознания, могут не бояться случая, покуда они остаются в этой полосе. Поставьте Сократа или Христа посреди Атридов, и трагедия Ореста не разыграется, пока они будут находиться во дворце Агамемнона; а если бы они сели на пороге жилища Иокасты, Эдип не подумал бы выколоть себе глаза. Есть несчастья, которых рок не дерзает осуществить в присутствии души, которая уже не раз победила его, и мудрец, проходя мимо людей, прерывает тысячу драм.

XIII

Присутствие мудреца до того неизбежно парализует судьбу, что, быть может, нет ни единой драмы, в которой участвовал бы истинный мудрец; если же такой мудрец появляется, событие само собою останавливается, не доходя до слез и крови. Не только не бывает драмы между мудрецами, но чрезвычайно редко, чтобы драма происходила поблизости мудреца. Трудно представить себе, чтобы трагическое происшествие могло разыграться между людьми, которые серьезно, со всех сторон изучили свое сознание, и герои великих трагедий обладают душою, которую они никогда глубоко не испытывали. Вот почему трагический поэт может выявить только красоту, более или менее закованную в цепи; стоило бы его героям подняться на высоту, которой истинным героям следует достигнуть, и они мгновенно выронили бы оружие из рук, и драма превратилась бы в отдых в лучах света. Единственную драму мудреца мы находим в «Федоне», в «Прометее», в страстях Христовых, в убийстве Орфея или в жертве Антигоны. Но за исключением этих драм, составляющих единственные драмы мудрости, мы видим, что трагические поэты редко позволяют мудрецу явиться на сцену, хотя бы на мгновение. Они боятся присутствия высокой души, потому что события боятся ее, и убийство, совершенное в присутствии мудреца, становится иным, чем убийство, совершенное в присутствии людей, душа которых еще не сознала себя. Если бы Эдип обладал некоторыми из тех истин, которые каждый мыслитель может приобрести, если бы он в самом себе обрел то всегда открытое убежище, которое сумел в себе воздвигнуть, например, Марк Аврелий, — что мог бы

совершить рок, что мог бы он уловить в свои сети, как не чистый свет, который излучивает каждая великая душа, когда она становится еще прекраснее в несчастье?

Где мудрец в трагедии Эдипа? считать ли таковым Тирезия? Он знает будущее, но он не знает, что доброта и прощение властвуют над будущим. Он знает истину священную, но не знает истины человеческой. Ему неведома та мудрость, которая заключает несчастье в свои объятия для того, чтобы сообщить ему свою силу. Те, которые знают, в сущности ничего не знают, если они не обладали силою любви, ибо истинный мудрец не тот, кто видит, а тот, кто, видя как можно дальше, любит людей как можно глубже. Видеть и не любить, значит смотреть в темноту.

XIV

Утверждают, будто все великие трагедии являют нам только зрелище борьбы человека с роком. Я же думаю наоборот, что нет ни единой трагедии, в которой действительно властвовал бы рок. Я обзираю их все мысленно и не нахожу ни одной, в которой герой боролся бы с чистым и простым роком. В сущности, он никогда не борется с роком, а всегда с мудростью. Несомненный рок проявляется лишь в некоторых внешних несчастьях, как, например, в болезнях, в несчастных случаях, в неожиданной смерти любимого человека и т. п. Но совершенно нет рока внутреннего. Воле мудрости дана власть выправлять все то, что не поражает смертельно наше тело. Часто даже этой воле удастся проникнуть в узкую область внешнего рока. Правда, нужно предварительно накопить в себе тяжелое и терпеливое сокровище для того, чтобы эта воля в торжественную минуту обрела в себе силы, необходимые для действия.

XV

Статуя судьбы кидает огромную тень на долину, которую она как будто заполняет своим мраком. Но эта тень являет резкие очертания взору тех, которые смотрят на нее с уступов горы. Правда, мы рождаемся в этой тени, но многим из нас дано из нее выйти; и если наша слабость или наши немощи приковывают нас до самой смерти к областям, покрытым тенью, то одна возможность временами покидать их в желаниях или в мыслях уже много значит. Возможно, что судьба властвует над некоторыми из нас с особенной силой, в силу наследственности или инстинкта, или других законов, еще более неумолимых, глубоких и неисследованных; но даже тогда, когда она поражает нас незаслуженными и безмерными бедствиями, даже тогда, когда она понуждает нас совершить то, что мы не совершили бы, если бы она насильно не толкала нашу руку, стоит действию совершиться, чтобы отныне судьба не влияла более на все то, что произойдет в нашей душе. Поражая сердце, обладающее доброй волей, рок не в силах помешать, чтобы выстраданное несчастье или сознанное заблуждение не открыли в этом сердце источника

света. Он не в силах помешать тому, чтобы душа преобразила каждое из своих испытаний в неотъемлемое благо мысли или чувства. Какова бы ни была сила рока во внешнем мире, он останавливается, как только видит на пороге души одного из молчаливых стражей внутренней жизни. И если мы ему разрешаем тогда доступ в потаенную обитель, он может проникнуть туда лишь благодетельным гостем для того, чтобы оживить отяжелевшую атмосферу, восстановить мир, увеличить свет, усилить ясность, осветить горизонт.

XVI

Спросим еще раз, что бы мог сделать рок, если бы он ошибся душою и вместо Эдипа растянул свои сети перед Эпикуром, Марком Аврелием или Антонином Благочестивым.

Я даже согласен допустить, что он мог бы заставить, например, Антонина, в том же неведении, как Эдип, осквернить ложе своей матери. Смог ли бы он что-нибудь потрясти в душе благородного монарха? Не походил ли бы конец этого события на развязку всех других драм, которые происходят в жизни мудреца? Не разрешилось ли бы также и оно в великое, правда, страдание, но также и в великий свет, рожденный этим страданием и уже наполовину одержавший победу над тенью судьбы? Антонин плакал бы, как плачут все люди; но самые обильные слезы не в силах потушить ни единого луча в душе, которая светится незаимствованным светом. Путь, ведущий от страдания к отчаянно, для мудреца весьма длинен, и мудрость никогда еще не проходила этого пути до конца. На той нравственной высоте, которой достиг Антонин, как показывает нам его жизнь, мысль, становясь все шире, чувство, становясь все благороднее, освещают все слезы. Он заключил бы несчастье в наиболее просторную и чистую часть своей души, а несчастье, подобно воде, принимает все формы сосудов, в которых оно заключено. Антонин покорился бы судьбе, скажем мы. Да, но нужно еще заметить, что это слово слишком часто скрывает от нас то, что происходит в великом сердце. Первая встречная душа легко может вообразить, что и она покорилась судьбе. Увы, не сама покорность нас утешает, очищает и возвышает, а те мысли и добродетели, во имя которых мы покоряемся; и вот тут мудрость награждает своих служителей по мере их заслуг.

Существуют идеи, которых не может коснуться никакая катастрофа. Обыкновенно достаточно, чтобы идея поднималась над уровнем будничной суетности, равнодушия и эгоизма, для того, чтобы тот, который ее лелеет, сделался менее уязвимым для судьбы. И вот почему среди благополучий и бедствий наиболее счастливым из всех всегда будет тот, в душе которого наиболее высокая идея соединена с наибольшей страстностью. Если бы рок пожелал, Антонин Благочестивый сделался бы, быть может, кровосмесителем и отцеубийцей. Но его внутренняя жизнь не только не погибла бы, как жизнь Эдипа, но еще больше бы окрепла от обрушившихся бедствий, и рок обратился бы в бегство, уронив подле дворца императора свои сети и свое сломанное оружие, ибо подобно тому, как триумф консулов и диктаторов мог иметь место

только в Риме, истинное торжество рока может совершиться только в душе человека.

XVII

Какое место занимает рок в «Гамлете», в «Короле Лире», в «Макбете»? Разве престол его не помещается в самом центре безумия старого короля, на низших ступенях воображения молодого принца и на вершине болезненных желаний Кавдорского тана? Не будем говорить ни о Макбете, ни об отце Корделии, бессознательность которых слишком очевидна и никем не будет оспариваться; но сам Гамлет, мыслитель Гамлет, разве он мудр? Смотрит ли он на преступления, совершающиеся в Эльсиноре, с достаточной высоты? Он, правда, обозревает их с вершины разума: но разве в светлой горной цепи мудрости вершины доброты, доверия, снисходительности и любви не возвышаются над вершиной разума? Что произошло бы, если бы он созерцал злодеяния, происходящие в Эльсиноре, с той высоты, с которой на них смотрел бы, например, Марк Аврелий или Фенелон? И прежде всего, разве не случается часто, что преступление, чувствуя на себе взгляд более могущественной души, останавливает свое шествие к мраку, подобно тому, как пчелы прекращают свою работу, когда дневной луч проникает в улей?

Во всяком случае, истинный рок, которому Клавдий и Гертруда отдали себя во власть, — ибо мы отдаем себя во власть року лишь тогда, когда совершаем зло, — истинный рок, который есть рок внутренний, продолжал бы свой путь в душе злодеев; но разве он смел бы оттуда выйти, разве он смел бы переступить за светлую, уличающую ограду, которую простое присутствие одного из этих мудрецов воздвигло бы перед воротами дворца? Если судьбы менее мудрых поневоле принимают участие в судьбах мудреца, которого они встретили, то судьбы мудреца редко подвергаются влиянию судеб низших. В области рока, как и всюду на земле, реки не текут назад к своим истокам. Но, возвращаясь к прежнему предположению, можете ли вы вообразить, что в Эльсиноре на месте души Гамлета присутствует чья-нибудь могущественная и властная душа, вроде души Христа, и что трагедия тем не менее продолжает идти своим путем, вплоть до четырех смертей заключительной сцены? Кажется ли вам это возможным? Разве в присутствии глубокой мудрости самое искусное преступление не становится отчасти похожим на зрелища, которые мы устраиваем вечером для маленьких детей и бедность и ложь которых обнаружались бы при первом солнечном луче? Представляете ли вы себе Христа, или просто мудрого человека, которого вы, быть может, встретили в жизни, посреди добровольного мрака Эльсинора? Что толкает Гамлета, как не слепая мысль, говорящая ему, что единственный долг жизни — это месть? И разве, в самом деле, нужно было сверхчеловеческое усилие для того, чтобы понять, что месть никогда не является долгом? Повторяю, Гамлет много мыслит, но он не мудрец. Он даже не подозревает, где находится незащищенное место в доспехах рока. Чтобы победить судьбу, не всегда достаточно вооружаться высокими мыслями, ибо высоким мыслям судьба

может противопоставить мысли еще более высокие. Но какая судьба когда-либо могла устоять против мыслей кротких, простых, добрых и честных? Единственное средство поработить рок — это делать противоположное тому злу, которое он хотел бы заставить нас совершить. Нет в жизни драмы неизбежной. Катастрофы в Эльсиноре совершаются лишь потому, что все души отказываются что-либо видеть; но одна живая душа могла бы принудить все другие раскрыть глаза.

В чем, как не в жалком ослеплении самого Гамлета, было предопределено, что Лаэрт, Офелия, Гертруда, Гамлет и Клавдий должны умереть? Но разве это ослепление было неизбежно? Не нужно усматривать судьбу там, где мысль человека еще в силах обезоружить пагубные силы жизни. Для рока остается и так обширная область для проявления себя. Власть рока я вижу в стене, которая обрушивается на мою голову, в грозе, потопляющей корабль, в эпидемии, уносящей тех, кого я люблю. Но никогда судьба не вступает в душу человека, который не призвал ее сам. Гамлет несчастен потому, что он блуждает посреди сумерек, чуждых человечности, и его несчастье создано его незнанием. Никакая сила мира так охотно не подчиняется всем дерзающим ей приказывать, как судьба.

Даже Горацио мог бы до последней минуты повелевать ей, но у него не было достаточно энергии, чтобы выйти из тени своего господина. Достаточно было бы, чтобы одна душа в Эльсиноре дерзнула крикнуть слово истины, для того чтобы вся история Эльсинора не завершилась в слезах ненависти и ужаса. В руках мудрости злой случай становится гибким, как срезанная трость, но он же превращается в смертельно-непреклонную полосу меди в руках незнания. Повторяю — все зависело не от судьбы, а от мудрости наиболее мудрого, ибо Гамлет был мудрее всех. И вот почему он один своим присутствием сделался центром разыгравшейся в Эльсиноре драмы. Мудрость же Гамлета зависела только от него самого.

XVIII

Если вы не доверяете трагедиям, созданным воображением, то вникните мыслью в одну из великих драм действительной истории, и вы увидите, что и там между судьбой и человеком существуют те же отношения, те же привычки, те же приступы нетерпения, те же законы подчинения и возмущения. Вы увидите, что и там наиболее действенная часть того, что мы любим называть роком, есть ни что иное, как сила, созданная человеком. Правда, это сила громадная, но она редко бывает непреодолимой. Она не является вдруг из какой-то неумолимой бездны, недоступной и неисповедимой. Она создана из энергии, желаний, мысли, страданий и страстей наших братьев, и мы должны были бы понимать эти страсти, столь похожие на наши. Даже в минуты наиболее странные, среди бедствий наиболее таинственных и непредвиденных, нам никогда не приходится бороться с врагом незримым или совершенно неизвестными. Незачем без нужды расширять область неизбежного. Люди действительно сильные знают, что не все силы враждебных им замыслов им

известны. Но против сил известных они борются так же храбро, как если бы других не существовало, и часто одерживают победы. Мы очень укрепим наше чувство безопасности, наш мир и наше благополучие в тот день, когда наше невежество или наша беспечность перестанут называть роковым то, что энергия и разум должны были бы называть естественным и человеческим.

XIX

Взгляните на достопамятную жертву рока — на Людовика XVI. Никогда, кажется, судьба так беспощадно не желала гибели несчастного смертного, честного, доброго, кроткого, добродетельного. Но если ближе взглянуть в историю, то возникает вопрос, не создан ли яд этого рока из слабостей, колебаний, мелкого лукавства, непоследовательности, суетности и ослепления самой жертвы? Если верно, что нечто вроде предопределения тяготеет над обстоятельствами каждой жизни, то не скрывается ли это предопределение в нашем собственном характере? А разве характер не есть то, что может всего легче измениться в человеке с доброю волей? И разве действительно характер не подвергается постоянно изменениям у большинства людей? Разве в тридцать лет у вас тот же характер, какой был в двадцать? Он стал лучшим или худшим, смотря по тому, видели ли вы торжество лжи, ненависти, бесчестия и злобы, или же истины, любви и доброты. Казалось же вам, что вы видели торжество ненависти или любви, смотря по тому более или менее возвышенному представлению, какое вы сами мало-помалу составили себе о счастье и о цели жизни. То, к чему стремится наше тайное желание, естественно кажется нам наиболее сильным. Если вы обращаете взоры в сторону зла, вам будет казаться, что всюду побеждает зло. Но если вы научили свои глаза останавливаться на простосердечии, искренности и правде, вы в глубине каждого события будете прозревать могущественную и молчаливую победу того, что вы любите.

XX

Не станем, тем не менее, судить Людовика XVI с той точки зрения, на которой мы находимся. Поставим себя на его место, в центре его сомнений, его изумления, его затруднений, его сумерек. Слишком легко предвидеть то, что следовало бы сделать, когда знаешь все, что было сделано. И нас также, среди наших тревог и колебаний, в нашем незнании долга, нужно будет судить, стараясь отыскать следы наших последних шагов на песке того небольшого бугра, с которого мы старались прозреть будущее. Разве мы знаем лучше Людовика XVI, как следует поступить в настоящую минуту? От чего следует отказаться и что следует защищать? Окажемся ли мы более мудрыми, чем он, в наших колебаниях между правами человеческого разума и правами обстоятельств? Добросовестное сомнение не носит ли часто характера долга? Тем не менее, пример злополучного короля может научить нас важной истине: именно тому, что в случаях великих и благородных сомнений всегда следует храбро идти прямо вперед и бесконечно дальше того, что нам кажется

благоразумным, осуществимым и справедливыми. Какой бы ясной, просвещенной и независимой ни казалась нам наша идея долга, справедливости и истины, она все же не такова, какую естественно станет через несколько лет, через несколько веков. Вот почему мудрость требует, чтобы мы, по крайней мере, возможно скорее доходили до крайней черты того, что видим, на что надеемся. Если бы Людовик XVI поступал так, как поступили бы мы теперь, когда мы знаем, как следовало поступить, т. е. если бы он отказался откровенно от всех безумий королевских предрассудков, если бы он честно принял новую истину и высшую справедливость, которую ему показывали, мы удивлялись бы его гению. Между тем вполне вероятно, что Людовик XVI, — человек не злой и не глупый, — мог видеть, хотя бы на одно мгновение, свое истинное положение так же ясно, как его видел бы со стороны беспристрастный философ. Во всяком случае, исторически и психологически это не невозможно. Часто, в минуты наших торжественных сомнений, мы хорошо про себя знаем, где находится неподвижная точка, несокрушимая вершина долга; но нам кажется, что между долгом настоящей минуты и этой слишком одинокой и слишком сверкающей вершиной расстояние таково, что было бы неблагоприятно пройти его сразу. И однако не показывает ли нам вся история человечества и весь опыт нашей собственной жизни, что правда всегда на стороне самой высокой вершины, что на нее волей-неволей приходится наконец взобраться, напрасно потеряв драгоценное время на средних выступях горы? Что такое мудрец, герой, великий человек, как не тот, кто один, впереди всех других, взобрался на пустынную вершину, которую все более или менее ясно видели снизу.

XXI

Нельзя, конечно, требовать от Людовика XVI, чтобы он был человеком этого порядка, человеком гениальным, хотя казалось бы, что человек, держащий в своих руках судьбу своих бесчисленных братьев, почти обязан быть гениальным. Не следует и предполагать, что лучшие из нас могли бы избежать его ошибок и, как следствие, его несчастий. Нет. Несомненно лишь одно — то, что ни одно из его несчастий не имело сверхчеловеческого происхождения, не было сверхъестественным или таинственно неизбежным. Они не исходили из другого мира, не были ниспосланы чудовищным божеством, неисповедимым и капризным. Они были порождены идеей новой справедливости, идеей, которая внезапно проснулась к жизни, хотя никогда не была вполне усыплена в разуме людей. А разве есть что-либо в мире более ободряющее, более близкое нам, более глубоко человеческое, чем идея справедливости? Конечно, с точки зрения личного спокойствия Людовика XVI, было досадно, что эта идея проснулась к жизни как раз в его царствование. Вот почти все, в чем он имел право упрекать судьбу, и большинство упреков, которые мы ей делаем, имеет такую же силу.

Во всем остальном мы с большой вероятностью можем допустить, что достаточно было одного проявления энергии, безусловной честности, бескорыстной и благородно-дальнозоркой мудрости, чтобы изменить течение

всех событий. Если бы бегство в Варенн, — которое однако было актом преступной двуличности и слабости, — было организовано несколько менее ребячески, менее нелепо, как это мог бы сделать всякий человек, привыкший к действительной жизни, — нет почти сомнения, что Людовик XVI не умер бы на эшафоте. Разве внушение божества, а не слепая угодливость перед Марией-Антуанетой заставило его доверить глупому, чванливому и неискреннему де-Ферзену все приготовления и руководство этим злополучным путешествием? Разве какая-то сила, полная великих тайн, а не его собственное легкомыслие, беспечность, бессознательность, какая-то апатичная и в то же время вызывающая покорность своей звезде, которую часто проявляют в опасности природы беззаботные и слабые, — разве не это все заставляло его при каждой смене лошадей высовывать голову из окна кареты, вследствие чего он был признан три или четыре раза? И разве в самый решительный час, в эту злополучную, бурную ночь в Варенне, которая является одной из тех исторических ночей, когда, казалось бы, судьба возвышается и царит над горизонтом, как несокрушимая гора, — разве и тогда мы не видим, что судьба спотыкается на каждом шагу, подобно ребенку, который ходит в первый раз и не знает, обо что он споткнется направо или налево, об этот ли белый камень, лежащий на дороге, или об тот пучок травы? Во время трагической остановки кареты среди непроглядной ночи, когда раздался страшный крик молодого Друэ: «Именем народа...» — достаточно было одного приказания, отданного королем в карете, одного удара бича, для того чтобы мы с вами не родились на свет, ибо тогда история мира приняла бы другое направление. А затем перед мэром, почтительным, недоумевающим, колеблющимся, ожидавшим только одного королевского слова, чтобы открыть все двери, и потом на постоялом дворе и в лавке Соса, этого честного деревенского лавочника, и наконец при прибытии Гогла и Шуазеля и их гусаров, приносивших спасение, — разве в эти минуты все не зависело двадцать раз от одного «да» или «нет», от одного шага, одного жеста, одного взгляда? Поставьте в положение французского короля десять человек, которых вы близко знаете, и вы точно сумеете предсказать исход их десяти судеб в такую ночь. Да, то была ночь позорная для судьбы, изобличающая ее бессилие. Никогда яснее не обнаруживалась вся несамостоятельность, вся внутренняя дряблость и растерянность этой великой, таинственной силы, которая в наши слишком покорные часы как будто тяготеет над всей нашей жизнью. Никогда не видели ее столь до конца обнаженной от ее заимствованных, пышных и обманчивых одежд, столь заплаканной, столь беспомощно сто раз кряду мятущейся от жизни к смерти, от смерти к жизни, и наконец, подобно испуганной женщине, бросающейся в объятия несчастного человека, несколько менее растерянного и нерешительного, чем она сама, для того чтобы до утра умолять его о каком-нибудь решении, о самом существовании, которое она могла бы обрести лишь в ясной мысли, лишь в сильной воле человеческой.

XXII

Однако это еще не вся правда. Полезно, конечно, смотреть на события с этой точки зрения, уменьшать таким образом роль судьбы, обращаться с нею, как с нерешительной, растерянной женщиной, которую следует ободрять и вести за собою. Такой образ мыслей внушает нам, в ожидании опасности для нас самих, чувство доверия, предприимчивость и мужество, без которых нельзя совершить ничего полезного. Но это не означает, что нет ничего другого, что всегда следует считаться только со своею волей и со своим разумом. Разум и воля, как привычные к победе воины, должны приучиться жить насчет тех, кто ведет с ними войну. Они должны приучиться к тому, чтобы питаться тем неведомым, которое над ними властвует. Нельзя подняться над уровнем человеческого счастья без сознания своей миссии, нельзя выйти за пределы будничных поступков иначе, как с твердой уверенностью, направляясь по хорошо известной тропе и продолжая при этом думать о еще неисследованных пространствах, через которые извивается эта тропа. Приучимся действовать так, как будто бы нам все было подчинено; но в то же время сохраним в душе мысль о готовности благородно покориться великим силам, которые нам встретятся. Необходимо, чтобы рука наша верила, что все было предвидено; но в то же время нужно, чтобы тайная, несокрушимая, неизменная мысль никогда не забывала, что все истинно-великое приходит почти всегда непредвиденно. Лишь непредвиденное, лишь неведомое исполняют то, чего мы никогда не дерзнули бы предпринять; но они приходят нам на помощь лишь тогда, когда находят в глубине нашего сердца им посвященный алтарь. Посмотрите, как много в своих необычайных поступках умеют предоставлять на волю случая люди наиболее одаренные могучей волей, вроде Наполеона. Те, которые лишены великих щедрых надежд, сами запирают случай на ключ, как больного ребенка. Другие же широко открывают перед ним бесконечные равнины, которых человек еще не был в силах исследовать, но при этом ни на мгновение не теряют его из виду.

XXIII

Судорожные моменты истории подобны морским бурям. Приходишь из глубины равнины, прибегаешь на морской берег, смотришь с высоты утеса, чего-то ждешь, с каким-то ребяческим страстным любопытством смотришь на огромную волну. И вот подходит одна волна, втрое выше и разъяреннее, чем другие. Она надвигается, как чудовище с прозрачными мышцами. Она быстро разворачивается от края горизонта, как бы неся с собой неотложное и решительное откровение. Она позади себя роет глубокую борозду, которая, без сомнения, выдаст одну из тайн океана. Но прозрачные, бездонные потоки набегают на другие прозрачные и бездонные потоки с той же равномерностью, как в безоблачные и безветренные дни беспечные, еле заметные струи. На их поверхности не возникает ни одно живое существо, ни одна травинка, ни один камешек.

Если бы что-нибудь могло смутить мудреца, который перестает быть мудрым, если обстоятельства, способные смутить разум, не зажигают ярче его удивления и не возбуждают сильнее его любопытства, то в этой самой французской революции можно было бы отыскать ни одну судьбу, бесконечно более мрачную, более подавляющую и необъяснимую, чем жребий Людовика XVI. Я говорю о жирондистах и, в особенности, об удивительном Вернье. Даже теперь, когда мы знаем все то, что от него скрывало будущее, когда мы почти догадываемся о цели, к которой стремилась инстинктивная идея этого исключительного века, даже теперь мы, по всей вероятности, не могли бы действовать мудрее и благороднее, чем действовал он. Во всяком случае, трудно было бы человеку, случайно брошенному в самый огонь беспредельной драмы, соединить более глубокий ум с более сильным характером. Тот прекрасный, незапятнанный призрак, то совершенное существо без страха, без задних мыслей, без заблуждений, без слабости, существо, которое мы иногда в глубине своего сердца создаем из наиболее чистых сил нашей души, из всей нашей мудрости, из всей нашей любви, даже оно охотно согласилось бы сесть рядом с Вернье на опустевших скамьях конвента, «над которыми, казалось, витала тень смерти», чтобы думать, действовать и говорить, как он. Он видел то, что по ту сторону трагической минуты было вечного и непогрешимого. Он оставался верным человечности и чувству прощения в те ужасные дни, когда человечность и чувство прощения казались злейшими врагами идеала справедливости, которому он принес все в жертву. И «в минуту великого и благородного сомнения он храбро шел прямо вперед бесконечно дальше того, что ему казалось благоразумным, осуществимым и справедливым». Смерть, насильственная, но не неожиданная, встретила его раньше, чем он совершил половину пути, чтобы показать нам, что весьма часто в этих странных поединках между человеком и роком следует думать не о том, чтобы спасти жизнь нашего тела, а о том, чтобы спасти жизнь наших прекраснейших чувств и лучших мыслей.

Какое мне дело до моих лучших чувств, если я больше не существую? — скажут одни. Что останется от меня, если для того, чтобы сохранить мою жизнь, все, что я люблю, должно погибнуть в моем сердце и в моей мысли? — ответят им другие. И разве вся нравственность, вся добродетель, весь человечески героизм не сводятся почти всегда к этому выбору?

XXIV

Но что же, наконец, представляет собой эта мудрость, о которой мы так часто говорим? Не станем пытаться определять ее слишком точно, ибо это значило бы заключить ее в оковы. Все те, кто пытались это сделать, напоминают человека, который потушил бы сперва свет для того, чтобы потом изучить природу света. Он найдет лишь почерневшую светильню и золу. «Мудрое слово, — замечает Жубер, — мудрое слово, сказанное ребенку, есть то, которое он всегда понимает и которого никто ему не объясняет». Примем это слово, как его принимает ребенок, для того, чтобы оно росло вместе с нами.

Скажем о мудрости то, что сестра Гадевийк, мистическая противница Рюисбрека Удивительного, сказала о любви: «Ее глубочайшая бездна является ее прекраснейшей формой». Не нужно, чтобы мудрость имела определенную форму. Красота ее должна быть так же изменчива, как красота пламени. Это не неподвижная богиня, всегда сидящая на своем троне. Это Минерва, которая нас сопровождает, которая вместе с нами поднимается и опускается, плачет и радуется. Вы будете истинным мудрецом лишь тогда, когда ваша мудрость будет непрерывно менять свои формы от вашего детства до могилы. Чем прекраснее и глубже смысл, который вы придаете слову «мудрец», тем более вы становитесь мудрым; и с каждой ступенью, на которую вы поднимаетесь по пути к мудрости, перед глазами души увеличивается пространство, которого мудрости никогда не дано будет пройти до конца.

XXV

Быть мудрым значит познавать себя самого. Но, едва достигнув поверхностного познания своего существа, убеждаешься, что истинная мудрость нечто еще более глубокое, чем познание. Увеличение сознания должно быть желанным лишь ради того все более и более возвышенного бессознательного, которое оно нам открывает. На вершинах этого нового бессознательного и находятся источники чистейшей мудрости. Все люди получают в наследство одинаковую долю несознанного; но одна часть этого несознанного лежит по эту, а другая — по ту сторону нормального сознания. Большинство людей не выходит за пределы первой полосы. Но влюбленные в мудрость не успокаиваются до тех пор, пока не найдут новых путей, ведущих ко второй. Если я люблю и достиг наиболее полного, возможного для человека сознания своей любви, любовь эта озарится бессознательным совсем другого порядка, чем то бессознательное, которое омрачает обыкновенную любовь. Последнее окутывает в нас животное, первое окружает в нас божество. Но оно осязательно окружает божество лишь тогда, когда мы потеряли чувство первого. Мы никогда не выходим из бессознательного, но мы можем бесконечно совершенствовать природу бессознательного, в которое погружены.

XXVI

Быть мудрым не значит обожать один свой разум и также не значит только приучать этот разум одерживать легкие победы над низшим инстинктом. Эти победы оставались бы бесплодными, если бы они не научали разум высшей покорности инстинкту другого рода, инстинкту души. Необходимо одерживать эти ежедневные победы лишь потому, что они позволяют все более свободно проявляться все более божественному инстинкту. Их цель заключена не в них самих. Они служат лишь к тому, чтобы уровнять путь судьбе нашей души, которая всегда есть судьба очищения и света.

XXVII

Разум открывает двери перед мудростью, но мудрость наиболее жизненная находится не в разуме. Разум запирает дверь перед злом, но лишь наша мудрость открывает на горизонте другую дверь перед добром. Разум обороняется, запрещает, отступает, исключает, уничтожает. Мудрость наступает, приводит в порядок, приближает, присовокупляет, увеличивает и создает. Мудрость скорее некоторый голод нашей души, чем порождение нашего разума. Она обитает выше разума. Поэтому истинной мудрости свойственно совершать тысячу поступков, которых разум не одобряет или одобряет только по истечении долгого времени. Таким образом мудрость однажды сказала разуму, что следует платить добром за зло и любить своих врагов. Разум, поднявшись в этот день надо всем, что есть самого возвышенного в его царстве, в конце концов допустил это. Но мудрость не удовлетворилась и, не будучи удовлетворенной, продолжает идти одна гораздо дальше в своих поисках.

XXVIII

Если бы мудрость слушалась только разума и если бы достаточно было, чтобы она торжествовала над советами инстинкта, она всегда была бы равна себе самой. Тогда существовала бы только одна мудрость, и человек мог бы осмотреть ее со всех сторон, ибо разум уже не раз обходил все свои владения.

Однако, несмотря на то, что в мудрости имеется множество неподвижных точек, ничто так не различно между собою, как атмосфера, окружающая мудрость Сократа и Христа, Аристиды и Марка Аврелия, Фенелона и Жана-Поля. Ничто не способно так всецело менять свой вид, как одно и то же событие, в один и тот же день упавшее на живые воды мудрости этих людей; но если бы оно упало на стоячие воды их разума, оно оставалось бы всегда подобным себе самому. Представьте себе, что Сократа и Христос встретили прелюбодейную жену. Разум их будет говорить почти одно и то же. Но мудрость их, по ту сторону слов и мыслей, будет делать движения, принадлежащие к двум различным мирам. Это различие требуется самой природой мудрости. Все мудрецы отправляются от одной точки, которая есть порог разума. Но они начинают удаляться друг от друга с той минуты, когда победы разума становятся несомненными, т. е. с той минуты, как они свободно проникают в область высшего непознаваемого.

XXIX

Существует огромная разница между словами: «Это благоразумно» и словами: «Это мудро». Благоразумное не всегда бывает мудрым, а мудрое в глазах слишком холодного разума никогда не кажется благоразумными. Так, например, разум порождает справедливость, мудрость же порождает доброту, которая, как заметил еще старый Плутарх, «простирается гораздо дальше, чем

справедливость». От чего зависит героизм, от разума или от мудрости? Можно сказать, что мудрость не что иное, как чувство бесконечного в применении к нашей нравственной жизни. Правда, разуму тоже прирождено чувство бесконечного, но в нем это чувство пребывает, как безжизненный факт. Разум не должен считаться с этим чувством жизни, будучи во всем обязан лишь самому себе, между тем как мудрость бывает мудрой лишь настолько, насколько бесконечное получает активное преобладание над всеми ее поступками.

В разуме нет любви, но в мудрости ее много. И самая возвышенная мудрость мало отличается от того, что есть чистейшего в любви. А любовь — самая божественная форма бесконечного; и в то же время, без сомнения, потому, что она божественна, она вместе с тем наиболее глубоко человечна. Быть может, следует поэтому сказать, что мудрость есть победа разума божественного над разумом человеческим?

XXX

Нельзя быть слишком благоразумным, но только одна мудрость в праве ссылаться на разум. Тот не мудрец, чей разум не научился повиноваться первому мановению любви. Что сделал бы Христос, что совершили бы герои, если бы их разум не умел подчиняться? Разве героический акт не переступает всегда за пределы разума? Однако кто решится утверждать, что герой не мудрее тех, кто не движется с места, потому что они послушны только своему разуму? Нужно без конца повторять: не разум, а любовь должна быть тем сосудом, в котором хранится истинная мудрость. Правда, разум растет у корней мудрости; но мудрость не есть цветок разума. Употребляя другое сравнение, можно сказать, что речь идет не о логической мудрости, которая является как бы внучкой разума, а о другой мудрости, которую можно бы назвать излюбленной сестрой любви.

Разум и любовь сначала борются между собой в душе, стремящейся к совершенству; но от мира, который наконец заключается между любовью и разумом, рождается мудрость. И этот мир бывает тем более глубоким, чем больше своих прав разум уступит любви.

XXXI

Мудрость — свет любви, а свет питается любовью. Чем любовь глубже, тем более она становится мудрой, и чем мудрость возвышеннее, тем более она приближается к любви. Любите, и вы станете мудрым; сделайте мудрым, и вы должны будете любить. Истинно можно любить, только становясь совершеннее, а совершенствоваться значит делаться более мудрым. Нет человека в мире, кто не улучшал бы чего-нибудь в своей душе с той минуты, как он полюбил другого человека, даже если речь идет только о любви будничной. И те, кто любят любовью постоянной, продолжают любить лишь потому, что продолжают совершенствоваться. Любовь питает мудрость, а

мудрость питает любовь; они образуют круг света, в центре которого любящие обнимаются с мудрыми. Мудрость и любовь неразлучны, и в раю Сведенборга супруга есть «любовь мудреца к мудрости».

XXXII

«Разум наш, — говорит Фенелон, — заключается лишь в наших ясных идеях». Но наша мудрость, — могли бы мы прибавить от себя, — т. е. все, что есть наилучшего в нашей душе и в нашем характере, заключается, главным образом, в тех наших идеях, которые еще не достигли полной ясности. Если руководиться в жизни только своими ясными идеями, то рискуешь сделаться мало достойным любви, мало достойным уважения. В сущности, всего менее ясны доводы, которыми мы убеждаем себя в необходимости быть добрым, справедливым, великодушным, и по поводу всего лелеять чувства и мысли наиболее благородные, какие только нам доступны... К счастью, чем больше мы приобретаем ясных идей, тем более научаемся уважать те, которые еще не достигли ясности. Следует стараться запастись возможно большим числом, как можно более ясных идей для того, чтобы разбудить в своей душе возможно большее число идей еще смутных. Ясные идеи направляют порою нашу внешнюю жизнь, но несомненно, что неясные находятся во главе нашей внутренней жизни; а жизнь видимая всегда в конце концов подчиняется той, которой мы не видим. Между тем от количества, качества и силы наших ясных идей зависит количество, качество и сила наших идей смутных; и весьма возможно, что большинство окончательных истин, которых мы так страстно ищем, терпеливо ожидают своего часа, затерянные в толпе наших смутных идей. Следует сокращать срок их ожидания. Каждая прекрасная ясная идея, которую мы в себе пробуждаем, всегда в свою очередь разбудит к жизни прекрасную смутную идею. И когда смутная идея, состарившись, сама достигнет ясности, — ибо не есть ли обыкновенно совершенная ясность идей признак их усталости? — она также разбудит от сна другую смутную идею, еще более прекрасную и возвышенную, чем была сама в своей тени. И возможно, что, пробираясь таким образом ощупью, без усталости, вдоль уснувших рядов, от одного к другому, одна из этих идей своей маленькой, почти еще невидимой рукой со временем случайно коснется великой истины.

XXXIII

Идеи ясные, идеи смутные, сердце, интеллект, воля, разум, душа, — вот слова, которые в сущности обозначают одно и то же, именно духовное богатство личности. Душа, без сомнения, не что иное, как наиболее прекрасное желание нашего интеллекта, а Бог, быть может, в свою очередь, не что иное, как самое прекрасное желание нашей души. Во всем этом столько темного, что в лучшем случае мы можем лишь пытаться разделить темноту при помощи резких черт, часто еще более черных, чем те плоскости, которые они пересекают. Познание самого себя является, быть может, единственно

приемлемым идеалом, который нам остается; но это познание, которое на первый взгляд зависит только от нашего разума, действительно ли оно от него зависит, и в какой степени? Человек самый совершенный, самый справедливый, самый правдивый, словом, самый нравственный, — не есть ли он тот, кто наиболее точно отдает себе отчет в своем положении во вселенной? Но кто может добросовестно верить, что он отдает себе такой отчет? И разве нравственность наиболее позитивная не простирает все свои корни в область мистически-бессознательного? Наиболее прекрасное желание нашего интеллекта лишь проходит через наш интеллект, и мы ошибаемся, полагая, что жатва собрана на дороге только потому, что ее везут по этой дороге. Самый ясный разум, как раз тогда, когда он исследует свои владения, на каждом шагу переступает через пределы этих владений.

Однако лишь при помощи интеллекта мы начинаем украшать это желание. Остальное не вполне зависит от нас; но это остальное приходит в движение лишь после того, как интеллект побуждает его двинуться в путь. Разум — старшее детище нашего интеллекта — спокойно садится на пороге нашей нравственной жизни после того, как интеллект распахнул двери в подземелье, где, пленные, дремлют живые инстинктивные силы нашего существа. Он ожидает со свечком в руке, и одно его присутствие делает этот порог недоступным всему, что еще не вполне соответствует природе света. Вдали, в тех областях, куда его лучи не проникают, продолжается темная жизнь. Разум этим не обеспокоен; он скорее этому рад. Он знает, что в глазах Бога, которого он жаждет, все то, что еще не перешагнуло через светлый порог — сны, мысли, даже поступки — не в силах ничего прибавить к идеальному существу, им образуемому, и не в силах ничего отнять от него. Назначение его пламени заключается в том, чтобы быть как можно более ясным, как можно дальше освещать и не покидать своего поста. Он остается спокойным, покуда волнуются лишь низшие инстинкты и сумерки. Но иногда среди проснувшихся пленниц оказываются силы более лучезарные, чем он сам, и они приближаются к выходу. Они распространяют свет более бесплотный, более рассеянный, более непостижимый, чем ясный и спокойный свет, защищаемый его рукой. Это сила любви, непостижимого блага, и еще другие силы, более таинственные, более бесконечные, просят дать им проход. Что делать? Если разум сел на порог раньше, чем он имел право занять это место, так как у него еще не было смелости постигнуть, что он не один на свете, он приходит в смущение, испытывает чувство страха и захлопывает двери. И если он потом решается их приоткрыть, то находит лишь кучку легкого пепла внизу темных ступеней.

Но если он остается сильным и непоколебимым, ибо все то, чего он еще не мог постигнуть, научило его по крайней мере тому, что никакой свет не опасен, что в жизни разума можно рисковать самым разумом ради более великого света, — то на пороге произойдет неизреченная смена одного светоча другим. Капли неведомого масла смешаются с маслом человеческой мудрости, и когда белые чужестранки пройдут мимо него, огонь его светоча, навсегда перерожденный, поднимется еще выше, еще могущественнее, еще чище среди колонн расширенного портала.

XXXIV

Покинем теперь одинокую мудрость и вернемся к той, которая направляется к могиле, посреди огромного полчища человеческих судеб. Разве можно утверждать, что судьба мудреца никогда не соприкасается с судьбою нечестивца или безумца? Напротив того, все жизни постоянно переплетаются между собою, и золотые нити обвиваются вокруг льняных нитей в ткани весьма многих событий. Есть страдания более медленные и менее страшные на вид, чем страдания Эдипа или Эльсинорского принца, страдания, которые не потупляют глаз перед взором справедливости, любви или истины. Те, которые говорят о преимуществах мудрости, бывают всего мудрее тогда, когда они искренно, без горечи и без гордости, сознают, что мудрость не наделяет своих верных слугителей почти ничем, чего не могли бы презреть люди невежественные или злые. Весьма часто близость мудреца мало меняет в том, что воспринимают окружающее, потому ли, что он пришел слишком поздно, или потому, что он прошел слишком быстро, так что не было настоящего соприкосновения, или, наконец, потому, что он должен был бороться с враждебными силами, скопившимися в слишком большом числе в течение слишком долгого времени. Мудрец не совершает внешних чудес; он спасает только то, что еще может быть спасено в силу обыкновенных законов жизни, и сам он легко может быть унесен великим беспощадным вихрем. Но даже в минуту гибели он в праве сказать себе, что погибает, не бывши в течение долгих недель и годов бессильным и отчаявшимся свидетелем гибели своей души, как это почти всегда бывает с другими. И затем, пойдем раз навсегда, что спасти кого-нибудь по законам истинной жизни, которая содержит в себе две жизни, не всегда значит вырвать его из рук смерти или избавить от внешних бедствий, а значит, главным образом, сделать его более счастливым, сделав его несколько лучшим. Спасти нравственно — вот в чем вся задача; и это как будто кажется чем-то мало важным, как, впрочем, все, что происходит на вершинах бытия. Разве каявшийся разбойник не был спасен не только в смысле христианства, но в самом совершенном смысле этого слова? Однако он в тот же час должен был умереть; но он умер вечно-счастливым, потому что в последние минуты жизни был любим, и потому что существо беспредельно-мудрое сумело показать ему, что душа его не была бесполезна, что она также была добра и не прошла по земле незамеченной...

XXXV

По мере того, как мы спускаемся по ступеням жизни, мы в то же время нисходим к тайне все более многочисленных скорбей и увеличивающегося бессилия. Мы видим тогда, что множество душ вокруг нас прозябает лишь потому, что они сами себя считают бесполезными и уверены, что никто никогда на них не взглянул и что в них нет ничего, за что бы их могли полюбить. Но разве для мудреца не наступает час, когда он видит, оправдывает и любит всякую живущую душу, хотя бы лишь за то, что она одарена

таинственным даром бытия? Не наступает ли наконец час, когда мудрец прозревает все силы, все истины и все добродетели на дне всех слабостей, всех пороков и всех неправд? Светлый и благословенный час, когда злоба кажется не чем иным, как добротой, потерявшей своего путеводителя, измена — не чем иным, как честностью, потерявшей дорогу к счастью, а ненависть — не чем иным, как любовью, раскрывающей со скорбью дверь своей гробницы. Вот тогда-то рассказ о кающемся разбойнике становится сам собою повестью всех тех, кто пришел в соприкосновение с человеком праведным. И в душе самого униженного из людей, кто таким образом был спасен одним взглядом, одним словом, одним молчанием, истинное счастье, уже неподвластное судьбе, забудет с наступлением ночи, как это происходило в душе Сократа, что смертельная чаша была осушена до заката солнца.

XXXVI

Впрочем, внутренняя жизнь, быть может, не есть то, что обыкновенно думают. Существует столько же родов внутренней жизни, сколько и внешней. В эти тихие владения самый малый проникает так же легко, как и самый великий; и вход туда ведет не всегда через врата разума. Весьма часто случается, что много знающий напрасно стучится в эти двери и что ничего не знающий отвечает ему изнутри. Нет сомнения, что самая верная, самая прекрасная и устойчивая внутренняя жизнь есть та, которую сознание медленно воздвигает в себе самом с помощью самых светлых элементов нашей души. Мудрец тот, кто научается поддерживать эту внутреннюю жизнь всем тем, что приносит ему каждодневный случай. Мудрец тот, в чью душу разочарование или измена нисходит лишь с тем, чтобы сделать самую мудрость более чистой. Мудрец тот, в ком само зло вынуждено поддерживать костер любви. Мудрец тот, кто привык видеть в своих страданиях лишь тот свет, который они распространяют в сердце, и кто никогда не смотрит на тень, отбрасываемую страданиями на тех, кто их причинит. Но еще более мудр тот, в ком и радости и печали не только увеличивают сознание, но в то же время открывают, что есть еще нечто высшее, чем само сознание. Он достигает вершин внутренней жизни, вершин, откуда видны сверху вниз освещающие ее огни. Но это выпадает на долю лишь незначительного меньшинства, и счастье достижимо в долинах менее знойных, где колеблются омраченные корни этих огней. Есть темные существования, которые также находят себе убежище. Есть внутренние жизни инстинктивные. Есть души лишённые инициативы и разума, которые никогда не найдут тропинки, нисходящей к ним самим, которые никогда не увидят, чем они владеют в этом убежище; но они тем не менее поступают совершенно так же, как и те души, разум которых взвесил все свои сокровища. Существуют люди, которые желают лишь добра, не ведая, что это единственная неподвижная звезда среди самых возвышенных мыслей, и не зная, почему они его желают. Между тем каждая внутренняя жизнь начинается не столько в ту минуту, когда развивается разум, сколько в ту, когда душа становится доброй. Странно, что нельзя приобрести внутренней жизни, живя во зле. Тот, кто

совсем лишен благородства души, лишен также и внутренней жизни. Он может понимать себя, он может знать, почему он злой, но у него никогда не будет ни той силы, ни того убежища, ни того сокровища невидимых удовлетворений, которыми обладает всякий, могущий без страха проникнуть в свое сердце. Внутренняя жизнь создается лишь известным душевным счастьем, а душа бывает счастливой лишь тогда, когда может любить в себе самой нечто чистое. Иногда она обманывается в своем выборе, но, даже обманутая, она будет счастливее, чем душа, у которой не было случая для выбора.

XXXVII

Таким образом мы уже спасаем человека, если заставляем его любить зло несколько менее, чем он его любил; этим мы помогаем ему приступить в глубине души к возведению убежища, о которое судьба притупит свое оружие. Убежище это будет памятником или сознания, или любви — что безразлично, так как любовь есть сознание, которое в темноте еще ищет себя, между тем как истинное сознание есть любовь, которая наконец нашла себя в свете. Душа же зажигает внутренний огонь своей радости в самой глубине этого убежища. Радость души, прогоняющей печаль, которую оставляет за собой злая судьба, подобно тому, как естественный огонь уничтожает влияние царящих на земле болезней, — эта радость души не похожа на другие радости. Она не есть следствие ни внешней удачи ни удовлетворенного самолюбия, ибо под удовлетворением самолюбия, которое уменьшается по мере того, как душа становится совершенной, таится радость чистой любви, которая растет по мере того, как душа становится благороднее. Нет, эта радость порождается не гордостью, и душа чувствует себя счастливой не потому, что она может улыбаться своей красоте. Правда, душа, до некоторой степени познавшая себя, в праве знать, что она прекрасна. Но все, что она слишком охотно прибавляет к сознанию красоты, она, быть может, отнимает от бессознательной любви. Первый же долг открывшего себя сознания заключается в том, чтобы научить нас уважать бессознательное, еще не желающее открыться. Но та радость, о которой я говорю, не отнимает от любви того, что она прибавляет к сознанию. Наоборот, только в ней одной сознание питается любовью, между тем как любовь увеличивается от сознания. Дух, который совершенствуется, вкушает радости, недостижимые для счастливого тела; но душа, когда она становится лучшей, вкушает радости, не всегда доступная совершенствующемуся духу. Правда, что дух, совершенствуясь, и душа, становясь лучше, обыкновенно вместе содействуют укреплению внутреннего здания. Но бывает также, что они действуют порознь, и что две воздвигаемые ими ограды ничем не соединены. Если бы представился такой случай и существо, всего сильнее любимое мною на свете, пришло ко мне спросить совета, какой следует сделать выбор и какое из двух убежищ наиболее глубокое, неприступное и отрадное, я бы посоветовал ему приютить свою судьбу в убежище души, которая стремится к совершенству.

XXXVIII

Спросим: разве мудрец никогда не будет страдать? Никакая гроза не омрачит неба, под которым он живет? Никто никогда не расставит перед ним сети? Его жена и его друзья никогда не изменят ему? То, что он считал благородным, никогда не окажется низким? Его отец, его мать, его дети, его братья никогда не умрут, как другие люди? Все пути, которыми к нам проникает печаль, всегда ли будут защищены ангелами? Но разве Христос не плакал перед гробницей Лазаря? И разве Марк Аврелий не страдал между сыном Коммодом, в котором уже обнаруживался зверь, и своей женой Фаустиной, которую он любил и которая его не любила? И разве Павел-Эмилиий, столь же мудрый, как Тимoleon, не стонал под рукою рока, когда старший его сын умер за пять дней до его триумфального въезда в Рим, а младший три дня спустя? В чем же спасительность убежища, которое мудрость предоставляет счастью? Должны ли мы зачеркнуть все то, что сказали раньше, и причислить мудрость ко всем другим иллюзиям, которыми душа человека пытается оправдать в глазах разума те свои желания, которые опыт почти всегда признает неразумными?

XXXIX

В действительности мудрец знает также и страдания. Он страдает, и страдания становятся одним из элементов мудрости. Он, быть может, страдает даже больше, чем другие, потому что сущность его более сложная. Он больше страдает, потому что чем менее человек одинок, тем он больше страдает, и чем более человек мудр, тем менее ему кажется, что он одинок. Он будет страдать в своем теле, в своем сердце и в своем духе, потому что есть части тела, сердца и духа, которых никакая мудрость мира не может отвоевать у судьбы. Поэтому речь идет не о том, чтобы избегать страданий, а о том, чтобы избегать уныния и цепей, налагаемых страданием на тех, кто принимает его, как властелина, а не как вестника, посланного кем-то более значительным и еще скрытым от наших глаз за поворотом пути. Нет сомнения, что мудрец, как и его сосед, вскочит с ложа, разбуженный ударами в дверь, которыми нежеланный вестник потрясет стены его дома. Он обязан будет сойти к нему, он должен будет говорить с ним; но, говоря с ним, он не раз будет устремлять взор вдаль через плечо утреннего несчастья, чтобы разглядеть в пыли, на далеком горизонте, великую идею, которой, быть может, несчастье предшествует. В сущности, если подумать об этом в минуты счастья, зло, которым рок может нас неожиданно поразить, кажется нам чем-то маловажным. Я согласен признать, что, когда зло уже настанет, отношение изменится. Но тем не менее несомненно, что, если бы оно захотело потушить в нас постоянный очаг мужества, оно должно было бы окончательно развенчать в глубине нашего сердца все, что мы любим, все, чему удивляемся, все, перед кем преклоняемся. И какой же внешней силе удастся когда-нибудь развенчать чувство или идею, если мы сами этого не сделали? За исключением страданий физических, разве существует какая-нибудь боль,

которая могла бы нас охватить иначе, как с помощью наших же мыслей? А кто же снабжает наши мысли оружием, которым они или нападают на нас, или защищают? Само страдание причиняет нам мало боли, но мы бесконечно страдаем в зависимости от того, как принимаем страдания. «Он был несчастен по собственной вине, — говорит Анатоль Франс, повествуя об одном из тех, кто никогда не заглядывает за плечо грубого вестника, — он был несчастен по собственной вине, ибо все истинные бедствия внутренние и причиняются нами самими. Мы заблуждаемся, думая, что они приходят извне. Мы их образуем внутри себя из нашей собственной сущности».

XL

Действенная сила событий зависит исключительно от того, под каким углом зрения мы рассматриваем это событие. Соедините десять человек, которые, подобно Павлу-Эмилию, потеряли двух своих сыновей в самый радостный час своей жизни, и вы будете иметь десять печалей, не похожих одна на другую. Несчастье проникает в нас, но совершает лишь то, что ему приказывают совершить. Оно сеет, оно опустошает, оно собирает жатву, смотря по тому, какой приказ оно нашло начертанным на нашем пороге. Если двое сыновей моего соседа, — человека посредственного, — погибнут как раз в тот день, когда судьба осуществила все желания их отца, все произойдет в темноте, ни одна искра не вспыхнет, и несчастье, само почти объятное скукой, оставит позади себя лишь кучку бесцветного пепла. Мне нет надобности повидать моего соседа. Я наперед знаю все те ничтожные чувства, которые принесло ему горе, ибо горе возвращает нам лишь то, что наша душа доверила ему в дни счастья.

XLI

Но вот то же самое горе поразило Павла-Эмилия. Устрашенный Рим, еще полный откликов триумфального шествия, ждет в страхе. Что будет? Неужели боги шлют вызов мудрецу, и что мудрец ответит богам? Как справился герой с горем, или как горе справилось с героем? В такие минуты человечество как будто сознает, что судьба еще раз испытывает силу своей руки, и что нечто изменится для него, если эта рука не сможет потрясти того, на что она обрушилась. И смотрите, с какой тревогой оно в подобных случаях ищет в глазах своих вождей лозунг против невидимой силы.

Но вот Павел-Эмилий выступает перед римским народом, который он созвал. Он хранит торжественный вид и обращается к народу с такими словами: «Я никогда не испытывал страха перед тем, что приходит от людей. Что же касается того, что ниспосылается богами, то я всего более боялся крайнего непостоянства судьбы и неисчерпаемого разнообразия ее ударов. В особенности я боялся в течение этой войны, когда судьба, точно попутный ветер, благоприятствовала всем моим начинаниям. Я каждый миг ожидал, что она ниспровергнет мое счастье и разразится какой-нибудь грозой. Да, в один

день я переплыл через Ионийское море от Бриндизи до Корциры, а из Корциры я на пятые сутки прибыл в Дельфы, где принес жертву Аполлону. Прошло еще пять дней, и мы вступили в Македонию, где я совершил над войском обряд очищения, как установлено обычаем. Потом я немедленно приступил к войне и пятнадцать дней спустя благополучно ее окончил одной из самых славных побед. Это быстрое следование удач внушало мне вполне понятное недоверие к судьбе. Спокойный относительно врагов и не ожидая с этой стороны никакой опасности, я опасался, что непостоянство богини отразится на нашем обратном пути, когда я шел во главе такого войска, столь радостно победного, везя неисчислимую добычу и пленных королей. Но, прибыв сюда без малейшего приключения и видя город, объятый ликованием среди празднеств и жертвоприношений, я тем не менее продолжал опасаться рока. Я знал, что он не уделяет нам ни одной из своих милостей, которые не были бы смешаны с горем, и что зависть его сопровождает все наши великие успехи. Моя душа, полная этой мучительной тревоги и опасений за будущее Рима, была избавлена от страха в ту минуту, когда мой собственный дом погиб в ужасном крушении, когда в эти священные дни я должен был одним за другим собственными руками похоронить двух своих сыновей, подававших столь блестящие надежды, единственных, которых я прочил себе в наследники. Теперь я больше не боюсь великих опасностей и твердо верю, что ваше благополучие укреплено на долгое время. Судьба достаточно отомщена за мои успехи бедствиями, который она обрушила на меня самого. На триумфаторе, равно как и на влекомом за триумфом пленнике, она одинаково проявила разительный пример человеческой немощности, с тою, впрочем, разницей, что у побежденного Персея остались его дети, между тем как я, Павел-Эмилий, потерял своих».

XLII

Вот каким образом римлянин встретил одно из величайших бедствий, какие лишь могут постигнуть человека в минуту, когда он всего более чувствителен к страданиям, т. е. в минуту его величайшего счастья. Нет ли и других способов? Есть, ибо существует столько же способов встречать горе, сколько есть на земле благородных мыслей и чувств. И каждое из этих чувств, каждая из этих мыслей вооружена волшебной палочкой, которая меняет одежду и образ страданий, пришедших к нашему порогу. Иов сказал, бы: «Бог дал, Бог отобрал — да будет благословенно Его святое имя», а Марк Аврелий, быть может, сказал бы: «Если мне не дано более любить тех, кого я любил больше всего, то это, без сомнения, для того, чтобы научить меня любить тех, кого я до сих пор любил недостаточно».

XLIII

Не следует, однако, думать, что они таким образом утешают себя пустыми словами и что все эти слова плохо скрывают рану, тем более болезненную, чем тщательнее они хотели ее скрыть. Прежде всего лучше утешать себя пустыми

словами, чем совсем не знать утешений. А затем, если и допустить, что все эти слова — только иллюзия, то следует в то же время по справедливости допустить, что иллюзия — единственное благо, которым может владеть душа, ибо во имя какой другой иллюзии мы присвоили бы себе право пренебрегать иллюзиями?

Конечно, когда все эти великие мудрецы, о которых я говорил, вернутся вечером в свой опустевший дом и увидят у очага место, на которое их дети больше не будут садиться, они отчасти узнают страдание, которое всецело испытывают те, кому страдание не принесло с собой ни одной благородной мысли. Мы бы унизили прекрасную мысль или прекрасное чувство, приписав им силу, которой они не обладают. Есть внешние слезы, которых они не в силах осушить, есть священные часы, когда мудрость еще не утешает. Но, скажем в последний раз, речь идет не о том, чтобы избегать страданий, ибо страдания всегда будут неизбежны. Речь идет о том, чтобы делать выбор между тем, что страдания нам приносят. Скажут, быть может, что этот выбор между тем, чего наш глаз не видит, есть нечто маловажное, не могущее устранить ни одного из страданий, причина которых всегда перед нашими глазами. Но разве все наши духовные радости, которые гораздо глубже всех наших радостей телесных или умственных, не состоят также из вещей маловажных в этом же роде? Если мы переведем на слова то чувство, которое толкает героя на благородный поступок, то и оно в сущности покажется нам чем-то маловажным. Чем-то маловажным была также идея, которую Катон Младший составил себе о долге, если мы сравним эту идею с огромной смутой целой империи и с кровавой смертью, которую она повлекла за собой. И однако не есть ли она нечто более великое, чем эта смута, и не возвышается ли она над смертью, которую она причинила? И еще в наши дни, разве не Катон прав? Чья другая жизнь, благодаря этой идее, которая до того чужда человеческому разуму, что он не смог бы даже взвесить ее на своих весах, — чья другая жизнь была глубже и благороднее счастливой, чем жизнь Катона?

Все, что облагораживает наше существование, все, что мы уважаем в себе самих, мотивы нашей добродетели и те обусловленные чувством границы, которые каждый полагает своим порокам и даже своим преступлениям, — все это кажется в действительности чем-то маловажным, когда разум требует у нас в этом отчета. Однако тут заключены законы, управляющие жизнью каждого из нас. И кто бы мог жить, не подчиняясь многим из тех истин, которые не подчинены разуму? Все, не исключая самых преступных, подчиняются одной из этих истин, и чем больше число истин, которым они подчиняются, тем не менее человек преступен. Убийца скажет вам: да, я убиваю, но я не краду. Вор скажет, что он вор, но не предатель, а предатель скажет, что он не предаст своего брата. Таким образом всякий прячется за последнюю нравственную красоту, которая у него остается. У наиболее падшего из людей всегда остается в душе священное место, нечто вроде убежища, где он находит ключ чистой воды, где он черпает силы, необходимые для того, чтобы продолжать жить. И тут, как и повсюду, утешителем является не разум, который также должен остановиться перед порогом последнего убежища вора или предателя, как он

останавливается перед порогом жертвы Антигоны, покорности Иова или любви Марка Аврелия. Разум стоит неподвижно, не отдает себе больше отчета, ничего не одобряет, и тем не менее он чувствует, что если бы он стал возмущаться, то его возмущение было бы направлено против света, которого он сам является только видимой тенью, ибо посреди этих сил разум похож на человека, который стоял бы в ярком солнечном свете. Он видит свою тень, которая простирается у его ног; он может заставить ее двигаться вперед или назад, он может изменить ее очертания, нагибаясь или выпрямляясь, но эта тень — единственное, над чем он властвует, чем владеет, чем может повелевать в окружающем его ослепительном свете. И наш разум движется точно так же в лучах высшего источника света, и тень, отбрасываемая им, не имеет никакого влияния на этот неподвижный свет. Как ни велико расстояние между Марком Аврелием и предателем, они из одного и того же источника черпают мистическую воду, дающую жизнь их душе, и этот источник обретается не в разуме.

Достоин удивления, что вся наша нравственная жизнь расположена не там, где обретается разум, и тот, кто стал бы жить только согласно разуму, был бы самым жалким из людей. Нет ни одной добродетели, ни одного доброго поступка, ни одной благородной мысли, почти все корни которых не росли бы в стороне от того, что может быть понято и объяснено. Однако гордость человека требовала бы, чтобы вся добродетель, вся внутренняя жизнь, вся радость заключались в единственной силе, которой он действительно владеет, единственной, на которую он может вполне положиться, — т. е. в силе разума. Но, как бы он к этому ни стремился, малейшее событие жизни вскоре ему покажет, что убежища следует искать не в разуме, ибо нет сомнения, что мы представляем собою нечто другое, чем существа просто разумные.

XLIV

Но если не наш разум делает выбор из того, что приносит нам страдание, то кто же делает его? Этот выбор делает наше прошлое, которое образовало нашу душу. Нельзя в один день посеять и собрать плоды мудрости. Если я не жил, как Павел-Эмилий, то ни одна из мыслей, утешавших его, меня не утешит, хотя бы все мудрецы мира сошлись, чтобы повторять их мне без конца. Ангелы, проходящие, чтобы осушить наши слезы, принимают точно очертание и образ того, что мы говорили, что мы думали, и в особенности того, что мы сделали накануне бедствия. Когда Томас Карлейль, который был мудрецом, хотя и болезненным, потерял после сорока лет совместной жизни свою жену Дженни Велш, — существо глубоко им любимое, — его печаль с невероятной точностью приняла формы прошлого их любви. И вот почему она была величава, беспредельна, мучительна и в то же время утешительна, безбрежна в своих упреках, в своей нежности, в своих жалобах, подобно молитве или размышлению на берегу затуманенного моря. В страданиях нашего сердца воспроизводится с благостной или злорадной верностью синтетический образ всех наших исчезнувших дней. И если воспоминания моей жизни лишены

благородства и света, то с наступлением минуты, которая всегда наступает, когда воспоминания мои превратятся в слезы, эти слезы также будут лишены благородства и света. Наши слезы сами по себе бесцветны для того, чтобы они могли отражать прошлое нашей души, и то, что они отражают, составляет наше наказание или нашу награду. Есть только одно на свете, что никогда не превращается в страдание, — это сделанное нами добро. Когда мы теряем любимое существо, воспоминание о минутах, когда мы его недостаточно любили, заставляет нас плакать слезами, которые не приносят облегчения. Если же мы постоянно улыбались покинувшему нас существу, мы не найдем в своей печали ничего умаляющего и мы будем плакать слезами, которые сохранят отчасти нежность вспоминаемых ласк и добродетелей. Ибо воспоминание об истинной любви, которая есть один из актов добродетели, заключающий в себе все остальные, извлекает из наших глаз такие же благодетельные слезы, как те прекрасные часы, которыми порождены эти воспоминания. Ничто так не справедливо, как страдание. И вся наша жизнь ждет, чтобы пробил его час, как форма ожидает расплавленной бронзы для того, чтобы выплатить нам заслуженную нами плату.

XLV

И тут, у самого крепкого столба, поддерживающего трон судьбы, мы видим, насколько ее власть ограничена над теми, кто стал совершеннее, чем судьба. Судьба пребывает до сих пор в состоянии варварства. Она не равна по развитию многим людям. Она выбирает свое оружие в обыкновенной жизни, и оружие это устарело. Она нападает на нас извне, как нападала во времена Эдипа. Она пускает стрелы прямо перед собой, подобно слепому стрелку. Когда же эти стрелы должны уклониться несколько кверху, чтобы достигнуть цели, они бессильно падают на землю. Страдания, жалобы, слезы, печаль, — таковы похожие между собой названия, которые означают различную сущность. Если бы мы захотели проникнуть в душу этих слов, то увидели бы, что мы так называем лишь следы своих заблуждений. И там, где наши заблуждения были благородны, — ибо бывают благородные заблуждения, как бывают ничтожные добродетели, — наше горе будет ближе к истинному счастью, нежели счастье тех, которые были счастливы, не умножив своего сознания. Неужели вы думаете, что Карлейль согласился бы поменяться своим страданием, которое распускалось в его душе, как огромный, нежный цветок, с супружеским счастьем, лишенным горизонтов и света, самого счастливого из его соседей в Чельси? И разве печаль Эрнеста Ренана, потерявшего свою сестру Генриету, не отраднее для души, чем отсутствие печали у тысячи людей, которые не любили своих сестер? Кто более достоин сожаления, тот ли, кто по вечерам плачет на берегу беспредельного моря, или кто без причины всю жизнь улыбается в своей тесной каморке? «Счастье, горе» — если бы мы могли на минуту уйти от себя самих и отведать печаль героя, многие ли из нас без сожаления вернулись бы к своему мелкому счастью?

Итак, считать ли доказанным, что счастье или горе, даже когда оно

приходит извне, существует лишь в нас самих? Все, что нас окружает, становится ангелом или демоном, смотря по природе нашего сердца. Жанна д'Арк слышит голоса святых, а Макбет голоса ведьм, и оба слышат один и тот же голос. Рок, на который мы так охотно жалуемся, быть может, совсем не то, что мы думаем. У него нет другого оружия, кроме того, которым мы его сами снабжаем. Он не бывает ни справедлив ни несправедлив, он никогда не произносит приговоров. То, что мы принимаем за божество, есть лишь переодетый вестник. Он лишь в известные дни нашей жизни предупреждает нас, что вскоре пробьет час, когда мы должны будем судить сами себя.

XLVI

Правда, люди второго порядка сами себя не судят. И потому, что они отказываются судить самих себя, они бывают судимы случаем. Они подчинены почти неизменной судьбе, ибо судьба меняет свою природу лишь согласно с приговором, который человек произнес над самим собой. Вместо того, чтобы заставить событие измениться, они нравственно сами меняются при первом столкновении с обстоятельствами. Они немедленно принимают формы несчастья, на которое жалуются, к тому же формы наиболее бедные и изношенные. Все, что с ними случается, принимает запах рока. Для одного роком становится его профессия, для другого приютившая его дружба, для третьего встретившаяся возлюбленная. В их представлении случай и рок являются двумя тождественными терминами, а случай редко бывает благоприятным роком. Все то место в нас, которое не занято силой нашей души, немедленно заполняется враждебной силой. Всякая пустота в сердце или в разуме становится источником пагубных влияний. Офелия Шекспира и Маргарита Гете подчинены року, потому что они настолько хрупки, что нельзя в их присутствии сделать движение, которое не превратилось бы в движение рока. Но если бы Маргарита или Офелия обладали частицею той силы, которая воодушевляла Антигону Софокла, разве они не изменили бы не только свою собственную судьбу, но еще судьбу Гамлета и Фауста? И если бы венецианский мавр, вместо того, чтобы жениться на Дездемоне, взял в жены Паулину Корнелия, думаете ли вы, что при одинаковых обстоятельствах судьба Дездемоны смела бы хотя на мгновение подкрасться к просветленной любви Паулины? Где же скрывалась их черная судьба? В их теле или в их душе? И если правда, что тело иногда не в состоянии бывает умножить свои силы, то разве то же самое бывает с душой? Будем осмотрительны: по отношению к большинству людей мыслим только истинный рок, т. е. такой, который в праве был бы сказать человеку: «отныне твоя душа не сможет больше ни крепнуть ни расти». Но разве существует рок, который в праве так говорить с нами?

XLVII

Однако добродетель часто бывает наказана, и собственная сила души часто иногда обрушивается на нее несчастье. Чем больше мы любим, тем большая часть

души уязвима для благородной скорби. Но мудрец охотно расширят эту столь прекрасную часть души.

Да, следует признать, что рок не всегда пребывает на дне своих сумерек. В известные часы ему нужны более чистые жертвы, которые он ловит, просовывая свои огромные, ледяные руки в область света. Я только что произнес трагическое имя Антигоны, и мне, без сомнения, скажут: «вот, несмотря на силу ее души, жертва рока, которую вы тщетно искали»... Нельзя с этим не согласиться. Антигона сделалась жертвой холодного божества, потому что душа ее была втрое сильнее, чем душа обыкновенной женщины. Она погибла потому, что рок поставил ее в такое положение, что она обязана была сделать выбор между смертью и тем, что она считала своим самым священным долгом сестры. Она вдруг поставлена была между смертью и любовью, к тому же любовью самой чистой и бескорыстной, любовью к призраку, которого она никогда не увидит на земле... Почему же рок мог загнать ее в этот пагубный тупик, который образовали за ней смерть и долг? Единственно потому, что ее душа, более возвышенная, чем другие души, увидела перед собой эту неперешагаемую стену долга, которой Исмена, ее слабая сестра, не замечает даже тогда, когда ей на нее указывают. В одно и то же время, когда они обе стоят у порога дворца, одни и те же голоса звучат вокруг них. Антигона прислушивается только к голосу, доносящемуся сверху, и вот почему она умирает. Исмена же даже не подозревает, что есть другие голоса, кроме того, что доносится снизу, и вот почему она избегает смерти. Наделите душу Антигоны частицей того бессилия, которого столько в душе Офелии или Маргариты, и рок счел бы бесполезным призвать смерть в ту минуту, когда дочь Эдипа появляется под портиком дворца Креона. Таким образом рок мог стать властелином ее души только потому, что эта душа была сильна.

Все это несомненно, и в этом заключается утешение праведника, героя и мудреца. Рок властен над ними лишь при помощи добра, которое он заставляет их делать. Все другие люди похожи на города со ста открытыми воротами, через которые он проникает. Но мудрец — это город со всех сторон замкнутый, имеющий лишь одни ворота, озаренные светом; и рок может открыть их лишь после того, как ему удалось заставить любовь постучаться в эти ворота. Других людей рок заставляет сделать все, что ни захочет. А рок, когда чувствует себя свободным, хочет только зла. Но если он замыслил овладеть праведником, ему необходимо подумать о добре. Тут орудием нападения служит ему не только мрак. Праведник защищен от мрака своим светом, и только свет более сильный может победить его. Рок тогда вынужден стать более прекрасным, чем его жертва. Обыкновенных людей он ставит между страданием и чужим горем; но мудреца и героя он может поймать, лишь поставив их между личным страданием и чужим счастьем. На первых он нападает при помощи всего, что уродливо, но последних он может настичь лишь при помощи того, что всего прекраснее в мире. Против одних у него заготовлена тысяча оружий, и даже камни мостовой превращаются в эти оружия. Но на других он может напасть, лишь вооружившись неотразимым мечом. Это и есть пылающий меч жертвы и долга. Повесть об Антигоне исчерпывает собою всю повесть о власти рока над

мудрецом. Христос, умирающий ради нас, Курций, бросающийся в бездну, Сократ, отказывающийся молчать, сестра милосердия, угасающая у постели больного, скромный прохожий, погибающий, чтобы спасти гибнущего прохожего, — все они должны были сделать выбор и все несут на одном и том же месте славную рану Антигоны. Несомненно, что и в лучах света таятся прекрасные опасности, и тому, кто боится жертвы, не безопасно быть мудрым. Но боящиеся жертвы, когда пробил великий час, недостойны, быть может, называться мудрыми.

XLVIII

Когда мы произносим слово «рок», то каждый представляет себе нечто мрачное, ужасающее и смертельное. В глубине человеческой мысли рок не что иное, как путь, ведущий к смерти. В большинстве случаев это только имя, которое дают смерти, еще не наступившей. Это смерть, прозреваемая в будущем, и тень, отбрасываемая смертью на жизнь. «Нельзя уйти от своей судьбы», — говорим мы, например, думая о смерти, ожидающей путешественника на повороте дороги. Но если бы путешественник повстречался со счастьем, мы не стали бы говорить о роке или не говорили бы о нем, как о том же божестве. Однако разве невозможно, чтобы тот, кто совершает путь жизни, счастье, большее, чем горе, и более важное, чем смерть? Разве невозможно, чтобы он повстречал счастье, которого мы не видим, ибо счастье по природе своей менее явно, чем горе, и становится менее видимым по мере того, как оно растет? Но всего этого мы не принимаем в расчет. На какой-нибудь жалкий несчастный случай сбегается вся деревня, весь город. Но если то был поцелуй, или луч красоты, поразившей наш глаз, или луч любви, осветившей наше сердце, никто на нас не обратит внимания. И однако поцелуй может так же причинить нам радость, как ушиб может причинить боль. Мы несправедливы, мы никогда не делаем рок причастным к радости, и если мы не соединяем его имя со смертью, то потому, что соединяем его с бедствием большим, чем сама смерть.

XLIX

Если я расскажу вам о роке, преследовавшем Эдипа, Жанну д'Арк и Агамемнона, то вы не узнаете жизни этих трех людей, а увидите лишь последние тропинки, которые вели к концу. Вы убеждаете себя, что судьба их не была счастливой, потому что их смерть не была счастливой. Но вы забываете, что смерть никогда не кажется счастьем в глазах людей, кто еще не умирает. А между тем мы всегда так судим о жизни. Нам кажется, что смерть поглощает все, и если тридцать лет счастья завершаются смертью от несчастного случая, то нам кажется, что все тридцать лет исчезли в темноте одного мучительного часа.

L

Мы неправы, связывая таким образом рок со смертью или с несчастьем. Когда наконец откажемся мы от мысли, что смерть важнее, чем жизнь, и горе значительнее, чем счастье? Почему, обсуждая чью-либо судьбу, мы смотрим всегда в сторону слез, а не в сторону улыбок? Кто сказал нам, что жизнь надо измерять мерилom смерти, а не наоборот, смерть мерилom жизни? Мы сочувствуем судьбе Сократа, Дункана, Антигоны, Жанны д'Арк и многих других праведных людей, потому что смерть их была неожиданная и жестокая, и мы говорим себе, что ни мудрость ни добродетель не в силах обезоружить несчастья. Но, во-первых, тот не мудр и не праведен, кто в мудрости и праведности ищет что-либо другое, кроме самой мудрости и самой праведности. И затем, по какому праву мы сводим целое существование к моменту смерти? Почему вы говорите мне, что мудрость и добродетель Антигоны и Сократа принесли им несчастье, и указываете при этом на их горестный конец? Разве смерть занимает в жизни больше места, чем рождение? И однако, взвешивая судьбу мудреца, вы не принимаете в расчет его рождения. Мы счастливы или несчастны в зависимости от того, что мы совершаем между рождением и смертью. Не в момент смерти, а в днях и годах, ей предшествующих, заключены счастье и горе человека и его действительный рок.

Мы рассуждаем почти так, как если бы мудрец, о чьей ужасной смерти вам повествует история, провел всю свою жизнь в предвидении мучительного конца, уготованного его мудрости. В действительности же мудрец менее обеспокоен мыслью о смерти, чем человек порочный. Сократ не опасался, подобно Макбету, что все печально кончится. И если все для него печально окончилось, то против его ожидания, и он не провел свою жизнь в том, чтобы заблаговременно умирать, подобно Кавдорскому тану. Но слишком часто в глубине своих мыслей мы уверены, что рана, истекающая кровью в течение нескольких часов, уничтожает мир целого существования.

LI

Я не хочу сказать, что рок всегда справедлив, что он награждает добрых и наказывает злых. Чья душа могла бы считать себя доброй, если бы она была уверена в награде? Но, судя рок, мы становимся еще более несправедливыми, чем он сам. Мы видим только несчастье мудреца, потому что все знаем, что такое несчастье. Но мы не видим его счастья, ибо нужно быть столь же мудрым, как тот мудрец, и столь же праведным, как тот праведник, чью судьбу мы обсуждаем, для того, чтобы понять их счастье.

Когда человек с неизменной душой пытается измерить счастье великого мудреца, это счастье от него убегает, как вода между пальцев. Но в руке другого мудреца оно становится твердым и блестящим, как золото. Мы обладаем только тем счастьем, которое мы в силах постигнуть. Часто случается, что бедствия мудреца похожи на бедствия другого человека. Но

счастье его не имеет ничего общего с тем, что не-мудрец называет счастьем. В области счастья больше неизведанных стран, чем в области горя. Горе говорит всегда одним и тем же голосом. Но счастье, по мере того, как оно становится более глубоким, говорит голосом все более тихим.

Когда мы кладем на одну чашку весов несчастье, то каждый из нас кладет на другую чашку то понятие о счастье, которое он себе составил. Дикарь положит мысль об алкоголе, о порохе, о перьях. Человек цивилизованный положит несколько золота или несколько дней опьянения. Но мудрец положит тысячу вещей, которых мы не видим — быть может, всю свою душу и даже несчастье, которое он в себе освятил.

III

Нет ничего более справедливого, чем счастье, ничего, что могло бы так верно принимать очертания нашей души, что могло бы так точно заполнить собою все пространства, которые мудрость ему открывает. Но зато ничто так не молчаливо, как счастье. Ангел печали говорит на всех языках и знает все слова; но ангел счастья открывает уста лишь тогда, когда может говорить о счастье, которое в состоянии понять и дикарь. Несчастье вышло из детского возраста сотни веков тому назад. Но можно думать, что счастье еще до сих пор спит в пеленках.

Есть немногие люди, которые научились быть счастливыми. Но где те, которые в счастье вдохнули свой голос в немого архангела, освещавшего их душу? Чем объясняется такое несправедливое молчание? Говорить о счастье не значит ли отчасти учить искусству быть счастливым? Произносить его имя каждый день не все ли равно, что призывать его? Разве одна из самих прекрасных обязанностей счастливого не заключается в том, чтобы поучать других этому счастью? Нет сомнения, что можно научиться быть счастливым, и даже ничему нельзя так легко научиться, как счастью. Если вы живете среди людей, благословляющих свою жизнь, вы скоро начнете благословлять свою собственную. Улыбка так же заразительна, как слезы, и эпохи, которые называются счастливыми, большею частью те, когда несколько человек захотели называть себя счастливыми. Обыкновенно мы нуждаемся не в счастье, а в уметь быть счастливыми. Самое большое счастье ни к чему не ведет, если мы не знаем, что мы счастливы. И самое маленькое сознательное счастье важнее для нашего благополучия, чем огромное счастье, на которое душа не взглянула внимательным взором. Слишком многие воображают, что счастье — это не то, чем они владеют; и вот почему счастливые обязаны указать нам, что они в сущности обладают в своем сердце только тем же, что есть и у других людей.

Быть счастливым значит преодолеть беспокойное ожидание счастья. От времени до времени было бы необходимо, чтобы кто-нибудь, особенно благоприятствуемый судьбою, награжденный счастьем блистательным, возбуждающим зависть, сверхчеловеческим, пришел и просто объявил нам: «Я получил все то, что вы призываете в желаниях каждый день. Я обладаю

богатством, здоровьем, молодостью, славой, могуществом и любовью. Теперь я могу назвать себя счастливым, но не из-за благ, которыми судьба меня одарила, а потому, что эти блага научили меня смотреть поверх счастья. Если я, в своих изумительных путешествиях, в своих победах, в своей силе и в своей любви обрел мир и блаженство, которых искал, то лишь потому, что они мне открыли, что истинное блаженство и мир заключены не в них. До моих побед мир и блаженство находились только во мне. После них они все же находятся лишь во мне, и я узнал, что, при несколько большей мудрости, я мог бы обладать всем, чем обладаю, не имея надобности обладать таким счастьем. Я знаю, что сегодня я счастливее, чем был вчера, ибо знаю наконец, что не нуждаюсь более в счастье для того, чтобы освободить свою душу, умиротворить свою мысль и наполнить светом свое сердце».

ЛIII

Мудрец знает все это, не нуждаясь в том, чтобы сверхчеловеческое счастье пришло к нему и научило его этой истине. Праведник также знает все это, несмотря на то, что он менее мудр, чем мудрец, и что его сознание кажется менее развитым, ибо достойно внимания, что справедливый или добрый поступок приносит с собою сознание, хотя не вполне расчлененное, но часто более действенное, более самоотверженное, более матерински-нежное, чем сознание, порождаемое глубокой мыслью. Такой поступок приносит с собою исключительно чуткое сознание счастья. При всем нашем старании мысли самые возвышенные оказываются почти всегда неясными и изменчивыми, между тем как свет, проливаемый благостным поступком, постоянный и устойчивый. Глубокая мысль часто бывает сознанием, лишь украшающим жизнь, между тем как самоотверженная любовь или выполнение героического долга всегда является самим сознанием, т. е. счастьем в действии. Марк Аврелий, прощающий смертельную обиду, Вашингтон, слагающий с себя власть в ту минуту, когда его слава могла бы стать источником заблуждения для его народа, и человек презренный и низкий, который, — если допустить такую неправдоподобную гипотезу, — случайно открыл бы великий закон тяготения, — все они были бы счастливы не на один лад.

От удовлетворенного разума до удовлетворенного сердца ведет длинный путь, обсаженный единственными радостями, которые не боятся зимы. Счастье является скорее произрастанием жизни нравственной, чем жизни умственной. Сознание вообще, и сознание счастья в особенности, скрывает свои величайшие сокровища не в области разума. Даже иногда можно было бы подумать, что наиболее возвышенные и утешающие элементы разума не превращаются в сознание, если они предварительно не прошли через добродетельный поступок. Недостаточно открыть новую истину в мире идей или фактов. Истина становится для нас жизненной лишь с той минуты, как она что-нибудь преобразила, очистила, умиротворила в нашей душе. Истинное сознание, его деятельная сущность заключается в сознании нравственного совершенствования. Есть люди весьма разумные, которые никогда не

направляют свой разум на то, чтобы отыскать нравственные ошибки или ободрить чувство любви. Это особенно часто замечается у женщин. Если взять мужчину и женщину равной умственной силы, то мы увидим, что женщина обращает всегда меньшую часть своей силы на то, чтобы сознать себя нравственно. Между тем разум, не ведущий к сознанию, как бы вращается в пустоте. Всякая сила нашего мозга, которая непосредственно не стекает в чистейшие сосуды нашего сердца, рискует испортиться или затеряться. Во всяком случае, она остается чуждой счастью и даже легко вступает в союз с несчастьем. Можно обладать разумом могущественным и высоким и никогда не приближаться к счастью. Но нельзя, обладая душой кроткой, чистой и доброй, знать только бедствия. Правда, границы между разумом и сознанием не всегда так резко обозначены, как здесь сказано, и прекрасная мысль часто бывает также и добрым поступком. Но тем не менее несомненно, что прекрасная мысль, не порожденная добрым поступком и сама его не порождающая, ничего не прибавляет к нашему счастью, между тем как добрый поступок, даже тогда, когда он не порождает никакой мысли, всегда, подобно благодетельному дождю, оживляет наше сознание счастья.

LIV

«Нужно было проститься со счастьем, — восклицает Ренан, говоря о самоотречении Марка Аврелия, — нужно было проститься со счастьем, чтобы прийти к таким крайностям. Мы никогда не поймем всего, что выстрадало это бедное, измученное сердце, сколько скрытой горечи таилось за этим бледным челом, всегда спокойным и почти улыбающимся. Правда, прости, сказанное счастьем, является началом мудрости и наиболее верным средством обрести счастье. Ничего нет отраднее, чем возврат радости, который следует за отречением от радости. Ничего нет живее, глубже и очаровательнее, чем очарование разочарованного».

Таковыми словами мудрец изобразил счастье мудреца, и однако разве счастье самого Ренана, как и Марка Аврелия, заключалось единственно в возврате радости, следовавшей за отречением от радости, и в очаровании разочарованного? Будь это так, следовало бы предпочесть быть менее мудрым, чтобы быть менее разочарованным. Но к чему она стремилась, эта мудрость, объявившая себя разочарованной? Чего она искала, если не истины, и какова же та истина, которая могла бы в глубине искреннего сердца уничтожить самую любовь к истине?

Если истина учит вас тому, что человек зол, природа несправедлива, справедливость бесполезна, а любовь бессильна, то скажите себе, что эта истина ничему вас не научила, если в то же время не открыла какой-то другой, большей истины, которая озаряет все эти разочарования другим, более ярким и менее усталым светом, чем тысячи эфемерных огней, которые она вокруг вас погасила. Для истины нет пределов. И вот почему мудрость никогда не в праве разбить таким образом у первого перекрестка гордости жалкую маленькую палатку разочарования и отречения. Ибо объявить себя удовлетворенным тем,

что ничто нас не может удовлетворить, есть признак безмерной и довольно хрупкой гордости. Такое удовлетворение является в сущности недовольством, не имеющим даже силы стать на ноги. А быть недовольным значит, в сущности, не стараться понимать.

Покуда человек воображает, что его долг заключается в отречении от счастья, не отрекается ли он от чего-то, что не есть еще счастье? И затем, каким благам жизни следует сказать это «прости», лишнее простоты? Конечно, справедливость требует, чтобы мы устранили от себя всякое счастье, которое доставляет страдания другим; но разве счастье, причиняющее зло другим, остается надолго счастьем в глазах мудреца? Когда же его мудрость, наконец, вкусила другие радости, помнит ли она еще, что отреклась от менее совершенных удовлетворений?

Не следует доверять мудрости и счастью, в основе которых лежит презрение к чему-нибудь. Презрение и отречение, — это бессильное детище презрения, — открывают лишь убежище для стариков и калек. Мы имели бы право презирать радость лишь в том случае, если бы уже не знали, что мы ее презираем. Но, покуда презрение и отречение высказывается в слове или поднимает на дне нашего сердца горькую мысль, мы можем быть уверены, что радость, которой мы будто бы больше не хотим, нам еще необходима.

Закроем доступ в нашу душу некоторым паразитам добродетели. Отречение же весьма часто не что иное, как паразит. Даже когда оно не обессиливает нашей внутренней жизни, оно вносит в нее беспокойство. Когда какой-нибудь зверек со стороны проникает в улей, все пчелы мгновенно прерывают работу. Точно так же, когда презрение или отречение проникли в нашу душу, все ее силы и добродетели бросают свою работу и обступают странного пришельца, приведенного гордостью, ибо, насколько человек знает, что он отрекается, счастье его отречения порождено лишь гордостью. Если же мы хотим от чего-нибудь отречься, то, прежде всего, нужно отречься от удовлетворений гордости, самых обманчивых и бессодержательных.

LV

Как оно в сущности удобно и лишено дерзновения и энергии — это «очарование разочарованного». Но как назвать того, кто отрекается от блага, делающего его счастливым, предпочитая лишиться его наверно теперь из страха лишиться его завтра, если пожелает случай? Неужели единственное назначение мудрости заключается в том, чтобы прислушиваться в сомнительном будущем к далеким шагам страдания, которые, может быть, никогда не приблизятся, и чтобы закрывать слух для шума крыльев подлетающей радости, наполняющей воздух своим присутствием?

Будем искать наше счастье в отречении, когда нельзя обрести его иначе. Легко быть мудрым, довольствуясь счастьем, которое находишь в отсутствии счастья. Но мудрец не создан для того, чтобы быть несчастным. Более славно, а также более человечно не переставать быть мудрым, оставаясь счастливым. Высшая цель мудрости заключается именно в том, чтобы отыскать в жизни

неподвижную точку счастья. Но искать эту неподвижную точку в отречении и прощании с радостью все равно, что бессмысленно искать ее в смерти. Легко считать себя мудрым, не трогаясь с места. Но разве человек создан для того, чтобы оставаться неподвижным? Необходимо избрать одно из двух: мудрость может быть либо окруженной почетом супругой наших страстей и чувств, всех наших мыслей и желаний, либо печальной невестой смерти. Пусть существует неподвижная мудрость для гроба, но должна существовать и другая для дома, где над очагом еще вьется дым.

LVI

Мы станем мудрыми не оттого, что отречемся от окружающих радостей. Но, становясь мудрыми, мы, сами того не зная, отречемся от радостей, которые будут ниже нас. Так ребенок, выросши, бросает, сам того не замечая, игрушки, которые больше его не занимают. Но подобно тому, как ребенок больше узнает играя, чем занимаясь навязанной работой, и мудрость быстрее растет в счастье, чем в страданиях. Уроки страданий освещают лишь одну часть нравственности. И человек, ставший мудрым оттого, что он много страдал, похож на того, кто любил, не будучи любимым. Он в своей мудрости не будет знать того, чего другой не изведал в своей безответной любви.

«Неужели в счастье скрыто так много счастья, как это утверждают?» — спросил однажды у двух счастливых людей философ, которого долгая несправедливость судьбы сделала слишком печальным. Нет, счастье в одно и то же время и более и менее достойно зависти, чем это думают, потому что оно нечто другое, чем думают те, кто никогда не был вполне счастливым. Быть веселым не значит быть счастливым; а быть счастливым не всегда значит быть веселым. Лишь маленькие минутные радости всегда улыбаются и закрывают глаза, улыбаясь. Но, достигнув известной высоты, постоянное счастье становится столь же вдумчивым, как и благородная грусть. Мудрецы учили нас, что не следует быть счастливым для того, чтобы сохранить в себе желание счастья. Но если бы мудрец не был никогда счастлив, как бы он узнал, что только одна мудрость не омрачается и не устает среди счастья? Мудрецы, испытавшие счастье, научились любить мудрость любовью более глубокой, чем те, которые были несчастны. Велико различие между мудростью, выросшей в страдании, и той, которая развилась в блаженстве. Первая утешает, говоря о счастье, последняя говорит о себе самой. В конце мудрости несчастных горит надежда на счастье. В конце мудрости счастливых сияет только мудрость. Если цель мудрости в том, чтобы найти счастье, то, лишь изведав счастье, мы можем узнать, что эта цель скрыта не в чем ином, как в мудрости.

LVII

Не всякая душа может быть носителем счастья. Для счастья требуется столько же мужества, сколько и для горя. Может быть, нужно быть более сильным, чтобы продолжать быть счастливым, чем для того, чтобы продолжать

быть несчастным. Ибо ожидание того, чего еще нет, доставляет более радости сердцу, чуждому мудрости, чем полное обладание всем желанным. Только с вершины постоянного счастья мы всего лучше видим желания сердца, которое как будто может питаться только страхом и надеждой и которому так трудно питаться тем, что оно имеет, даже если оно имеет все.

Часто можно видеть, как люди сильные и нравственно осмотрительные бывают побеждены своим счастьем. Не находя в нем всего, чего они искали, они не защищают и не удерживают своего счастья с достаточной энергией, которую всегда необходимо проявлять в жизни. О, как много мудрости нужно для того, чтобы не удивляться, что счастье приносит с собой также и печаль, и чтобы эта печаль не вызывала в нас мысли, что мы еще не обладаем полным счастьем! Лучшее, что мы находим в счастье, это уверенность, что оно не нечто опьяняющее, а нечто вызывающее на размышления. Счастье становится более доступным и менее редким, как только мы поняли, что единственное благо, которое оно оставляет в душе, умеющей им пользоваться, это расширение сознания, которого душа не нашла бы ни в чем другом. Для души человеческой важнее узнать ценность счастья, чем насладиться счастьем. Чтобы долго любить счастье, необходимо знать многое. Но еще больше нужно узнать для того, чтобы постигнуть, что в объятиях безоблачного счастья неподвижная и устойчивая часть всякого блаженства заключается единственно в той силе, которая в глубине нашего сознания могла бы нас сделать счастливыми даже в объятиях страдания. Вы можете считать себя счастливыми лишь тогда, когда счастье помогло вам подняться на вершину, откуда вы можете терять его из виду, не теряя однако желания жить.

LVIII

Есть много мыслителей глубоких, исполненных величавого чувства бесконечного, вечного и вселенского. Есть мыслители, подобные Паскалю, Гелло, Шопенгауэру, которые не кажутся счастливыми. Но было бы странным заблуждением думать, что выражение всеобщей скорби всегда предполагает большое личное отчаяние. Горизонта несчастья, созерцаемый с высоты мысли, переставшей быть инстинктивной, эгоистической и посредственной, немногим отличается от горизонта счастья, созерцаемого с высоты другой мысли такого же свойства, но другого происхождения. В конце концов неважно, имеют ли трагический или беспечный вид волнующиеся вдаль, на краю равнины, облака. То, что доставляет отраду путешественнику, это сознание, что он достиг возвышенного пункта, откуда наконец перед ним раскрывается бескрайнее пространство. Не нужно, чтобы белые паруса всегда проходили над морем, для того, чтобы море нам казалось всегда таинственным и удивительным. И гроза, не менее, чем прекрасный, безоблачный день, не ослабляет жизни нашей души. Ослабляет ее лишь вечное, в течение дня и ночи, пребывание в камерке наших мелких мыслей, лишенных великодушия, порыва и значительности, в то время, когда вокруг нашего жилища океан отражает небеса.

Но существует, быть может, разница между мыслителем и мудрецом.

Мыслитель может предаваться грусти, достигнуть вершины, но мудрец старается улыбнуться улыбкой столь искренней, естественной и человеческой, что самый смиренный из его братьев может усвоить и понять эту улыбку, которую он роняет, как цветок к подножию горы. Мыслитель открывает дорогу, «которая ведет от того, что мы видим, к тому, чего не видим», но мудрец открывает дорогу, ведущую от того, что мы любим, к тому, что мы будем любить. Он указывает тропинки, которые ведут вверх от того, что нас больше не утешает, к тому, что нас еще долго будет утешать. Необходимо, но еще не достаточно иметь живые и смелые мысли о человеке, о Боге и о природе. На что нам глубокая мысль, не приносящая никакой отрады? Не похожа ли она на мысль, которою мыслитель еще не совсем овладел и которая не в силах проникнуть собой нашу повседневную жизнь? Гораздо легче быть печальным и пребывать в своей печали, чем сделать немедленно тот шаг, который время рано или поздно заставит нас сделать за пределы этой печали. Легче казаться глубоким среди недоверия и в сумерки, чем в доверии и в ясном свете, в котором люди должны жить. Разве мы можем быть уверенными, что мы сделали все от нас зависящее, размышляя таким образом, во имя всех наших братьев, о бедствиях жизни, если мы, не желая смягчить великий образ этих бедствий, скрыли от них доводы, в конце концов решающие, по которым мы все же принимаем жизнь, так как продолжаем жить? Разве доходит до конца своей мысли тот, кто мыслит с тем, чтобы не утешать? Гораздо легче объяснить мне, почему вы жалуетесь на жизнь, чем бесхитростно открыть мне более могущественные и глубокие причины, по которым ваш инстинкт не отрекается от этой жизни, вызывающей ваши жалобы.

Кто из нас не находит тысячу причин не быть счастливым, даже не отыскивая их? Полезно, конечно, чтобы мудрец указал нам наиболее возвышенные из этих причин, ибо возвышенные причины, делающие нас несчастными, весьма легко превращаются в причины, приносящие счастье. Все же другие причины, не заключающие в себе задатков величия и счастья (в нашей нравственной жизни есть много обширных областей, где нельзя отличить величие от счастья), не заслуживают того, чтобы мы их перечислили. Надо быть самому счастливым, чтобы делать других счастливыми. Надо приносить другим счастье, чтобы самому оставаться счастливым. Постараемся сперва улыбаться сами для того, чтобы наши братья научились улыбаться, а затем, видя их улыбающимися, мы сами будем улыбаться еще более искренно. «Не подобает мне огорчать самого себя, мне, который добровольно никому не причинял огорчения», — говорит Марк Аврелий в одном из своих прекраснейших изречений. Но разве не значит огорчать самого себя и в то же время стараться огорчать других, если мы не стараемся быть счастливыми, насколько это в наших силах?

LIX

Незначительная мысль, создающая связь между довольным взглядом, будничным добрым поступком, самой скромной, самой спокойной счастливой

минутой и чем-то прекрасным, устойчивым и вечным, имеет перед нами больше заслуг и с гораздо бóльшим трудом может быть отвоевана у тайн жизни, чем великое, мрачное размышление, соединяющее печаль, любовь или отчаяние со смертью, с роком и с равнодушными силами, окружающими наше существование. Не станем обольщаться внешностью. Гамлет, который плачется, стоя на берегу пропасти, кажется нам более глубоким и более волнующим, чем Антонин Благочестивый, который бесстрастно смотрит на те же силы, спокойно их принимает и вопрошает, вместо того, чтобы проклинать их и искать в них предмет ужаса. Все, что делается в свете дня, кажется менее величественным, чем малейший жест при наступлении ночи. Но человек создан для того, чтобы работать в свете дня, а не для того, чтобы суетиться во мраке.

LX

Сверх того, в малейшей мысли, утешающей нас, скрыта сила, которой никогда не найти в самой громкой жалобе, в самой прекрасной грустной идее. Великая идея, глубокая и опечаленная, это — энергия жизни, которая освещает стены своей тюрьмы, сожигая в темноте свои крылья. Но самая робкая мысль, полная доверия и радостной покорности неизбежным законам, уже есть поступок, ищущий точки опоры для того, чтобы наконец устремиться в действительность. Не бесполезно повторять себе, что многообъемлющая бескорыстная мысль сама по себе нечто превосходное, но что действительность начинается только с поступков. Нашу судьбу в собственном смысле образуют только те из наших мыслей, которые под напором многочисленных мыслей, неполных, темных, еле различимых, нашли в себе силу или, уступая необходимости, смогли превратиться в поступки, жесты, чувства и привычки. Это не значит, что следует пренебрегать другими мыслями. Наши мысли, вокруг действительной жизни, похожи на войско, осаждающее город. Возможно, что большинство солдат, когда город будет взят, не переступит за его стены. Удалены будут, конечно, союзники, варвары, словом, беспорядочные орды, которые слишком легко уступили бы опьянению грабежа, огня и крови. Возможно также, что две трети войска не примут участия в решительном бое. Но часто ощущается надобность и в бесполезных силах, и очевидно, что город не поддался бы страху и никогда не открыл бы ворот, если бы бесчисленная рать не толпилась в глубине долин, если бы дисциплинированные ряды не стояли у подножия стен. То же самое происходит в нашей нравственной жизни. Мысли, не претворившиеся в действительность, не были совсем бесполезны. Они толкали или поддерживали остальных. Но эти последние мысли — единственные, исполнившие свое назначение до конца, и вот почему постарайтесь иметь под своим началом, перед густыми рядами наших смутных и опечаленных идей, толпу мыслей более доверчивых, более человеческих и простых, всегда готовых бесстрашно проникнуть в жизнь.

LXI

Как бы мы ни желали подняться выше действительности в чистом бесплодном порыве, все же тысяча наших намерений не будет стоить одного поступка, не потому, что намерение не имеет никакой цены, а потому, что малейшее движение доброты, мужества, справедливости требуют от нас более тысячи добрых намерений.

Хироманты утверждают, что вся наша жизнь запечатлевается на нашей руке; а то, что они называют нашей жизнью, это не что иное, как известное число поступков, которые до или после их совершения начертывают на нашем теле неизгладимые следы. Мысли же и намерения наши не оставляют, так сказать, никакого следа. Если я в течение долгих дней строил планы убийства, измены, героизма или жертвы, то возможно, что моя рука об этом ничего не поведает. Если же я, хотя бы случайно, хотя бы по ошибке, убил кого-нибудь на повороте улицы, кто, казалось мне, грозил на меня напасть, или если, проходя по той же улице, я спас новорожденного от грозившего ему огня, то рука моя всю жизнь будет носить неизгладимый след убийства или любви. Ошибаются ли хироманты или нет, все равно, но на дне этого различия скрыта великая моральная истина. Мысль может до самой смерти оставлять меня на одном и том же месте среди вселенной; но поступок почти всегда подвинет меня на один ряд назад или вперед в иерархии существ. Мысль — это сила одинокая, блуждающая, преходящая, которая сегодня приблизилась и которой, быть может, я не увижу завтра. Поступок же предполагает существование постоянной армии идей и желаний, которая после долгих усилий сумела завоевать точку опоры среди действительности.

LXII

Но мы удалились от благородной Антигоны и от вечной проблемы бесплодной добродетели. Нет сомнения, что, понимаемый в обыкновенном значении этого слова, т. е. обозначая единственно дорогу, которая ведет к смерти, рок не щадит добродетель. И, достигнув края этой бездны, которая является как бы центральным бассейном, куда стекаются все учения морали, чтобы стать окончательно чистыми или смутными, нас заставляют делать выбор между оправданием и осуждением случая. Бóльшая часть жертв, приносимых во имя долга, может быть сведена к типу жертвы Антигоны. Кто из нас не наблюдал вокруг себя немало случаев наказанного геройства? Один из моих друзей, лежа на одре болезни, который он должен был скоро покинуть для другого, уже непокидаемого ложа, заставил меня однажды, так сказать, следить перстом за всеми изгибами, которыми судьба привела его к тому, что он выпил в чужом городе глоток отравленной воды, от которой должен был умереть. Я явственно мог различать все неисчислимые нити, которыми судьба опутала эту жизнь, и малейшее случайное происшествие было как бы одарено невероятным предвидением и злорадством. И однако друг мой отправился в тот город, чтобы выполнить одну из тех обязанностей, которую одни лишь

мудрецы, герои и праведники различают на горизонте совести. Что ответить на это? Умолчим пока об этом предмете, скоро мы к нему вернемся. Друг мой, если бы он остался жив, на следующий же день отправился бы в другой город, куда бы другой долг призвал его, и он даже не задал бы себе вопроса, отвечает ли он этим на призыв долга. Есть люди, которые подчиняются всем приказам, которые им нашептывает сердце. Они нисколько не заботятся ни о несправедливости судьбы ни о неблагодарности добродетели. Их занимает только несправедливость людей, и другие несправедливости как будто их еще не касаются.

Правда ли, что никогда не надо медлить и что исполняешь свой долг лишь настолько, насколько даже не подозреваешь, что исполняешь его? Не следует ли нам подняться до той черты, откуда долг не кажется более выбором наших чувств, хотя бы и самых благородных, а безмолвной потребностью всего нашего существа?

LXIII

Есть люди, которые выжидают, задают себе вопросы, обсуждают, взвешивают и наконец принимают решение. Они по-своему правы. Не все ли равно, является ли исполнение долга результатом инстинкта или обдуманной мысли? Движение инстинкта, как жесты ребенка, обладают обыкновенно красотой несколько смутной, наивной, неожиданной, которая нас больше трогает; но разве движения обдуманной доброй воли не одарены красотой более значительной и твердой? Немногим сердцам дано быть наивно-прелестными, и было бы ошибкой искать в них все законы нашего долга. К тому же обдуманная добрая воля, даже тогда, когда она уже свободна от иллюзий, открывает большое количество обязанностей, менее привлекательных, которых инстинкт не видит. А разве нравственная ценность человека не измеряется количеством обязанностей, которые он видит, которые он намерен выполнить?

Хорошо, что большинство людей не слишком внимательно расспрашивает себя (ибо нужно долго себя расспрашивать для того, чтобы ответы сознания уподобились наконец ответам инстинкта), — хорошо, что большинство, выжидая, следует за инстинктом самопожертвования ради долга. Они таким образом с закрытыми глазами идут во след за светочем, который перед ними носят лучшие из их невидимых предков. Но все же идеал заключается не в этом, и тот, кто жертвует малейшим в пользу своего брата, ясно сознавая, чем и почему он жертвует, занимает в нравственной жизни более высокое место, чем тот, кто даже отдает свою жизнь, не бросив назад ни одного взгляда.

LXIV

Мир полон слабых и благородных душ, воображающих, что последнее слово долга заключается в самопожертвовании. Мир полон прекрасных душ, которые, не зная, что делать, ищут случая пожертвовать своею жизнью, и это

считается высшей добродетелью. Нет, высшая добродетель требует, чтобы мы знали, что делаем, и научились выбирать то, чему следует отдать жизнь. Лишь временно долг каждого из нас совпадает с тем, что он считает своим долгом. Первый же наш долг — это выяснить нашу идею о долге. Слово «долг» часто содержит в себе больше заблуждений и нравственной беспечности, чем истинной добродетели. Клитемнестра жертвует своей жизнью, чтобы отомстить Агамемнону за смерть Ифигении, и Орест приносит в жертву свою жизнь, чтобы отомстить Клитемнестре за смерть Агамемнона. Но достаточно было бы, чтобы пришел мудрец и сказал: «Простите врагам вашим», — для того, чтобы всякий долг мести был вычеркнут из человеческого сознания. Может быть, достаточно будет, чтобы со временем пришел другой мудрец для того, чтобы равным образом была изгнана большая часть обязанностей, призывающих к жертве. Пока же настанет это время, некоторые представления об отречении, покорности и самопожертвовании глубже истощают самые прекрасные моральные силы человечества, чем великие пороки и даже преступления.

LXV

Да, покорность судьбе хороша и необходима, в виду общих и неизбежных фактов жизни; но на всех пунктах, где нужна борьба, покорность является лишь замаскированным бессилием, невежеством или ленью. То же самое можно сказать о самопожертвовании, которое слишком часто не что иное, как ослабевшая рука, которую покорность еще потрясает в пустоте. Хорошо уметь с простотой приносить себя в жертву, когда жертва идет нам навстречу и когда она приносит истинное счастье другим людям; но неразумно и бесполезно посвящать жизнь на отыскивание случаев для самопожертвования и смотреть на эти поиски, как на самое прекрасное торжество духа над плотью (скажем мимоходом, что обыкновенно придают слишком большое значение торжеству духа над плотью, ибо это мнимое торжество всего чаще означает полнейшее поражение жизни). Жертва может быть цветком, который добродетель срывает мимоходом; но не для того, чтоб сорвать его, она отправилась в путь. Великая ошибка думать, что красота души заключается в ее жажде жертвы. Ее плодотворная красота заключена в ее сознании, в возвышенности и силе ее жизни. Правда, есть души, которые ощущают себя лишь в процессе жертвы, но правда и то, что это те самые люди, у которых нет мужества и силы, чтобы отправиться в поиски другой моральной жизни. Вообще, гораздо легче принести себя в жертву, т. е. отказаться от своей моральной жизни в пользу того, кто хочет ее взять, чем завершить свою моральную судьбу и выполнить до конца задачу, для которой природа нас создала. И вообще гораздо легче нравственно и даже физически умереть для других, чем научиться жить для них. Слишком много людей усыпляют таким образом всякую инициативу, всякое личное существование, утешая себя тем, что они всегда готовы пожертвовать собой. Сознание, которое не идет дальше мысли о самопожертвовании и считает, что оно свело все счета с самим собой, потому что оно постоянно ищет случая отдать все, чем владеет, есть в сущности

сознание, которое закрыло глаза и погрузилось в дремоту у подножия горы. Прекрасно отдавать себя, тем более, что, отдавая себя, мы в конце приобретаем сами себя в собственность. Но если мы ничего не можем давать своим братьями, кроме желания отдавать себя им, то мы рискуем дать им слишком мало. Поэтому прежде, чем отдавать себя, постараемся побольше приобрести и не будем думать, что, отдавая себя, мы этим избавляем себя от необходимости приобретать. В ожидании часа жертвы нужно трудиться над чем-нибудь другим. Час этот всегда пробьет. Но не станем терять время, постоянно отыскивая его на циферблате жизни.

LXVI

Бывают разные жертвы, и я здесь не говорю о жертве сильных, которые, подобно Антигоне, умеют отречься от себя, когда рок, принимая форму осязательного счастья их братьев, приказывает им отказываться от собственного счастья и даже от жизни. Я говорю о жертве слабых, о жертве, которая любит себя своим бессилием с ребяческим самодовольством, о жертве, которая довольствуется тем, что, подобно слепой кормилице укачивает нас на иссохших руках отречения и напрасных страданий. Послушаем, что говорит об этом предмете превосходный мыслитель наших дней, Джон Рёскин: «Воля Божия заключается в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью наших братьев, а не их бедствиями и смертью». Возможны случаи, когда детям нужно умереть ради своих родителей, но небо хотело, чтобы они жили ради них. Не своею жертвой, а своей силой, своею радостью, могуществом своей жизни сын станет для родителей обновлением их собственной мощи и как бы стрелой в руках великана. То же самое следует сказать о всех других истинах и отношениях на земле. Люди помогают друг другу своими радостями, а не своим печалом. Они наконец созданы не для того, чтобы убивать себя друг ради друга, а для того, чтобы взаимно себя укреплять. И при перечне всего прекрасного, что стало дурным вследствие неверного пользования им, я думаю, что бессознательные и слишком кроткие жертвы должны быть причислены к заблуждениям самым роковым. Некоторые души слишком хорошо затвердели, что страдание само по себе добродетельно; они поэтому принимают муку и скорбь, как свою неизбежную долю, не понимая, что если их поражение более пагубно для их врагов, чем для них самих, то оно вследствие этого не менее плачевно.

LXVII

Нам говорят: «любите ближнего, как самого себя». Но если любить самих себя любовью узкой, ребяческой и боязливой, вы такую же любовь будете любить и ближнего. Научитесь поэтому любить себя любовью широкой, здоровой, мудрой и полной. Это не так легко, как кажется. Эгоизм души дальнорочкой и сильной в сущности больше заключает в себе любви, чем вся преданность души слепой и слабой. Раньше, чем существовать для других, вы должны существовать для самих себя. Раньше, чем отдать себя, вы должны

себя приобрести. Будьте уверены, что приобретение частицы вашего сознания в итоге окажется в тысячу раз более важным, чем жертвование всем вашим неосознанным. Почти все великие дела этого мира были совершены людьми, нисколько не помышлявшими о самопожертвовании. Платон не отказывается от своей мысли для того, чтобы смешать свои слезы со слезами всех, кто плакал в Афинах. Ньютон не бросает своих исследований, чтобы отправиться в поиски предметов жалости и грусти. И в особенности Марк Аврелий (ибо здесь речь идет о жертве, наиболее часто приносимой и наиболее опасной), Марк Аврелий не тушит света своей души для того, чтобы сделать более счастливой низменную душу Фаустины. Между тем то, что истинно в существовании Платона, Ньютона или Марка Аврелия, одинаково истинно в существовании всякой другой души. Ибо всякая душа в своей сфере имеет те же обязанности по отношению к самой себе, как и душа наиболее великих. Убедим себя раз навсегда, что верховный долг нашей души — быть насколько возможно полной, счастливой, независимой и великой. Речь идет не об эгоизме или гордости; но истинно-благородным, истинно-смирненным становишься лишь тогда, когда приобретаешь просветленное, доверчивое и миролюбивое чувство себя самого. Этой цели можно принести в жертву даже страсть к самопожертвованию, ибо жертва должна быть не средством, чтобы стать благородным, а знаком душевного благородства.

LXVIII

Будем готовы, когда настанет надобность, предложить нашим несчастным братьям наше богатство, наше время, нашу жизнь. Однако это исключительный дар нескольких часов. Но мудрец не обязан пренебрегать своим счастьем и всем окружающим его существованием единственно для того, чтобы быть готовым прожить один или два исключительных часа с бóльшим или меньшим героизмом. В области морали необходимо давать предпочтение обязанностям, которые приходят каждый день, братским поступкам, которые не истощаются. Поэтому, при обычном течении жизни, единственное и постоянно возрождающееся, что мы могли бы без ущерба для себя давать душам счастливым или несчастным тех, кто рядом с нами идет тою же жизненной дорогой, это — сила, доверие, умиротворенное чувство зависимости нашей души. Вот почему самый скромный из людей обязан соблюдать и расширять свою душу, как бы зная, что она призвана со временем утешить или обрадовать Бога. Воспитывая свою душу, ее всегда нужно готовить для божественного назначения. Только в этой области и только при этом условии возможно истинное отдавание себя другим и совершается действительная жертва. И неужели вы думаете, что, когда пробил час, то, что дает Сократ или Марк Аврелий, прожившие тысячу жизней, тысячу раз обозревшие свою жизнь со всех сторон, не ценнее в тысячу раз того, что мог бы дать человек, не сделавший ни одного шага в своем сознании? И неужели вы думаете, что, если Бог существует, Он взвешивает жертву только на весь крови нашего тела, и что кровь души, т. е. ее добродетель, ее самочувствие, ее нравственная жизнь и вся

собранный в течение многих лет сила не имеют никакой цены?

LXIX

Душа растет не тогда, когда приносит себя в жертву. Напротив того, по мере своего роста она теряет из виду жертву, подобно тому, как путник, поднимаясь на гору, теряет из виду цветы ложины. Жертва — это прекрасный знак душевного беспокойства; но не следует развивать в себе беспокойство ради него самого. Все кажется жертвой в душе только что проснувшейся. Но весьма немногое еще сохраняет название жертвы для души, сумевшей обрести жизнь, в которой преданность, милосердие и отречение являются не необходимыми корнями, а незримыми цветами. Действительно, ведь слишком много людей испытывает потребность разрушать даже без всякой пользы принадлежащее им счастье, любовь, надежду единственно для того, чтобы увидеть себя самих при свете пылающей жертвы. Можно подумать, что они несут лампу, с которой не умеют обращаться, и что с наступлением ночи они так жаждут света, что проливают ее масло на чужой огонь.

Не будем подражать тому сторожу на маяке, о котором повествуют, что он дарит беднякам соседних хижин масло больших фонарей, предназначенных для освещения океана. Всякая душа в своей среде также стоит на страже более или менее необходимая маяка. Наиболее смиренная мать, которая всецело поглощена, опечалена, уничтожена малейшими своими материнскими обязанностями, так же, как этот сторож, раздает свое масло бедным; и дети ее всю жизнь будут страдать от того, что душа их матери не была столь светлой, как могла бы быть. Бесплотная сила, которая светит в нашем сердце, должна прежде всего светить ему самому. Только при этом условии она будет освещать дорогу и другим. Как бы ни была мала ваша лампа, никогда никому не отдавайте масла, которое ее питает; отдавайте ее пламя, которое ее венчает.

LXX

Нет сомнения, что альтруизм всегда останется центром тяжести благородных душ; но слабые души теряют себя в других, между тем как сильные себя в них обретают. Вот великая разница между ними. Есть нечто еще лучшее, чем любить ближнего, как самого себя. Это любить самого себя в ближнем. Есть доброта, которая предшествует известным людям, и есть доброта, которая плетется вслед за человеком. Есть доброта, которая истощает, и есть доброта, которая питает. Не забудем, что при общении душ самыми щедрыми являются не те, которые всегда дают. Душа сильная всегда берет, даже у самых бедных; душа слабая всегда дает, даже самым богатым. Но готовность давать иногда означает лишь жадность, потерявшую мужество. И если бы Бог когда-нибудь пришел, чтобы подвести счеты с жизнью, мы, может быть, увидели бы, что мы берем тогда, когда даем, и даем, когда отнимаем. Часто случается, что посредственная душа начинает расти только с того дня, когда она встретила другую душу, которая ее ограбила.

LXXI

Почему не сознаться, что верховный долг жизни заключается вовсе не в том, чтобы плакать со всеми плачущими, страдать со всеми страждущими и подставлять свое сердце всем проходящим мимо для того, чтобы они его терзали или ласкали? Слезы, страдания, язвы спасительны для нас лишь настолько, насколько они не лишают нашу жизнь бодрости. И никогда не забудем, что, каково бы ни было наше назначение на земле, какова бы ни была цель наших усилий или надежд, каков бы ни был результат наших печалей и радостей, мы прежде всего слепые хранители жизни. Это единственная абсолютно-верная истина, единственно-неподвижная точка человеческой морали. Нам дана жизнь, и мы не знаем для чего, но несомненно не для того, чтобы мы ослабили или растеряли ее. Мы даже являем собой особенную форму жизни на нашей планете: жизнь мыслей, жизнь чувства. И вот почему все, что способно уменьшить напряженность мыслей и пламенность чувств, вероятно, безнравственно. Постараемся привести в движение, сделать прекрасными, усилить этот пламень, и прежде всего постараемся расширить нашу веру в величие и могущество человеческой судьбы. Правда, я мог бы также сказать: веру в ее мелочность, слабость и ничтожество. Можно быть величественно-несчастливым с таким же подъемом души, как величественно-счастливым. И затем не все ли равно, человек ли кажется достойным удивления или мир? Лишь бы было нечто, внушающее нам удивление и будящее в нас восторженное сознание бесконечного. Вновь открытая звезда прибавляет не один луч к мыслям, страстям и мужеству человека. Все, что мы видим прекрасного в окружающем нас мире, уже становится прекрасным в нашем сердце; и все, что мы находим достойного поклонения в нас самих, мы находим в то же время и в других людях. Если моя душа, проснувшись сегодня утром, нашла в мыслях своей любви новую идею, несколько приближающую ее к Богу, который, как мы уже сказали, есть не что иное, как самое прекрасное из ее желаний, то эту же идею я увижу трепещущей в глазах нищего, который минуту спустя пройдет под моими окнами, и сильнее полюблю его оттого, что лучше его узнал.

Не подумаем, что так любить бесполезно. Если человек когда-нибудь узнает, как ему надо поступать, то лишь благодаря немногим, которые таким образом любили. Истинная мораль должна родиться от сознательной бесконечной любви. Великое милосердие заключается в облагораживании души. Но я не могу облагородить вас, если сам первый не достиг благородства; я не могу поклоняться вам, если сам в себе не нашел ничего достойного поклонения. Если я совершил благородный поступок, то лучшей моей наградой за этот поступок будет уверенность, все более и более естественная и необходимая, что и вы в состоянии совершить такой же поступок. Всякая мысль, которая расширяет мое сердце, в то же время расширяет во мне любовь и уважение к человеку. По мере того, как я поднимаюсь, вы поднимаетесь вместе со мной. Но если бы для того, чтобы вас любить, я обрезал крылья у своей любви по той причине, что ваша душа еще не приобрела крыльев, то на

дне долины станет вдвое больше слез и бесполезных жалоб, а любовь не сделает ни одного шага вверх в гору. Постараемся любить с самой высокой вершины, какой лишь можем достигнуть. Не нужно любить из милосердия, когда мы можем любить из чувства любви. Не нужно прощать из доброты, когда мы можем прощать из справедливости. Не нужно утешать тогда, когда мы можем научиться уважать. О, будем внимательны и постараемся неустанно улучшать качество любви, которую мы предлагаем людям. Чаша любви, зачерпнутой на вершинах, ценнее сотни чаш, которые мы бы зачерпнули в стоячих бассейнах будничного милосердия. И не все ли равно, узнает ли до самого конца тот, кого вы любите уже не только из милосердия, не только за его слезы, — узнает ли он, что вы в эту минуту любите его за то, что облагородили его, равно как и самого себя? Вы поступили так, как вам казалось лучшим, хотя бы это лучшее и оказалось бесполезным. Не следует ли всегда поступать в жизни так, как если бы нас всегда созерцал Бог, которого жаждет наиболее возвышенное желание нашего сердца?

LXXII

Но вернемся к великим запутанным законам. Немного дней тому назад, в одной ужасной катастрофе⁷, рок еще раз и наиболее ярким образом проявил то, что люди называют его несправедливостью, его ослеплением или его независимостью. Он как будто нарочно покарал единственную из внешних добродетелей, оставленных нам разумом; я говорю о любви к ближним. Возможно, что в здании, куда постучался в этот день рок, находились некоторые несовершенные праведники. Но кажется несомненным, что среди них был хоть один праведник искренний и бескорыстный. Почти несомненное присутствие такого праведника и ставит перед нами во всей чистоте страшный вопрос, от которого мы не можем уклониться. Не будь этого праведника, мы могли бы сказать себе, что мы не знаем, сколько высшей справедливости входит в несправедливость, кажущуюся нам огромной. Мы могли бы себе сказать, что так называемая благотворительность была, быть может, лишь слишком дерзким цветком постоянной несправедливости. Человек не решается верить, что во всем внешнем ему приходится бороться и считаться только со слепыми фактами и силами: с водой, с огнем, с воздухом, с законом тяготения и некоторыми другими. У нас есть потребность оправдывать случай. И когда мы его формально обвиняем, то мы это делаем, как бы оправдывая его в прошлом или в будущем, выражая такое же тягостное недоумение, какое мы испытываем, узнав, что порядочная особа совершила низкий и презренный поступок. Нам приятно создавать в мыслях идеальный случай, более справедливый, чем мы сами; и когда ему приходится совершить бесспорную несправедливость, то после минуты изумления мы в глубине сердца возвращаем ему все наше доверие и говорим себе, что мы не знаем всего, что он знает, и что он, вероятно, подчинился законам, которых мы не можем

⁷ Пожар на базаре благотворительности в Париже (4 мая 1897 г.).

постигнуть. Мир казался бы нам слишком мрачным, если бы случай не был нравственным. Отсутствие какой-то справедливости, охраняющей нашу мораль, казалось бы нам отрицанием всякой морали и всякой справедливости. Мы уже отвергли низкую и узкую мораль возмездий и наград, которую предлагает нам положительная религия. Но мы при этом забываем, что если бы случай был одарен малейшим чувством справедливости, то высокая, бескорыстная мораль, о которой мы мечтаем, стала бы невозможной. Если вы не убеждены, что случай абсолютно несправедлив, то нет никакой заслуги быть справедливыми. Мы отвергаем идеал святых и твердо верим, что исполнять свой долг в надежде на какую-нибудь награду, будь это только радостное сознание исполненного долга, должно казаться в глазах мудрого Бога столь же малоценным, как делать зло, потому что оно нам полезно. Мы охотно говорим себе, что, если Бог так же возвышен, как самая возвышенная идея, которую Он вдохнул в душу лучших среди нас, то Он должен отстранить от Себя всех людей, желающих Ему угодить, т. е. всех, которые делали добро не с тем же чувством, как если бы Бог не существовал, и которые не любили добродетели больше, чем самого Бога. Но в действительности перед малейшим происшествием мы замечаем, что немногим переросли детские книжки о «нравственности в ее действиях», в которых все преступления бывают наказаны. Мы, наоборот, нуждаемся в сборниках о «наказанных добродетелях». Они были бы более полезны для правдивых душ, поддерживая в них гордость и энергию добра. Не будем терять из виду, что только из безнравственности случая должна родиться более чистая нравственность, и тут, как повсюду, чем больше человек чувствует себя покинутым, тем легче он обретает свою собственную силу. В великих несправедливостях случая нас тревожит отрицание высокого нравственного закона; но как раз из этого отрицания непосредственно рождается высший нравственный закон. С уничтожением возмездия и награды рождается в нас необходимость делать добро ради добра. Не следует никогда смущаться, если нам кажется, что исчезает нравственный закон: в запасе всегда находится другой закон, более возвышенный. То, что мы должны были бы прибавить к нравственности рока, мы должны были бы отнять от нашей собственной более чистой нравственности. И наоборот, чем более мы убеждены, что рок несправедлив, тем более мы расширяем и очищаем перед собой области высшей морали. Не будем воображать, что основы нравственности рухнут оттого, что Бог кажется нам несправедливым. Наоборот, лишь в очевидной несправедливости своего Бога человеческая нравственность нашла бы свои незыблемый основы.

LXXIII

Примирился с равнодушием природы по отношению к мудрецу. Это равнодушие удивляет нас лишь потому, что мы недостаточно мудры; одна из обязанностей мудрости заключается в том, чтобы отдавать себе отчет с возможной точностью и с возможным смирением о том месте, которое человеческое существо занимает во вселенной.

Человек кажется великим в своей сфере, подобно тому, как пчела кажется огромной над ячейкой своего сота. Но было бы нелепостью ожидать, что в полях раскроется хоть на один цветок больше оттого, что матка героически вела себя в своем улье. Не нужно опасаться, что мы умаляем себя, возвышая вселенную. Кто бы ни казался нам великим, мы ли сами или весь мир, чувство бесконечного — эта кровь всякой добродетели — с одинаковой силой будет обращаться в нашей душе.

И что представляет собой наш хороши поступок, чтобы мы могли ожидать за него каких-нибудь обыкновенных наград? Награды эти мы должны обретать в себе самих, а не в законах тяготения. Лишь те, кто не знает, что такое добро, требуют плату за добро. Не забудем, прежде всего, что добродетельный поступок всегда соответствует ощущению счастья. Такой поступок всегда является цветком долгой внутренней жизни, счастливой и довольной. Он всегда предполагает долгие часы и дни отдыха на самых мирных вершинах нашей души. Никакая последующая награда не сравнится с мирной наградой, которая ей предшествует. Праведник, погибший в катастрофе, о которой я только что говорил находился там только потому, что он обрел в добре такую достоверность, такой мир, каких не могли бы ему дать никакое счастье, никакая слава, никакая любовь. Если бы перед такими людьми раскрывался огонь, отступали воды и сама смерть стала бы колебаться, то что стало бы отныне с героями и праведниками? Что стало бы со счастьем добродетели, которая сознает себя счастливой лишь оттого, что она благодарна и чиста, и которая благодарна и чиста лишь потому, что не ждет никакой награды? Есть человеческая радость в том, чтобы делать добро, стремясь к какой-нибудь цели; есть божественная радость, чтобы делать добро, ничего не ожидая. Обыкновенно человек знает, почему он делает зло, но чем менее мы знаем, почему мы делаем добро, тем более чистым является это добро. Для того, чтобы узнать ценность праведника, спросим его, почему он праведен: весьма возможно, что тот, кто менее других сможет ответить на вопрос, и будет самым совершенным праведником. Возможно, что по мере того, как растет разум, число побуждений, толкающих душу к героизму, уменьшается; но в то же время разум замечает, что у него нет никакого другого идеала, кроме героизма, все более и более сокровенного и бескорыстного.

Как бы то ни было, тот, кто чувствует потребность увеличить ценность добродетели, прибавляя к ней одобрение судьбы и мира, еще не вполне обладает чувством добродетели. Хорошо поступать можно, лишь действуя для себя самого, не ожидая ничего, кроме все более ясного знания того, что такое добро. «Без других свидетелей, кроме своего сердца», — говорит Сен-Жюст. Я думаю, что в глазах Бога существует значительная разница между душою человека, убежденного в том, что лучи добродетельного поступка не имеют пределов, и душою того, кто говорит себе, что эти лучи, вероятно, не должны перейти за ограду его сердца. Истина слишком самолюбивая, не будучи сомнительной, может в известную минуту вдохнуть в нас большую силу; но истина более смиренная и более человеческая всегда внушает нам силу более терпеливую и значительную. Следует ли быть солдатом, убежденным, что

каждым из его ударов решается участь победы, или таким, который, зная, как мало он значит в общей схватке, тем не менее сражается с таким же твердым мужеством? Честный человек не решился бы обмануть ближнего, но он слишком часто склонен думать, что слегка обмануть самого себя есть признак служения идеалу.

Но вернемся к разочарованию праведника. Я уверен, что лучшие среди нас стали бы искать другого счастья, если бы добродетель была полезна, и что Бог отнял бы у них одно из главных побуждений жизни, если бы стал их часто награждать. Возможно и то, что ничто в мире не необходимо, и что, если отнять у души радость делать добро ради добра, она нашла бы другую, еще более чистую радость; но, пока эта радость является самой прекрасной, не будем касаться ее без нужды. Не будем слишком часто касаться несчастий добродетели из страха задеть в то же время чистейшую сущность ее счастья. Души, действительно вкусившие от этого счастья, были бы так же удивлены, видя, что их желают вознаградить, как другие были бы удивлены, видя, что их желают наказать за страдания. На злополучия добродетели всего более жалуются те, которые всего менее живут в ней.

LXXIV

Индийская мудрость права, говоря: «Трудись, как трудятся честолюбивые. Уважай жизнь, как делают те, кто ее жаждет. Будь счастлив, как те, кто живет ради счастья».

В этом центральная точка человеческой мудрости. Поступать так, как если бы каждый поступок приносил плод необычайный и вечный, и в то же время знать, как ничтожен праведный поступок перед лицом вселенной. Чувствовать это несоответствие и тем не менее совершать свой путь, как если бы соответствия были человечны. Не терять из виду великой сферы и двигаться в своей маленькой с таким же доверием, с такой же твердостью, с таким же убеждением и чувством довольства, как если бы она содержала в себе великую сферу.

Нуждаемся ли мы в иллюзиях для того, чтобы поддерживать наше желание добра? Будь это так, следовало бы сознаться, что это желание несогласно с человеческой природой. Неблагоразумно думать, что сердце долго еще верит в то, во что разум уже больше не верит. Но разум может верить в то, что заключено в сердце. Он даже все более и более бесхитростно ищет убежища в сердце каждый раз, когда ночь спускается на его владения. Ибо разум по отношению к сердцу играет роль осмотрительной, но слишком юной девушки, которая часто нуждается в советах своей матери, улыбающейся и слепой. Наступает в жизни минута, когда нравственная красота кажется более нужной, чем красота умственная. Наступает минута, когда все приобретения разума должны претвориться в величие души под страхом затеряться жалким образом среди долины, подобно реке, не нашедшей себе выхода к морю.

LXXV

Но не следует ничего преувеличивать, когда речь идет о мудрости, даже по отношению к самой мудрости. Если внешние силы не всегда останавливаются перед человеком, делающим добро, то внутренние силы в большинстве случаев ему подчинены, а все радости и страдания людей происходят от сил внутренних. Мы уже говорили, что мудрец, проходя мимо жизни, обрывает тысячу драм. Он одним своим присутствием обрывает большую часть драм, которые нарождаются от заблуждения или от зла. Он обрывает их в самом себе и мешает их рождению вокруг себя. Люди, которые совершили бы тысячу безумий и преступлений, не совершают их оттого, что встретили на своем пути человека, одаренного простой и жизненной мудростью, ибо в жизни большинство характеров второстепенные и по прихоти случая вступают в полосу страдания или мира. Вокруг Жан-Жака Руссо, например, все стонут, все изменяют, все полны ухищрений и задних мыслей, все как бы живут в бреду; вокруг Жана Поля все честны, все кажутся благородными, ясными, все умиротворены и все любят. То, что мы побеждаем в себе, мы в то же время побеждаем во всех окружающих нас. Около справедливого человека всегда образуется мирный круг, за который стрелы зла мало-помалу теряют привычку проникать. Моральные страдания, постигшие его, не зависят больше от людей.

В буквальном смысле слова нужно сказать, что людская злоба может заставить нас плакать лишь в тех областях, где мы сами еще не потеряли охоты доводить до слез наших врагов. Если стрелы зависти еще ранят нас, то это доказывает, что мы сами могли бы еще бросать такие стрелы, и если измена извлекает у нас слезы, то это доказывает, что в нас самих скрывается готовность изменять. Душу можно ранить только теми же орудиями нападения, которые она сама еще не бросила на великий костер любви.

LXXVI

Что же касается драм, порожденных добром, то они разыгрываются на сцене, одинаково скрытой от мудреца, как и от других людей. Мы видим только развязку этих драм, но не знаем, в какой тени или в каком свете она подготовлялась. Праведник может обещать себе лишь одно, — то, что рок настигнет его при совершении поступка любви или справедливости. Он всегда будет настигнут лишь в состоянии благодати, по выражению христиан, т. е. в состоянии внутреннего счастья. И одно уже это закрывает двери всем внутренним злотворным судьбам и большинство дверей внешним случайностям.

По мере того, как возвышается наше представление о долге и счастье, царство нравственных страданий становится все чище, а разве не в этой области рок царит наиболее деспотично? Наше счастье в итоге зависит от нашей внутренней свободы. Свобода эта растет, когда мы делаем добро, и умалется, когда мы делаем зло. Не в переносном, а в буквальном смысле Марк Аврелий становился свободнее каждый раз, как обретал новую истину в

терпимости, каждый раз, когда прощал или мыслил. В еще менее переносном смысле Макбет налагал на себя новые цепи с каждым из своих преступлений. И все, что верно относительно великих преступлений на сцене королевской и великих добродетелей в жизни героя, одинаково верно по отношению к самым скромным поступкам и ко всем неведомым добродетелям обычной жизни. Вокруг нас множество Марков Аврелиев, не вышедших из младенческого возраста, и Макбетов, еще живущих в детской. Как бы ни была несовершенна наша идея добра, сто́ит нам на минуту ее покинуть, как мы очутимся во власти внешних злых сил. Простая ложь по отношению к себе самому, погребенная в молчании моего сердца, может нанести моей внутренней свободе такой же пагубный удар, как измена на народной площади. И как только моя внутренняя свобода задета, рок приближается к моей внешней свободе, подобно тому, как хищный зверь медленно подкрадывается к жертве, которую долго подстерегал.

LXXVII

Существует ли драма, в которой человек истинно-прекрасный и истинно-мудрый страдал бы так же глубоко, как и злой? Кажется несомненным, что в этом мире зло влечет за собой наказание более неизбежно, чем добродетель награду. Правда, что преступление обыкновенно наказывает себя с громкими воплями, между тем как добродетель награждает себя в молчании, образуящем скрытый сад его счастья. Зло, наконец, ведет за собой катастрофы буйные, между тем как добродетельный поступок является лишь немою жертвой, приносимой самым глубоким законам человеческого существования. И вот почему нам кажется, что весы великой справедливости охотнее склоняются в сторону тени, чем в сторону света. Но если мало вероятно, что действительно существует «счастье в преступлении», то разве чаще встречается «несчастье в добродетели»? Исключим сначала страдания физические, по крайней мере те, источник которых скрыт в самых темных лесах случая. Само собою разумеется, что толпа палачей могла бы бросить Спинозу на ложе пыток, и ничто не могло бы помешать самой мучительной болезни обрушиться на Антонина Благочестивого так же, как на Регану или Гонерилью. Все это составляет не человеческую, а животную сторону страдания. Заметим, однако, что мудрость отрягает науку, самую младшую свою сестру, с тем, чтоб она с каждым днем уменьшала во владениях рока даже область физических страданий. Но в этих областях, невзирая ни на что, всегда останется неприступный угол, где будет царить злосчастье. Всегда кто-нибудь будет становиться жертвой неустранимой несправедливости, и если последнее нас печалит, то оно по крайней мере научает нас воздать мудрости более реальной, человеческой и гордой все то, что мы отнимаем от мудрости слишком мистической.

Мы становимся истинно справедливыми лишь с того дня, как мы вынуждены искать образец справедливости только в себе самих. К тому же несправедливость рока указывает человеку его истинное место в природе. Ему вовсе не следует всегда озираться вокруг себя, подобно ребенку, который еще ищет свою мать. Нечего опасаться, что подобные разочарования могут лишить

нас нравственной бодрости. Истина, как бы она ни казалась безнадежной, оживляет бодрость тех, кто умеет ее принимать. Во всяком случае, истина, безнадежная одним тем, что она истина, всегда значительно сильнее самой прекрасной ободряющей нас лжи. Но на самом деле нет истин безнадежных, а есть надежды, несовместимые с истиной. То, что потрясает слабых, укрепляет сильных. «Я вспоминаю о дне нашей любви, — писала одна женщина, — когда, стоя у широкого окна, обращенного к морю, мы смотрели на множество белых лодок, появившихся на горизонте и мирно входивших в гавань, лежавшую под нами... О, я так ясно припоминаю этот день! Помнишь ли, что на одной лодке был почти черный парус и что она-то вошла последнею в гавань. Помнишь ли также, что тогда наступил час разлуки, мы были этим очень опечалены и решили считать приход последней лодки сигналом к отъезду. В той случайности, которая наделила последнюю лодку черным парусом, мы могли бы увидеть причину для грусти. Но в качестве любовников, “принявших” жизнь, мы, улыбаясь, отметили эту случайность и еще раз поняли друг друга».

Да, вот каким образом следует поступать в жизни. Не всегда легко улыбаться приходу черных лодок, но всегда возможно найти в жизни нечто такое, что властвует над нами, не печалит нас, как любовь, не печалит ее, властвовала над женщиной, писавшей эти слова. По мере того, как разум и сердце расширяются, они все реже говорят о несправедливости. Полезно повторять себе, что все к лучшему в этом мире по отношению к нам, ибо мы плоды этого мира. Закон вселенной, кажущийся нам жестоким, вероятно, более согласен с нашей природой, чем все лучшие законы, какие мы могли бы придумать. Наступило, по-видимому, время, когда человек должен научиться помещать центр своей гордости и своих радостей где-нибудь вне себя. Наши глаза открываются, и мы чувствуем себя во власти все более и более огромной силы; но в то же время мы все более и более приобретаем внутреннюю уверенность в том, что мы сами составляем часть этой силы. И даже когда она нас поражает, мы продолжаем восхищаться ею, как юный Телемах восхищался силой отцовских рук.

Приучим себя мало-помалу созерцать бессознательность природы с тем же радостным и трогательным любопытством и удивлением, с каким мы иногда следим за непреодолимыми движениями нашей собственной бессознательности. Какая польза в том, что мы наведем слабый свет своего разума на то, что мы называем бессознательным в природе или в нас самих? И то и другое принадлежит нам одинаково глубоко. «После сознания нашей силы, — говорит Гюйо, — одно из величайших преимуществ человека состоит в том, что он может сознать свое бессилие, по крайней мере, в качестве индивида. Из самого несоответствия между бесконечным, которое нас убивает, и нашей собственной малостью, в нас рождается чувство какого-то величия: нам приятнее быть раздавленными горой, чем каменной глыбой; на войне мы предпочитаем погибнуть, сражаясь против тысячи врагов, чем против одного. Разум, указывая нам, так сказать, на беспредельность нашего бессилия, отнимает у нас сожаление о нашем поражении».

Как знать? Уже теперь бывают минуты, когда сила, поражающая нас,

больше нас занимает, чем часть нашего существа, которая терпит поражение. Ничто так легко не меняет свою обитель, как самолюбие, ибо инстинкт предупреждает нас, что ничто так мало не составляет нашей собственности. Самолюбие придворных, охраняющих могущественного короля, находит великолепное убежище во всемогуществе этого короля; и унижение, которое обрушивается на их голову с высоты грозного трона, тем менее задевает их гордость, чем с большей высоты оно обрушилось. Если бы природа стала менее равнодушной, она не казалась бы нам достаточно обширной. Наши чувства бесконечного нуждаются во всей бесконечности природы, во всем ее равнодушии для того, чтобы свободно двигаться. И часть нашей души всегда предпочтет плакать порой в мире безграничном, чем быть неизменно счастливой в мире ограниченном.

Если бы рок относился к мудрецу с неизменной справедливостью, то это, конечно, было бы превосходно уже потому, что это было бы так. Но рок безучастен, и это еще лучше и, может быть, величественнее. Во всяком случае, это настолько же придает важности вселенной, насколько отнимает значения у поступков нашей души. При этом мы ничего не теряем, ибо никакое величие не потеряно для мудреца, находится ли оно в природе или на дне его сердца. Зачем нам вопрошать о том, где помещается бесконечное? Насколько бесконечное может принадлежать человеку, оно принадлежит только тому, кто преклоняется перед ним.

LXXVIII

Помните ли вы роман Бальзака под заглавием «Пьеретта» в серии «Холостяков»? Это далеко не одно из лучших его произведений, и я упомянул о нем, не имея в виду его художественных достоинств. В романе изображена кроткая, невинная бретонская сиротка. Несчастливая звезда оторвала ее от дедушки и бабушки, обожавших ее, и похоронила в глубине провинциального города, в печальном доме ее дяди и тети, по имени Рогрона и его сестры Сильвии, лавочников, продавших свою лавку и сделавшихся серыми и жесткими буржуа, глупо-чванливыми и жадными, беспокойными холостяками, мрачными и инстинктивно все ненавидящими.

Мученичество безобидной и любящей Пьеретты начинается с самого дня ее приезда. К этому примешиваются тяжелые денежные обстоятельства: заботы об экономии по хозяйству, о расстройстве браков, об удовлетворении мелкого самолюбия, о наследстве и т. д. Соседи, друзья Рогрона, спокойно присутствуют при медленной и долгой пытке жертвы; их инстинкт естественно радуется успеху более сильных. Все кончается плачевной смертью Пьеретты и торжеством Рогронов, презренного адвоката Винне и всех их пособников. Ничто отныне не нарушит счастье палачей. Сам случай как будто благословляет их, и Бальзак, уступая, помимо воли, правде фактов, как бы с сожалением кончает свой рассказ следующей фразой: «Согласимся про себя, что законность была бы выгодным делом для мошенничеств, если бы не существовал Бог».

Не надо искать только в романах подобной драмы. Они ежедневно разыгрываются во многих домах. Я позаимствовал этот пример у Бальзака потому, что у него мы находим в готовом виде эту будничную историю торжества несправедливости. Нет ничего более нравственного, чем подобные примеры, и большинство моралистов, может быть, неправы, ослабляя такие великие уроки из желания оправдать по возможности несправедливости рока. Одни возлагают на Бога заботу о награждении невинности. Другие скажут нам, что в подобных приключениях наибольшего сожаления заслуживает не жертва. Эти последние несомненно правы по многим соображениям. Преследуемая и несчастная маленькая Пьеретта знает радости, неведомые ее палачам. Она и в слезах остается любящей, нежной и кроткой, а это дает больше счастья, чем смеющийся, жесткий и ненавидящий эгоизм. Печально любить, не будучи любимым; но еще печальнее совсем не любить. И разве можно сравнивать уродливые радости, низкие и узкие надежды Рогронов с великой надеждой девочки, ожидающей в душе конца несправедливости? Ничто в романе не указывает нам, что бледная Пьеретта была умнее, чем ее окружающие; но тот, кто незаслуженно страдает, создает себе в страданиях горизонт, который настолько расширяется, что в известных пунктах может соприкоснуться с радостями высших натур, подобно тому как даже не на вершине горы нам иногда кажется, что горизонт земли касается подножия небес. Совершаемая нами несправедливость неминуемо сводит нашу жизнь к маленьким плотским удовольствиям, и по мере того, как мы их вкушаем, мы с завистью смотрим на способность нашей жертвы все ярче и сильнее наслаждаться теми благами, которых мы не в силах у нее отнять, всем тем, чего мы не силах постигнуть, что не касается непосредственно материи. Несправедливый поступок широко распахивает перед жертвой ту самую дверь, которую палач захлопывает перед собственной душой, и тогда тот, кто страдает, дышит более чистым воздухом, нежели тот, кто причиняет страдания. В сердце преследуемых бывает во сто раз светлее, чем в сердце преследующих. А разве сила счастья не зависит от качества света, который мы в себе носим? Человек, причиняющий страдания, гасит в себе самом больше счастья, чем в душе того, кого он терзает.

Кто из нас, если бы представился выбор, — не предпочел бы быть на месте Пьеретты, чем на месте Рогронов? Наш инстинкт счастья знает, что невозможно, чтобы тот, кто нравственно прав, не был более счастлив, нежели тот, кто неправ, даже если бы он был неправ с высоты трона. Правда, что Рогроны, быть может, не сознают своей неправоты. Все равно. В бессознательном зле дышится не легче, чем в сознательном. Даже наоборот: у того, кто сознает свое зло, иногда возникает желание вырваться из своей тюрьмы. Другой же в ней умирает, даже в мыслях ни разу не насладившись всем тем, что находится за стенами, печально скрывающимися от него истинную судьбу человека.

LXXIX

К чему искать справедливости там, где ее не может быть? Разве она может

существовать где-нибудь, кроме души человеческой? Язык, на котором она говорит, кажется естественным языком человеческого духа; но сто́ит последнему предпринять путешествие по вселенной, как он должен научиться другим словам. Вселенная ни о чем так мало не помышляет, как об идее справедливости. Она заботится лишь о равновесии. И то, что мы называем справедливостью, есть лишь человеческое видоизменение законов равновесия, подобно тому как мед является лишь переработанным соком цветов. Вне человека нет справедливости. Но в самом человеке никогда не совершается актов несправедливости. Тело может наслаждаться бесчестно приобретенным удовольствием, но душа знает лишь удовлетворения, заслуженные ее добродетелью. Наше внутреннее счастье взвешивается судьей, которого ничто не может подкупить, ибо пытаться подкупить его — это значит похитить одно из последних истинных благ, которое он собирался положить на светлую чашу весов. Грустно, конечно, что возможно притеснять безобидную жертву, как это делали Рогроны, и омрачить таким образом несколько лет жизни, которые жребий миров уделил ей на нашей земле. Но о несправедливости можно было бы говорить лишь тогда, если бы поступки Рогронов доставили им внутреннее блаженство, мир, возвышенность мыслей и жизни, подобные тем, какие добродетель, размышления и любовь доставляли Спинозе и Марку Аврелию. Можно, правда, испытывать некоторое духовное удовлетворение, делая зло. Но злые поступки неизбежно суживают мысль и приковывают ее к наслаждениям личным и преходящим. Совершая несправедливый поступок, мы этим еще не достигаем счастья, которого человек может достигнуть. В самом зле, в конце концов нечестивый хочет обрести известный мир, известное просветление своего существа. Он чувствует себя счастливым в том просветлении, какое он обрел. Но разве Марк Аврелий, знавший другое просветление, другое спокойствие, был бы счастлив на его месте? Представим себе ребенка, который не видел моря: его приводят на берег большого озера, он воображает, что увидел море, хлопает в ладоши и доволен; но разве истинное море от этого перестало существовать?

Тот, чье счастье зависит от тысячи мелких побед, какие ежедневно должны одерживать зависть, суетность, равнодушие, — может ли он почитаться счастливым в глазах тех, кто видел нечто лучшее? Неужели вы пожелали бы иметь его понимание жизни, религию, которой довольствуется его душа, идею вселенной, которую предполагают его желания? А разве не все это образует более или менее широкое или глубокое русло, по которому течет счастье? Он, может быть, верит в то же, что мудрец, — в бытие или в небытие Бога, в то, что все кончается в этой жизни, или что есть продолжение в жизни другой, в то, что существует одна материя или один дух. Но неужели вы думаете, что он верит во все это таким же образом, как и мудрец? А разве счастье, которое мы почерпаем в нашей вере, т. е. достоверность жизни, мир и доверие к внутреннему существованию, наше согласие принять законы природы, не вынужденное, а деятельное, вопрошающее, сыновнее, — разве все это не зависит больше от того, как мы верим, чем от того, во что мы верим? Я могу бесконечно религиозным образом верить в то, что Бога нет, что мое появление

в мире не имеет вне себя никакой цели, что существование моей души так же не нужно для экономии этого беспредельного мира, как мимолетные оттенки в окраске цветка, а вы можете самым мелочным образом верить в единого всемогущего Бога, который вас любит и защищает. И я буду счастливее и спокойнее вас, если моя неуверенность возвышеннее, благороднее и значительнее, чем ваша вера, если она глубже вопрошала мою душу, если она обошла более обширный горизонт, если она любила большее число явлений. Бог, в которого я не верю, становится более могущественным и более утешающим, чем тот, в которого вы верите, если я заслужил, чтобы мое сомнение покоилось на мыслях и чувствах более широких и чистых, чем те, которые воодушевляют вашу уверенность. Повторю еще раз; важно не то, чтобы верить или не верить; единственное значение имеет та честность, тот объем бескорыстия, та глубина мотивов, по которым мы верим или не верим.

LXXX

Этих мотивов нельзя выбрать по своему желанно, — их заслуживаешь, как награду. Те же, которые мы выбираем, подобны купленным по случаю рабам; они живут как бы во сне, ни к чему не привязываются, вечно ждут случая, как бы сбежать. Но те мотивы, которые мы заслужили, ведут наши шаги, как вдумчивые и верные Антигоны. Нельзя ввести эти мотивы в нашу душу. Нужно, чтоб они там долго жили, чтоб они провели там свое детство, чтоб они питались там всеми нашими мыслями и поступками, чтоб они находили там тысячу воспоминаний о жизни, полной искренности и любви. По мере того, как эти мотивы растут, по мере того, как расширяется горизонт нашей души, расширяется и горизонт счастья. Ибо место, занимаемое нашими чувствами и мыслями — единственное, в котором может двигаться наше счастье. Счастье наше не нуждается в материальном пространстве, но открывающийся перед ней духовный простор никогда не бывает достаточно велик. Необходимо постоянно его расширять, пока не наступит минута, когда наше счастье не будет просить другой пищи, кроме самого пространства, которое оно, возвышаясь, открыло. Тогда человек начинает быть счастливым в истинно-человечной, неистребимой части своего существа; все другие виды счастья в сущности не что иное, как еще бессознательные обрывки этого счастья, которое размышляет, созерцает и не находит больше границ ни в себе, ни в окружающем.

LXXXI

Это пространство ежедневно суживается во зле, ибо в нем неизбежно суживаются мысли и чувства. Но человек, духовно несколько поднявшийся, не способен на зло, ибо всякое зло, в последнем анализе, рождается от узкой мысли или от пошлого чувства. Он не способен на зло, потому что его мысли стали выше и чище, а мысли его становятся более чистыми оттого, что он не в состоянии больше сделать зла. Таким образом наши поступки и наши мысли, завоеывая мирное небо, где жизнь нашей души может расти без помех, так же

неразлучны, как два крыла птицы, и то, что для птицы еще остается законом равновесия, здесь уже становится законом правды.

LXXXII

Как знать о том жалком удовлетворении, которое творящий зло временами находит во зле — может ли оно стать чувствительным для души прежде, чем к нему не примешалось слабое и смутное желание, отдаленное обещание или возможность добра и милосердия?

Может быть, злой, победив свою жертву, замечает в своей радости менее мрачную и менее бесполезную сторону лишь в ту минуту, когда он думает, что он мог бы простить. Злоба как будто должна иногда заимствовать у доброты один из ее лучей для того, чтобы осветить свое торжество. Разве может человек улыбаться в ненависти, не желая улыбнуться в любви? Но такая улыбка будет мимолетной. И тут, как и повсюду, нить внутренней несправедливости. Можно сказать, что нет души, в которой мерило счастья не носило бы точно таких же делений, как масштаб справедливости и любви. Я объединяю эти два слова, ибо любовь или милосердие есть та справедливость, которая может рассчитываться только драгоценностями. Человек, который подбирает крохи счастья во зле, этим самым подтверждает, что он менее счастлив, чем тот, кто видит это зло и осуждает его. Однако у него та же цель, как у праведника. Он ищет счастья и вместе с тем какого-то мира, какой-то уверенности. Зачем его наказывать? Ведь мы не сердимся на нищего за то, что он не обитает во дворце. Он уже довольно несчастен тем, что должен жить в хижине. В глазах человека, который видел и невидимое, душа наиболее несправедливая всегда будет обладать качествами, незапятнанными ризами и священной деятельностью справедливости. Ему будет казаться, что и злой взвешивает мир, любовь, сознание жизни, улыбки земли и неба и все силы, которые их уничтожают, унижают или отравляют, с тою же тщательностью, как и душа праведника, героя или мыслителя. Может быть, мы не совсем неправы, думая о справедливости среди мира, который к ней равнодушен, так же, как и пчела не права, вырабатывая мед среди мира, который сам его не производит. Но мы неправы, стремясь к внешней справедливости, так как такой не существует. Мы должны довольствоваться той, которая заключена в нас самих. Все постоянно в нас взвешивается и подвергается суду. Мы сами производим суд над собой, или, вернее, нас судит наше счастье.

LXXXIII

Скажут, быть может, что добро, как и зло, влечет за собою поражения и разочарования; но поражения и разочарования добра, вместо того, чтобы омрачить и опечалить мысль, проясняют, и умиротворяют, ее. Добродетельный поступок может упасть в пустоту, но именно тогда он научает нас измерять глубины души и жизни. Часто он падает туда, как драгоценный камень, более сверкающий, чем наши мысли. Когда злобная интрига госпожи Рогрон терпит

поражение перед невинностью Пьеретты, душа ее еще больше суживается. Но когда щедроты Тита нисходят на неблагодарного, бесполезность прощения и любви научают его поднимать взоры выше прощения и любви. Человеку не следует замыкаться в чем бы то ни было, даже в добре. Последнее движение добродетели да будет всегда движением ангела, приотворяющего какую-нибудь дверь.

Эти поражения следует благословлять. Если бы случай пожелал, чтобы каждый раз, когда мы прощаем, наш враг становился нашим братом, мы умерли бы, не зная той радости, которую в нас вызывает нерасчетливое милосердие, когда оно не сопровождается сожалением. Мы умерли бы, не имев случая измерить силы, окружающие нашу жизнь, при помощи высшей силы, находящейся в нашей душе. Бесплезность доброго поступка, кажущаяся ненужность возвышенной или просто честной мысли бросает на многое иной свет, чем тот, который могла бы отбросить полезность добра. Было бы, конечно, великой радостью убедиться в постоянном торжестве любви; но еще высшую радость доставляет нам необходимость доходить до истины, минуя эту иллюзию. «Человек, — сказал мыслитель, слишком рано отнятый у нас смертью, — человек слишком часто на протяжении истории помещал свое достоинство в заблуждениях, и истина прежде всего казалась ему умалением его самого. Истина не всегда сбивает мечты, но она имеет за себя то, что она истинна. В области мысли нет ничего более нравственного, чем истина».

И в этой истине нет ничего горького, ибо никакая истина не кажется горькой мудрецу. Возможно, что и он когда-то хотел, чтобы добродетель двигала горами и чтобы поступок любви навсегда смягчал душу всех его братьев. Но с тех пор он научился предпочитать, чтобы было по-иному, — не ради удовлетворения своей гордости. Он не считает себя лучшим, нежели мир, но он считает себя в мире менее значительным, чем прежде. Страсть к справедливости, которую он находит в своей душе, он отныне утверждает не ради плодов, которые она приносит, а из уважения ко всему существующему и ради неожиданных цветов, которые она рождает в его разуме. Он не проклинает неблагодарного, не проклинает даже неблагодарности; он не говорит: «я лучше такого-то», или: «я недоступен такому-то пороку». Но неблагодарность научает его тому, что в благоденствии есть скрытые радости, более обширные, менее личные и более сообразные с общею жизнью, чем те, которых он ожидал от благодарности. Он предпочитает понимать действительность, чем верить в свои желания. Он долго жил, уподобляясь нищему, внезапно перенесенному из своей хижины в обширный дворец. Проснувшись, он стал искать с беспокойством в слишком просторных залах жалких воспоминаний своей тесной каморки. Куда делись печка и постель, и стол, горшок и скамейка? Он нашел подле себя свой жалкий, еще мерцавший ночник; но слабый свет не достигал до высоких сводов, и только ближайший столб, поддерживающий потолок, временами, казалось, колебался под бессильными ударами маленьких крыльев этого света. Но мало-помалу глаза его осваиваются с новым жилищем. Он обходит бесчисленные покои и так же глубоко наслаждается всем, чего его светоч не освещает, как и тем, что им

освещено. В первую минуту он хотел бы, чтобы двери были не так высоки, лестницы не так широки, и чтобы его взоры не терялись в глубине галерей. Но, продолжая обход, он начинает понимать красоту и величие того, что не совсем согласовалось с его мечтою. И он счастлив, убедившись, что не все здесь вращается вокруг его стола и кровати, как в его хижине. Он поздравляет себя с тем, что дворец не был построен по мерке жалких потребностей его нищеты. Он восхищается всем тем, что, противореча его желанию, расширяет его видение. Так точно все, что существует, утешает и укрепляет мудреца, ибо мудрость заключается в том, чтобы открывать и допускать все существующее.

LXXXIV

Мудрость допускает даже Рогронов. Для нее самая жизнь важнее, чем добродетель или справедливость, и если бы высокая, слишком отвлеченная добродетель очутилась рядом с жизнью, движущейся среди узких стен, она бы охотнее обратила внимание на маленькую жизнь, чем на огромную, неподвижную, гордую и одинокую добродетель.

Прежде всего, мудрость ничего не презирает. На свете есть лишь одно истинно-презренное, это само презрение. Весьма часто те, которые мыслят, склонны презирать того, кто проходит в жизни, не предаваясь мышлению. Мысль, конечно, имеет огромное значение, и следовало бы прежде всего стараться мыслить как можно больше и как больше лучше. Но было бы преувеличением утверждать, что бóльшая или меньшая способность распорядиться известным числом общих понятий кладет непреступную черту между двумя людьми. В сущности, величайший мыслитель часто отличается от провинциального обывателя лишь настолько, насколько истина, нашедшая порою свое выражение, отличается от истины, еще никогда определенно не формулированной. Это, конечно, много. Это глубокий ров, но не бездна. Чем выше мысль поднимается над жизнью, тем более произвольной и временной кажется ей граница между тем, кто еще не мыслит, и тем, кто мыслит постоянно. Скромный обыватель полон предрассудков, смешных, по-видимому, страстей, узких, пошлых и часто низменных идей. Однако поставьте его рядом с мудрецом среди существенных обстоятельств жизни, — перед великой печалью, перед смертью, перед любовью, перед истинным героизмом, — и мудрецу не раз придется вернуться к своему скромному спутнику, как хранителю истины, столь же человеческой и верной, как и его собственная.

Бывают минуты, когда мудрец признает тщетность своих духовных сокровищ, когда он замечает, что его отделяет от прочих людей лишь несколько привычек и слов. Это минуты наиболее плодотворные для мудрости. Мыслить значит часто ошибаться, и мыслитель, который заблудился, часто должен для того, чтобы найти дорогу, вернуться к месту, где те, которые еще не мыслят, продолжали сидеть вокруг молчаливой, но необходимой истины. Они верно охраняют очаг племени. Мудрые обходят пути, держа факелы; но когда свет факелов начинает мерцать в разреженном воздухе, то благоразумно

вернуться к очагу. Этот очаг как будто не меняет своего места, но лишь потому, что он движется вперед вместе с мирами, и его маленькое пламя означает реальное время человечества. Мы точно знаем то, чем косная сила обязана мыслителю, но не всегда принимаем в расчет то, чем мыслитель обязан силе инерции. Мир, в котором жили бы только мыслители, потерял бы, быть может, познание многих необходимых истин. В действительности мыслитель может верно мыслить лишь при условии, чтобы он никогда не терял соприкосновения с теми, кто не мыслит.

Легко питать презрение, но менее легко понимать; и однако для истинного мудреца нет презрения, которое рано или поздно не превратилось бы в понимание. Всякая мысль, которая с пренебрежением проносится над великой молчаливой толпой и не узнает в ней тысячи уснувших сестер и братьев, слишком часто оказывается лишь зловредной и бесплодной мечтой. Полезно вспоминать по временам, что и в духовной атмосфере, как и в физической, должно быть больше азота, чем кислорода, для того, чтобы ею можно было дышать.

LXXXV

Я понимаю, что мыслители, подобные Бальзаку, находили удовольствие в изображении маленьких жизней. Ничто не пребывает столь вечным, столь подобным себе самому, как эти маленькие жизни, и однако из столетия в столетие ничто так глубоко не меняется, как атмосфера, в которую эти жизни погружены. Они повторяют одинаковые жесты под разными небесами. Но мы не заметили бы различья небес, если бы жесты не были одинаковы. Великий героический поступок поглощает наш взор, приковывая его к самому поступку; незначительные же слова и движения привлекают наше внимание к окружающему их горизонту. А разве светящаяся точка человеческой мудрости не всегда находится на горизонте? Если рассматривать вещи с точки зрения чувства и разума природы, то всеобщая посредственность этих жизней не может быть признана посредственной уже по одному тому, что она такая всеобщая.

Впрочем, на всем этом бесполезно настаивать. Мы чужую душу знаем лишь до той высоты, которой достигли в познании своей собственной души; и нет такого существа, каким бы оно вначале ни казалось малым, которое не возникало бы из тени по мере того, как уменьшается тень, в которую мы сами погружены. Для того, чтобы любить, необходимо увеличивать не то, что мы уже видим. Нужно освещать то, чего мы еще не любим, поднимая пламя до тех пор, пока оно достигнет уровня любви. Мы должны желать лишь того, чтобы ежедневно из нашей души исходил луч. Все равно, на что он упадет. Нет в мире предмета, на который могли бы упасть взор или мысль, не заключающего в себе больше сокровищ, чем они в состоянии осветить. И нет в этом мире вещи столь малой, которая не была бы обширнее, чем все лучи, какие душа может на него излить.

LXXXVI

Разве не в обыкновенных судьбах заключено все существенное человеческой судьбы, освобожденное от утомляющих внимание подробностей? Великая нравственная борьба на вершинах представляет прекрасное зрелище. Внимательный наблюдатель долго будет любоваться развесистым деревом, растущим среди пустынной долины. Однако, устав от созерцания, он вступит в лес, где деревья не столь величественны, но многочисленны. Возможно, что бесконечный лес состоит из незначительных стволов и ветвей, но разве он не глубок, и разве он не прав уже одним тем, что он лес? Последнее слово никогда не будет принадлежать исключительному, и то, что называют возвышенным, должно быть более светлым и проникновенным познанием самого нормального. Полезно часто глядеть на тех, кто борется на вершинах; но необходимо также не забывать и про тех, которые кажутся погруженными в сон среди равнины.

Наблюдая за тем, что происходит с погруженными в сон, поняв, сколько нужно было самому бороться, чтобы отличать их более узкое счастье от счастья отдельных борцов, мы, быть может, будем придавать меньше значения борьбе, но зато больше ее полюбим. Чем награда скромнее, тем она желаннее. Это не значит, что мы любим наслаждаться втайне, подобно недобросовестному придворному, милостями счастья. Но радости, которые оно таким образом уделяет нам, не извещая о нем других, являются, быть может, единственными, не отнятыми им у наших братьев. Обретая их, мы уже не смотрим на толпу, чтобы сказать себе: «Как я далек от этих людей». Мы наконец смиренно говорим себе: «По мере того, как я поднимаюсь, мне кажется, что я все меньше удаляюсь от моих самых многочисленных и самых смиренных спутников; я считаю свои шаги к неведомому идеалу по шагам, которые приближают меня к тем, кого я презирал в неведении и тщеславии первых дней».

LXXXVII

В сущности, что такое маленькая жизнь? Мы так называем жизнь, которая сама себя не знает, которая расходуется на одном месте среди четырех или пяти лиц, жизнь, чувства, мысли, страсти и желания которой прикованы к предметам незначительным. Но для того, кто ее наблюдает, она становится великой уже по одному тому, что он наблюдает ее. Сама по себе жизнь не бывает ни возвышенной ни ничтожной; но ее можно наблюдать с большей или меньшей высоты, и существование, которое кажется всем людям высоким и обширным, есть такое, которое привыкло само на себя бросать широкий взгляд. Если вы сами не будете наблюдать, как живете, вы по необходимости будете жить в узости; тот же, который со стороны будет наблюдать эту жизнь, найдет в самой малости вашего угла действия некоторые частицы горизонта, более твердую точку опоры, откуда его мысль может подняться с силой более человеческой и уверенной.

На первый взгляд кажется, что мы окружены существованиями

отяжелевшими, замкнутыми и однообразными, и что ничто не связывает с нашей душой, с врожденным нам чувством, с вечным интересом, с неистощимым человечеством, жизнь, например, старой девы, или какого-нибудь ограниченного чиновника, или скупца, узника своего золота. Но пусть кто-нибудь проникнет в их среду с открытым взором и напряженным слухом, как, например, Бальзак. Тогда чувство, рожденное в бедной провинциальной гостинице, отбросит от себя свет так же далеко, взволнует всю человеческую жизнь до ее родников столь же глубоких и могучих, как и величаящая страсть, которая в истории великого короля светит с высоты трона. «Есть маленькие бури, — говорит по этому поводу Бальзак в “Турском священнике”, одном из своих самых удивительных рассказов из жизни скромных людей, — есть маленькие бури, которые развивают в сердцах столько же страстей, сколько нужно было бы, чтобы направить по новому пути великие общественные интересы. Не ошибочно ли думать, что время кажется быстрым лишь для тех сердец, которые стали добычей обширных замыслов, волнующих жизнь и заставляющих ее кипеть? Часы жизни аббата Трубера протекали в таком же оживлении, проносились, нагруженные такими же беспокойными мыслями, были изборозжены столь же глубокими надеждами и разочарованиями, как могли бы быть жестокие часы честолюбца, игрока или влюбленного. Единому Богу известна тайна энергии, которой нам стоят победы, одерживаемые нами ежедневно над людьми, над природой и над самими собою. Если мы не всегда знаем, куда идем, то нам хорошо известна усталость от нашего путешествия. Однако, если повествователю позволительно покинуть драму своей повести и на время принять на себя роль критика, если он убедит вас бросить взгляд на жизнь этих старых дев и двух аббатов, чтобы найти причину несчастья, загубившего их в корне, то вы, может быть, увидите, что человеку необходимо испытать известные страсти для того, чтобы развить в себе качества, делающие жизнь благородной, расширяющей ее круг и усыпляющей ее эгоизм, естественно присущий всякой твари».

Бальзак говорит правду. Свет часто нужно любить не ради него самого, а ради того, что он освещает. Большой огонь на вершинах, конечно, прекрасен; но на вершинах мало людей, и маленькое пламя среди толпы часто приносит больше пользы. Впрочем, только в маленьких жизнях больше всего яснее видят свою сущность, и, лишь наблюдая за мелкими чувствами, мы расширяем свои собственные. Причина этого не в том, что мелкие чувства внушают нам отвращение, а в том, что они все менее и менее гармонируют с величием проникающей нас истины. Позволительно мечтать о жизни лучшей, чем жизнь обыкновенная; но непозволительно воздвигать эту мечту из элементов, которых нет в будничном состоянии. Полагают, что хорошо устремлять взоры выше жизни; но, быть может, еще лучше приучать свою душу глядеть прямо перед собой и лишь на те вершины, которые ясно виднеются среди озаряющих горизонт облаков для того, чтобы дать пристанище на этих вершинах своим желаниям и мечтам.

LXXXVIII

Все это возвращает нас к пункту, давно оставленному нами. Мы остановились на внешней судьбе; но есть другие слезы, кроме тех, которые мы проливаем из-за внешних бедствий. Близкий нашему сердцу мудрец должен жить среди всех человеческих страстей, ибо страсти нашего сердца составляют единственную пищу, которою мудрость может безнаказанно долго питаться. Наши страсти — это рабочие, которых природа посылает нам в помощь при возведении здания нашего сознания, или, что все равно, нашего счастья. Тот же, кто не принимает этих рабочих и собственными силами хочет поднять все камни существования, сможет приютить свою душу лишь в узкой, холодной и обнаженной келье.

Жить мудрым не значит жить без страстей, а значит научиться очищать свои страсти. Все зависит от положения, которое мы принимаем на лестнице дней. Для одного нравственное поражение и немощи являются ступенями, ведущими вниз, для другого они же представляют собой ступени восходящие. Мудрый может совершать многое, что может совершать и не мудрый. Но страсти последнего все глубже погружают его в темноту инстинкта, между тем как страсти мудреца всегда в конце концов освещают забытый угол его сознания. Не нужно, например, чтоб он любил, как безумный; но если он и полюбит, как безумный, то, по всей вероятности, станет еще мудрее, чем если бы он любил только любовью мудрой. В неподвижности и пустоте процветает не мудрость, а гордыня в самой своей бесполезной форме. Недостаточно знать, как надо поступать, или с точностью предвидеть, как на нашем месте поступил бы герой. Всему этому можно научиться внешним образом в несколько часов. Недостаточно возметь намерение жить благородно и затем удалиться в свою келью для того, чтобы лелеять это намерение. Мудрость, таким образом приобретенная, так же мало поможет вам действительно направлять и украшать вашу душу, как и чужие советы не в силах направить и украсить ее. «Нужно, — говорит индийская поговорка, — отыскивать цветок, который должен распуститься в молчании, следующим за грозой, но не раньше».

LXXXIX

Чем дальше мы с честными намерениями подвигаемся по тропинкам существования, тем больше мы верим в правду, в красоту и глубину наиболее смиренных и будничных законов жизни. Мы научаемся восхищаться ими потому именно, что они такие всеобъемлющие, однообразные, каждодневные. Ищешь и все менее ждешь необыкновенного, ибо вскоре познаешь, что самое необыкновенное в обширном, спокойном и однообразном течении природы — это ребяческие требования нашего невежества и нашей суетности. Перестаешь требовать у мимоидущих часов событий странных и чудесных, ибо события чудесные случаются лишь с теми, кто еще не приобрел доверия к себе самому или к жизни. Перестаешь со сложенными на груди руками ждать случая для сверхчеловеческого поступка, ибо чувствуешь свое существование во всех

поступках человеческих. Перестаешь требовать, чтобы любовь, дружба и смерть предстали перед нами, покрытые воображаемыми прикрасами, окруженные чудесными совпадениями и предсказаниями, ибо научаешься принимать их во всей их реальной простоте и нагоде. Убеждаешься наконец, что в простом существовании, приемлемом мужественно и полно, можно найти нечто равносильное героизму и всему тому, что в глазах людей слабых, бессознательных и беспокойных кажется возвышенным и исключительным. Перестаешь считать себя единственным и любимым детищем вселенной. Но всем тем, что отнимаешь у своей гордости, обогащаешь свое сознание и освещаешь свою улыбку и душевную ясность.

С того пункта, которого мы теперь достигли, чудесные переживания святой Терезы или Иоанна Делакруа⁸; экстаз мистиков, сверхъестественные приключения любовных легенд, звезда Александра или Наполеона, — все это кажется нам ребяческими иллюзиями в сравнении с доброй здоровой честностью искренней человеческой мудрости, которая не стремится подняться над людьми, чтобы испытать никем не испытанное, но умеет находить в том, что все испытывают, все необходимое для расширения сердца и мысли. Чтобы сделаться человеком в истинном значении слова, не надо стремиться стать чем-нибудь иным, чем человек. Сколько людей тратит таким образом свою жизнь на ожидание какой-нибудь невероятной кометы, и никогда они не подумают посмотреть на другие звезды оттого, что они видимы всем и бесчисленны. Жажда необыкновенного часто является великим недугом обыкновенных душ. Нужно, наоборот, повторять себе, что чем нормальнее, всеобщее, однообразнее то, что с нами случается, тем легче нам дается постигнуть и полюбить глубины и радости жизни в этой их всеобщности, и тем более мы приближаемся к спокойствию и истине великой одухотворяющей нас силы. Нет ничего менее необычайного, чем океан, так как он покрывает две трети нашей планеты; однако нет ничего более грандиозного. В человеке нет такой мысли, такого чувства или прекрасного и величавого поступка, которые не могли бы проявиться в простых условиях самого нормального существования. Все же то, что не может найти места в этих условиях, принадлежит еще к лживым выдумкам лени, невежества или тщеславия.

ХС

Следует ли отсюда, что мудрец не должен ожидать от жизни ничего большого, в сравнении с прочими людьми, или что нужно любить посредственность, довольствоваться малым, сокращать свои желания и ограничивать свое счастье из опасения утратить его? Наоборот, мудрость, которая слишком легко отрекается от какой-нибудь человеческой надежды — болезненная и хромая мудрость. У человека множество законных желаний, которые отлично обходятся без одобрения слишком придирчивого разума. Но

⁸ Испанский мистик, основатель ордена Босоногих Кармелитов (1542 – 1501).

не следует считать себя несчастным, владея счастьем, которое не кажется сверхъестественным окружающим нас. Чем кто-либо более мудр, тем менее трудно ему убедиться в том, что он владеет счастьем. Полезно утвердиться в мысли, что моменты, самые завидные в человеческом счастье — это моменты самые простые. Мудрец научается оживлять и любить молчаливую сущность жизни. Только в этой молчаливой сущности скрыто верное счастье, и никогда необыкновенные радости не решаются провожать нас до могилы.

Следует встречать и целовать так же братски, как и другие дни, тот день, который приходит и удаляется, не сделав ни одного необычного жеста радости или надежды. Чтобы прийти к нам, он пробежал те же пространства и через те же миры, как и тот день, который застанет нас на троне или на ложе великой любви. Он скрывает под своим плащом часы, быть может, менее ярые, но зато более смиренно преданные. В неделе, проходящей безмолвно, насчитывается столько же вечных минут, как и в той, которая приближается, испуская громкие крики. В сущности мы сами произносим то, что, кажется, говорит нам время. Каждая минута — это неуверенная и робкая путница, которая принимает радостный или грустный вид, смотря по тому, встречает ли ее хозяин улыбкой или хмурым взглядом. Не время приносит нам наше счастье, а на нашей обязанности лежит сделать счастливыми часы, которые приходят искать убежища в нашей душе. Мудр тот, кто всегда может встретить их на пороге добрым словом. Следует копить в себе наиболее простые поводы для счастья. Вот почему не следует никогда упускать случая быть счастливым. Постараемся сперва изведать счастье в зависимости от людей для того, чтобы потом, обогатившись опытом, предпочесть ему счастье в зависимости от нас самих. Со счастьем бывает то же, что с любовью. Нужно глубоко любить для того, чтобы потом, когда уже не любишь, знать, как следовало любить. Полезно временами быть видимо счастливым для того, чтобы научиться быть счастливым невидимо. И, быть может, необходимо внимательно прислушиваться к часам, кричащим в опьянении, для того, чтобы мало-помалу научиться понимать язык тех часов, которые говорят всегда шепотом. Они одни многочисленны, неистощимы, неспособны к измене или бегству, вследствие своей многочисленности, и мудрец должен рассчитывать только на них. Быть счастливым значит научиться различать скрытую улыбку и таинственные красоты бесчисленных и безыменных часов, а эти красоты обретаются только в нас самих.

ХСІ

Но ничто так не противоположно мудрости, о которой мы здесь говорим, как мелкое благоразумие. Лучше бесполезно суетиться вокруг какого-нибудь счастья, чем сонливо, сидя у камелька, ожидать идеального счастья, которое никогда не придет. На кровлю того, кто никогда не выходит из дома, спускаются лишь радости, никому не желанные. Поэтому мы не назовем мудрым того человека, который в области чувств, например, не идет бесконечно дальше того, что ему разрешает разум, или того, что ему советует

ожидать опыт. Равным образом мы не назовем мудрым друга, который не отдается вполне дружбе, предвидя конец, или влюбленного, который не отдает всего себя, из опасения уничтожиться в своей любви.

Следует говорить себе, что тысяча несчастных событий уносит с собою лишь бранные части нашей энергии счастья, и нужно сознаться, что мудрость в итоге не что другое, как просветленная энергия счастья. Быть мудрым значит прежде всего научиться быть счастливым для того, чтобы в то же время научиться придавать все меньше значения тому, что есть само по себе счастье. Необходимо, чтобы человек как можно дольше был как можно более счастлив, ибо те, которые отправляются от себя самого через двери счастья, в тысячу раз свободнее, нежели те, которые отправляются через двери печали. Радость мудреца освещает в одно и то же время и его сердце и всю его душу, между тем как печаль часто освещает только сердце. Тот, кто не был счастлив, несколько напоминает путника, который путешествовал бы только ночью.

И затем, в счастье мы обретаем смирение более глубокое и благородное, более чистое и всеобъемлющее, чем то, которое таится в несчастье. Есть смирение, которое следует отнести к числу паразитных добродетелей вместе с бесплодным отречением, со стыдливостью, с добровольными целомудрием, со слепым отказом от жизни, с темным послушанием, с духом покаяния и другими им подобными; все они долго отводили живые воды человеческой морали в сонный пруд, вокруг которого еще бродят все наши воспоминания. Я говорю не об униженном смирении, которое часто является не чем иным, как расчетом, или, в лучшем случае, робкой гордостью и чем-то вроде ростовщичьего займа, которым тщеславие сегодняшнего дня ссужает тщеславие завтрашнего дня. Но даже мудрец временами воображает, что полезно несколько умалить себя в собственных глазах и не сознаваться себе в заслугах, которые он в праве признавать за собою, сравнивая себя с другими. Такого рода смирение, хотя и искреннее, отнимает у нашей внутренней честности, которую следует уважать больше всего, все то, что она может прибавить к нашему кроткому отношению к жизни. Во всяком случае, оно обнаруживает известную стыдливость сознания, а сознание мудреца должно быть лишено всякой стыдливости, равно как и робости.

Но, на ряду с такого рода смирением, чисто личным, существует еще смирение общее, возвышенное и твердое, которое питается всем тем, чему научает нас разум, душа и сердце; это смирение точно показывает нам, на что человек может надеяться и чего ждать; оно умалывает нас лишь для того, чтобы возвеличить все, что мы любим, и говорит нам, что значение человека не в том, что он есть, а в том, что он может постигнуть во всем, что он старается допустить и понять. Правда, что печаль также открывает нам область этого смирения, но лишь для того, чтобы слишком прямым путем привести к каким-то вратам надежды, у порога которых мы теряем слишком много дней, между тем как счастье, не имея другой обязанности, позволяет нам молча обходить наиболее недоступные тропинки смирения. Мудрец, достигнув возможного счастья, становится также по возможности наименее требовательным и гордым. Лишь узнав, что он наконец владеет всем тем, чем человек может владеть, он

начинает понимать, что ценность его богатства заключается лишь в его отношении ко всему тому, чем человеку никогда не дано будет владеть. Вот почему лишь на лоне долгого счастья мы приобретаем независимый взгляд на жизнь. Счастливым надо быть не ради счастья, но для того, чтобы научиться ясно видеть все то, что навсегда оставалось бы для нас скрытым в тщетном и слишком пассивном ожидании счастья.

ХСII

Но оставим эти рассуждения и вернемся к тому, о чем только что говорили. В области нашего сердца, которое для большинства людей является областью, где собирается жатва самой сущности жизни, не бывает бесполезной экономии. В этой области предпочтительнее ничего не делать, чем делать что-нибудь наполовину, и в ней мы наверно теряем все то, на что не дерзнули рискнуть. Страсть бесповоротно отнимает у нас лишь то, что мы намерены были от нее утаить, и мы всегда ограблены на ту часть, которую хотели удержать для себя. Впрочем, в душе таятся убежища столь глубокие, что лишь одна любовь дерзает спуститься по ступеням, к ним ведущим; и одна лишь любовь приносит нам оттуда неожиданные сокровища, блеск которых мы замечаем лишь в тот короткий миг, когда руки наши раскрываются, чтобы передать их в любимые руки. Можно поистине сказать, что руки наши, раскрываясь для того, чтобы дарить, распространяют вокруг себя особый свет, еще легче проникающий через самые твердые тела, чем недавно открытые таинственные лучи.

ХСIII

К чему долго скорбеть о своих заблуждениях или утратах? Что бы ни случилось, всегда в последние минуты самого печального часа, в конце недели, по истечении года, человек правдивый всегда найдет случай улыбаться, если он вернется к самому себе. Он мало-помалу научается сожалеть, не проливая слез. Он похож на отца семейства, который вечером по окончании работы возвращается домой. Возможно, что дети плачут, что они играли в опасные игры, что они сдвинули с места мебель, разбили стакан, опрокинули лампу. Станет ли он из-за этого предаваться отчаянию? Конечно, было бы лучше с точки зрения теоретической морали, если бы они вели себя спокойно, учились читать и писать; но какой благоразумный отец, среди самых живых упреков, не улыбнется, отвернув голову. Он не станет убиваться из-за этих несколько неразумных проявлений полноты жизни. Ничто не потеряно, покуда он может вернуться к себе, покуда он носит при себе ключ от охраняющего его крова. Благодеяние наших возвращений вглубь себя заключается скорее в самих этих посещениях, чем в исследовании того, что в нашем отсутствии сделали наша душа, наш дух, наше сердце. И если даже время прошло мимо, не пожелав развязать на нашем пороге свой таинственный пояс, если залы пустынные, как в день отъезда, если никто из тех, кто должен был трудиться, не двинул пальцем, — звучность наших шагов при возвращении откроет нам нечто новое

о просторе ожидавшего нас, оставшегося нам верным жилища.

XCIV

Серые дни бывают только в нас самих. Но и в дни наиболее серые остается место для самой возвышенной судьбы, ибо такая судьба разыгрывается гораздо полнее в нас самих, чем на поверхности Европы. Местом судьбы является не простор государства, а простор души. Наша истинная судьба заключена в нашем понимании жизни, в равновесии, которое в конце концов устанавливается между неразрешимыми вопросами неба и нерешительными ответами нашей души. По мере того, как эти вопросы расширяются, они становятся более спокойными, и все, что случается с мудрецом, увеличивает значительность этих вопросов и умиротворяет ответы.

Не говорите о судьбе до тех пор, пока событие, радующее или печальное вас, ничего не меняет в вашем отношении к вселенной. Все, что остается у нас после мимолетного посещения любви, славы, всех приключений, всех человеческих страстей, это все более и более глубокое чувство бесконечного, и если это не осталось при нас, то ничто не осталось. Я разумею чувство, а не собрание мыслей, ибо мысли играют лишь роль бесчисленных ступеней, мало-помалу ведущих нас к тому чувству, о котором я говорю. Нет никакого счастья в самом счастье, покуда оно не помогает нам думать о чем-нибудь другом и как бы понять мистическую радость, которую испытывает вселенная оттого, что она существует.

По достижении некоторой высоты, каждое событие умиротворяет мудреца, ибо даже то событие, которое сперва человечески его огорчило, в конце концов не менее других прибавляет свой вес к великому чувству жизни. Трудно отнять какую-нибудь радость у того, кто научился претворять каждое явление в предмет бескорыстного изумления; трудно отнять у него радость без того, чтобы немедленно высшая мысль не родилась в нем от сознания, что он может обойтись без этой радости, и чтобы эта мысль не окутала его своим светом, как щитом. Прекрасна та судьба, в которой ни одно приключение, счастливое или несчастное, не прошло без того, чтобы не заставить нас размышлять, без того, чтобы не расширить сферы, в которой движется душа, без того, чтобы не сделать более спокойной нашу привязанность к жизни. Поэтому мы можем сказать, что судьба наша гораздо реальнее заключается в том, как мы вечером в состоянии смотреть на небо с его безучастными звездами, на окружающих нас людей, на любящую нас женщину, на тысячу волнующихся в нас мыслей, чем в случайном событии, которое отнимает у нас нашу любовь, готовит нам триумфальный въезд или поднимает нас на ступени трона.

XCV

Некто однажды сказал женщине, казавшейся ему существом самым изумительным, какое только можно встретить на земле, наиболее одаренным всевозможными дарами, включая молодость и телесную красоту: «Что будет с

вами? Кого вы сможете полюбить? Я не вижу никакого исхода. Нет судьбы, которая была бы на высоте такой души, как ваша». Что он знал об этом? Не судьба, а душа должна быть на высоте. Он, без сомнения, по человеческой привычке мечтал о троне, о триумфе, о чудесных приключениях. Но тот, в чьих глазах все это представляет судьбу, не имеет ни малейшего понятия о том, что такое судьба. И прежде всего, зачем презирать сегодняшний день? Презирая сегодняшний день, мы этим доказываем, что не поняли вчерашнего. И что вы надеетесь совершить в этом мире, если вы проходите через него, как чужой? Над вчерашним днем, уже отошедшим, сегодняшний имеет то преимущество, что он существует и создан для нас. Какой бы он ни был, сегодняшний день сведущее вчерашнего и следовательно просторнее и прекраснее.

Думаете ли вы, что женщина, о которой идет речь, обрела бы более прекрасную судьбу в Венеции, во Флоренции или в Риме прежних дней? Она там присутствовала бы при блестящих празднествах, и красота ее сияла бы среди совершенных пейзажей. Может быть, она видела бы там у своих ног принцев, королей, толпу избранников и, может быть, она могла бы единой из своих улыбок умножить счастье великого народа, смягчить или облагородить мысль своей эпохи. Теперь же вся ее жизнь протечет, вероятно, в общении с четырьмя или пятью душами, которые знают и любят ее душу. Возможно, что она не выйдет за пределы своего дома, и что ее существование, ее мысли и сила не оставят среди людей никаких явственных и неизгладимых постоянных следов. Возможно, что вся ее красота, все могущество, вся духовная энергия останутся погребенными в ней самой и в сердце немногих близких. Возможно также, что душа ее найдет себе исход. В наши дни великие врата, ведущие к жизни полезной и памятной, не возвращаются больше на своих петлях с таким шумом, как некогда. Они, быть может, стали менее монументальными, но зато число их увеличилось, и они открываются на тропинки более молчаливые, потому что они дальше ведут.

Но, допустив даже, что вся ее жизнь останется в тени, неужели она упустит свою судьбу лишь потому, что ни один ее луч не перейдет за порог ее жилища? Разве судьба не может быть прекрасной и полной сама в себе? Разве душа истинно-сильная, озираясь назад, останавливается на триумфах, предметом которых она была, если эти триумфы не вызвали в ней размышления о жизни, не укрепили в ней благородное смирение человеческого сознания, не заставили ее сильнее полюбить молчание и размышление, в которых мы в несколько часов собираем спелые плоды, созревшие под зноем страстей, раскаленных славой, любовью, восторгом? В конце этих празднеств и героических действий, благотворных и гармоничных, что останется у нее, кроме нескольких мыслей, нескольких воспоминаний, словом, некоторого расширения сознания и более умиротворенного, более широкого чувства положения человека на этой земле, и более обширного (так как ей пришлось участвовать в более обширном круге явлений) чувства нашего положения на земле? В ту минуту, когда яркие одежды любви, могущества и славы падают вокруг нас перед часом отдыха, — а разве этот час не наступает каждый вечер и каждый раз, когда мы остаемся наедине с собой? — что уносим мы с собой в свое одиночество, когда счастье

всей жизни взвешивается наконец на вес нашей мысли, на вес приобретенного доверия, на вес нашего сознания? В чем заключена наша истинная судьба, в том ли, что проходит вокруг нас, или в том, что пребывает в нашей душе? «Как бы ни были сильны лучи славы или власти, которыми наслаждается человек, — говорит один мыслитель, — душа его вскоре осудит чувства, вызываемые внешними поступками, и он быстро поймет свое реальное ничтожество, не находя никакой перемены, ничего нового, ничего более возвышенного в упражнении своих телесных способностей. Короли, обладай они всей землей, обречены, как и прочие люди, жить в маленьком кругу, подчиняясь его законам, и счастье их зависит лишь от личных впечатлений, которые они в нем испытывают».

Которые они в нем испытывают и о которых сохраняют память, — прибавим от себя, — так как они послужили к их совершенствованию: души, о которых мы здесь говорим, из всех приключений жизни сохраняют в памяти лишь те, благодаря которым они стали несколько выше и лучше. И разве невозможно обрести в любом месте, среди какого угодно молчания то единственно-неизменное вещество, которое остается на дне тигля самого благородного внешнего существования? И так как мы можем владеть чем-нибудь лишь настолько, насколько оно сопутствует нам среди темноты и в молчании, то неужели то, что родилось в молчании и в темноте, останется нам среди них менее верным?

Но не будем дальше следовать этим путем, который мог бы привести нас к мудрости слишком теоретической. Если прекрасная внешняя судьба и не необходима, то все же следует ее ожидать и делать все от нас зависящее для ее достижения, как если бы мы придавали ей огромное значение. Великий долг мудреца стучаться в двери всех храмов, во все жилища славы, деятельности, счастья, любви. Если бы даже ни одна дверь не открылась после долгих усилий и долгого ожидания, быть может, он в самом усилии и в ожидании найдет равноценное тому свету и тем ощущениям, которых он искал. «Действовать, — говорит где-то Баррес, — значит присоединять к нашему размышлению как можно бóльшую сферу опыта». Действовать, — можно бы прибавить, — значит мыслить быстрее и полнее, чем может мысль. Действовать значит мыслить не только мозгом, но всем существом. Действовать значит закрывать в мечте для того, чтобы открывать в реальности наиболее глубокие источники мыслей. Но действовать не всегда по необходимости означает торжествовать. Действовать также значит пытаться, ожидать, быть терпеливым. Действовать значит также слушать, сосредоточиваться, молчать.

Быть может, женщина, о которой мы говорили, нашла бы в древних Афинах, во Флоренции, в Риме некоторые мотивы восторга, некоторые случаи красоты и героизма, которых она не найдет теперь. Она бы также нашла там энергию и память о своих поступках, — силу живую и драгоценную, ибо энергия, которую мы напрягаем, и память, которую сохраняем о своих делах, часто преобразуют в нас больше переживаний, чем самая возвышенная мысль, которая с точки зрения моральной или умственной стоит тысячу усилий энергии или воспоминаний. Да, единственное, что достойно зависти в судьбе

бурной и блестящей, это то, что она расширяет и будит известное число чувств и проявлений энергии, которые без того никогда не проснулись бы от своего сна и не вышли бы за ограду слишком мирного существования. Но знать, подозревать, что эти чувства и силы энергии в нас спят, не значит ли уже пробудить к жизни все, что в них есть наилучшего, на одно мгновение взглянуть на внешнюю прекрасную судьбу с высот, куда она доходит лишь на склоне своих дней, и заранее собрать цвет жатвы, которую она сможет убрать лишь после многих гроз.

XCVI

Вчера вечером, перечитывая мемуары Сен-Симона, в которых словно смотришь с высоты башни на кишашие в долине сотни человеческих судеб, я понял то, что человеческий инстинкт называет прекрасною судьбою. Быть может, Сен-Симон сам не знал, что он любит и чем восхищается в некоторых героях, которых он окружает атмосферой какого-то кроткого и бессознательного уважения. Тысячи добродетелей, которые он боготворил, умерли; тысячи качеств, которые он прославлял в своих великих людях, теперь нам кажутся довольно жалкими. Но лишь немногие, которым он не посвящал особого внимания, и даже несмотря на то, что он в сущности не одобрял воодушевлявшей их идеи, — лишь четыре или пять фигур, величавых, доброжелательных и достойных удивления, проходят, так сказать, помимо их ведома сквозь блестящую толпу, волновавшуюся вокруг трона великого короля. Это Фенелон, герцоги Шеврез и Бовилье и наконец дофин. Они не счастливее остальных людей. Они не пользуются особым успехом, не одерживают громких побед. Они, подобно другим, живут среди смуты, в ожидании того, что, думается мне, называется счастьем лишь потому, что оно ожидается. Фенелон впал в немилость у этого довольно посредственного по уму человека, но осторожного и проницательного, гордого, сумрачного и торжественного, великого на малые дела и малого на великие, каким был Людовик XIV. Он осужден, преследуем, приговорен к изгнанию. Герцоги Шеврез и Бовилье, несмотря на важность занимаемых ими должностей, живут при дворе в осторожном и добровольном отдалении. Дофин не пользуется милостью короля. Он жертва интриг могущественного и завистливого кружка, которому удастся подорвать его молодую военную славу. Он окружен неудачами и бедствиями, которые кажутся непоправимыми при этом суетном, раболепном дворе, ибо неудачи и бедствия принимают те размеры, которые им придают нравы данного времени. Наконец он умирает несколько дней после дофины, которую единственно и безумно любил. Он умирает, быть может, от отравы, как и она, и гадает пораженный в тот самый час, когда первые лучи неожиданного благоволения только что позолотили ступени его дворца.

Вот каковы печали, неудачи, разочарования и тревоги, которым подвержена жизнь этих людей. И однако, когда мы наблюдаем эту маленькую объединенную молчаливую группу среди переменного прихотливого блеска остальных, их четыре судьбы нам кажутся поистине прекрасными и

достойными зависти. Какой-то одинаковый свет озаряет все превратности их жизни. Исходит он из великой души Фенелона. Фенелон всегда остается верным высоким мыслям восторга, святости, справедливости, кротости и любви; трое остальных верны своему учителю и другу.

Что нам до того, что мистические идеи Фенелона несогласны с нашими? И равными образом, что нам до того, что мысли, на наш взгляд самые глубокие и верные и на которых мы строим все нравственное счастье и всю истину нашей жизни, превратятся после нас в развалины и когда-нибудь вызовут улыбку тех, кто найдет мысли, кажущиеся нам более человечными и окончательными? То, что важно, то, что облагораживает и освещает нашу жизнь, это не столько наши мысли, сколько чувства, которые эти мысли в нас пробуждают. Мысль, быть может, составляет цель. Но с этой целью бывает то же, что с целью многих путешествий: сама дорога, остановки, все встречное на пути, все, что случается сверх ожидания, вот что всего более занимает нас. И тут, как во всем остальном, выживает лишь искренность человеческого чувства. Относительно мысли мы никогда не знаем, обманывает ли она нас или нет. Но любовь, которой мы ее любили, ниспадет на нас, и ни один луч ее света и ее силы не затеряется среди заблуждений. Идеальное существо, которое каждый из нас старается вызвать в себе, создается и питается не столько суммой идей, вырисовывающих его очертания, сколько чистою страстью, правдивостью, бескорыстием, которыми мы окружаем эти идеи. То, как мы любим свою истину, имеет больше значения, чем сама истина. Мы становимся совершеннее силой любви, а не мысли. Честно любить великое заблуждение иногда прекраснее, чем мелко служить великой истине.

Эта страсть, эта любовь могут одинаково сопутствовать сомнениям, как и вере. Бывают сомнения, столь же страстные и великодушные, как и самые прекрасные убеждения. В мысли, которая кажется нам возвышенной, чистой или глубоко сомнительной, самым лучшим является то, что она доставляет нам случай полюбить что-нибудь без колебаний. Отдаюсь ли я всецело человеку, Богу, отечеству, вселенной, заблуждению, — драгоценный металл, который когда-нибудь отыщется под пеплом любви, получится не от предмета этой любви, а от самой любви. Неизгладимый след после себя оставляет лишь бесхитрость, пламенность, твердость искренней привязанности. Все проходит, все видоизменяется, все, может быть, исчезает, кроме сверкания этих глубин, этой твердости, этой щедрости нашего сердца.

XCVII

«Никто никогда не обладал таким душевным миром», — говорит Сен-Симон об одном из них, окруженном интригами, гневом и западнями. И дальше, по поводу другого, он говорит о «мудром спокойствии», и это «мудрое спокойствие» проникает все так называемое им «маленькое стадо». И в самом деле, это маленькое стадо, верное лучшим мечтам, дружбе, правдивости, уважению к самому себе и внутреннему удовлетворению, проходит, озаренное простым и мирным спокойным светом, посреди тщеславия, самолюбий,

обманов и измен Версальского двора.

Это не были святые в слишком обыкновенном значении этого слова. Они не удалялись в глубину пустынь и лесов, они не искали эгоистического убежища в тесных кельях. Это были мудрецы. Они не выходили из жизни, а оставались в действительности. Не следует думать, что их спасало их благочестие, и что их духовное убежище находилось только в Боге. Недостаточно любить Бога и изо всех сил служить Ему для того, чтобы человеческая душа укрепилась и успокоилась. К любви к Богу человек приходит лишь при помощи мысли и чувств, которые он приобрел и развил в соприкосновении с людьми. Человеческая душа остается, ни на что не взирая, глубоко человеческой. Ее можно научить любить многое и невидимое, но добродетель или чувство вполне и просто человеческое составляют для нее более существенную пищу, чем страсть или добродетель наиболее божественные. Когда мы встречаем душу поистине спокойную и здоровую, мы можем быть уверены, что она обязана своим здоровьем и спокойствием чисто человеческим добродетелям. Если бы можно было читать в тайнах сердец, уже переставших биться, мы, может быть, увидели бы, что источник мира, из которого Фенелон в изгнании утолял каждый вечер свою жажду, заключался больше в его верности госпоже Гюйон, страдавшей от несчастной любви к непризнанному и преследуемому дофину, чем в ожидании вечной награды, больше в его сознании, человечески нежном, человечески правдивом, словом человечески безупречном, чем в его христианских чаяниях.

XCVIII

Безопасность «маленького стада» поистине достойна удивления. Никакая добродетель не зажигает в нем своих ослепительных огней на горных вершинах; все пламя остается в душе и в сердце. И мы не видим в нем другого героизма, кроме героизма доверия, искренности и любви, которые помнят и терпеливо ждут. Есть люди, добродетель которых в известные минуты выходит из души через шумно открывающиеся и закрывающиеся ворота. Но есть и такие, в ком добродетель пребывает, подобно молчаливой служанке, никогда не покидающей дома, и те, которые приходят из наружного холода, застают ее трудолюбивой и внимательной у пылающего очага.

Быть может, прекрасная жизнь нуждается не столько в героических часах, сколько в серьезных, однообразных и чистых неделях. Быть может, душа прямая и безусловно правдивая драгоценнее, чем душа нежная и преданная. Хотя от нее ждешь меньше увлечений, меньше восторженности в исключительных обстоятельствах жизни, — зато на нее можно положиться с большим доверием и уверенностью в обстоятельствах обыкновенных. А кто из нас, какая бы его жизнь ни была странная, мятежная и славная, в итоге не проводил ее почти всю целиком среди обстоятельств самых обыкновенных? Что значат, когда о них подумаешь, и в особенности когда в них принимаешь участие, самые решительные мгновения наиболее ярких событий? Разве мы не видим с изумлением, что в великом вихре самого возвышенного часа

сохраняются все привычки и все размышления самых мирных часов? Всегда приходится возвращаться к жизни нормальной. Там мы находим твердую почву и основной камень. Не каждый день встречается надобность спасать меня от смерти, от бесчестия, от отчаяния, но зато, быть может, необходимо, чтобы в каждый печальный час каждого дня я мог сказать себе, что где-то существует душа, близко подошедшая к моей душе, молчаливая, верная, нечувствительная ко всему тому, что ей кажется несогласным с истиной, неизменная, непоколебимая.

Хорошо, конечно, от времени до времени совершать поступок героический или весьма великодушный, но еще похвальнее, — и это требует более постоянной силы, — никогда не уступать искушению низкого помысла и вести жизнь менее горделивую, но более верную. Постараемся в наших размышлениях довести нашу жажду нравственного совершенства до уровня каждодневной истины для того, чтобы признать, что легче совершать минутами великое добро, чем никогда не совершать ни малейшего зла, что легче иногда вызывать улыбку, чем никогда не причинять слез.

XCIX

Они имели друг в друге и главным образом каждый в самом себе свое убежище, свою «твердую скалу», по выражению Сен-Симона, и непоколебимая часть этой скалы была по своему протяжению вполне равна безупречной части их сердца.

Фундамент «твердой скалы» образует тысячи сил, но ее верхняя площадка не находится ли всегда там же, где пребывает то, что мы считаем в себе самым безупречным? Правда, что этот вкус безупречного часто бывает весьма груб, и что нет преступника, который каждый вечер на одну минуту не поднимался бы на кучу жалких обломков, которые он считает безупречными. Но я здесь говорю о добродетели, несколько возвышающейся над строго необходимой, и самый обыкновенный человек отлично знает, что такое необыкновенная добродетель. Нравственная красота наиболее непредвиденная имеет ту особенность, что человек самый ограниченный не может искренно отговариваться тем, что ее не понимает, и поступок самый возвышенный есть в то же время самый понятный. Быть может, не всегда необходимо подниматься на высоту того, чем нам дано восхищаться, но необходимо никогда не засыпать на дне того, чего мы не можем не порицать.

Но вернемся к убежищу наших мудрецов. В жизни мы многими счастливыми и несчастными обстоятельствами обязаны случаю, но внутренний мир никогда не зависит от случая. Есть, я знаю, души созидающие, есть другие — влюбленные в развалины; есть наконец и такие, которые всю жизнь бродят, ища защиты под чужим кровом. Но если и трудно переродить инстинкт души, то все же не бесполезно, чтобы души не созидающие отведали радость, которую испытывают другие, кладя беспрестанно камни на камни. Мысли, привязанности, чувство любви, убеждения, разочарования и даже сомнения, все им годится для постройки, и то, что гроза ломает и отрывает, становится еще

более удобным материалом; из него можно легко возвести несколько поодаль здание менее пышное, но более приспособленное к потребностям жизни.

Какие печали, какие сожаления, какие разочарования могут еще потрясти дом того, кто, подбирая камни для своего жилища, воспользовался всем, что есть мудрого и крепкого в печалях, сожалениях и разочарованиях? И затем, пользуясь другим сравнением, разве нельзя сказать, что с корнями внутреннего счастья бывает то же, что с корнями больших деревьев? Дубы, всего больше терзаемые грозой, пускают наиболее могучие и питательные корни в родную вечную почву, а рок, который несправедливо на нас обрушивается, так же мало знает о том, что происходит в нашей душе, как ветер о том, что происходит под землей.

С

Любопытно отметить могущество и таинственную силу притяжения истинного счастья. Когда один из «маленького стада» проходит через счастливую и ликующую толпу, заполонившую мраморную лестницу и великолепные покои Версаля своими интригами, поклонами, маленькими любовными приключениями и маленькими победами, то в буйном рассказе Сен-Симона внезапно наступает какая-то тишина. Получается впечатление, без того, чтоб он должен был это подчеркнуть, что на одно мгновение все эти худосочные тщеславия, все эти яркие, но мимолетные удовлетворения, все эти обманы, говорящие громким голосом, но трепещущие в тени, вдруг измеряют себя в сравнении с нормальным уровнем души спокойной и сильной. Происходит почти то же, что бывает с толпой детей, играющих в запрещенные игры, рвущих или мнущих цветы, собирающихся воровать плоды, тайком мучащих безобидное животное, когда мимо них в раздумье вдруг проходит священник или старик, хотя бы не намеревающийся их попрекнуть. Игры внезапно прерываются, совесть пробуждается, и смущенный взор невольно останавливается на долге, на действительности, на истине.

Люди обыкновенно не дольше, чем дети, провожают глазами старика, священника или удалившуюся мысль. Но это все равно; важно, что они их видели, ибо душа человеческая, вопреки глазам, которые слишком охотно отворачиваются или закрываются, одарена бóльшим благородством, чем большинство людей желало бы для своего спокойствия; она без труда различает все, что возвышается над бесполезной минутой, которой люди стараются занять свое внимание... Сколько бы ни шептались вдоль дороги, по которой прошел мудрец, он помимо своего ведома проложил среди заблуждений тщеславия глубокую борозду, которая сотрется не так быстро, как думают. Она в особенности расцветет в неожиданные часы слез. Душа несколько более чистая и жизненная, чем другие, редко плачет в рассказе Сен-Симона, не отправляясь выплакать свои слезы поблизости одного из тех, кто проходил среди несколько тревожного молчания и почти злорадного удивления, которые провожают в мире шаги безупречной жизни.

Люди не задумываются над счастьем в те дни, когда считают себя

счастливыми. Но вот наступает миг страданий, и мы без труда припоминаем место, где таится мир, независящий ни от лучей солнца, ни от отвергнутого поцелуя женщины, ни от немилости короля. Тогда мы отправляемся не к тем, кто счастлив нашим прошлым счастьем, ибо мы наконец видим, что остается от этого счастья, когда случай сделал малейший знак нетерпения. Если вы хотите узнать обитель, где живет наиболее верное счастье, не теряйте из виду несчастных, ищущих утешения. Страдания похожи на волшебную палочку, которой некогда пользовались искатели кладов и родников воды; тому, кто его носит, оно указывает вход жилища, где дышит самый глубокий мир. И это до того верно, что мы должны были бы временами спрашивать самих себя, в праве ли мы верить в совершенство нашего мира, в искренность нашего согласия принять великие законы жизни, в устойчивость нашей радости, если инстинкт страждущих еще не заставил их стучаться в наши двери, если они еще не увидели погруженным в сон на нашем пороге прекрасный, твердый и мирный луч неугасимой лампы. Да, только те в праве считать себя в безопасности, к которым все плачущие хотели бы прийти выплакать свои слезы. Живут в мире люди, внутреннюю улыбку которых мы замечаем лишь с той минуты, когда слезы, омыв наши взоры до их глубочайших родников, научили нас различать присутствие счастья, которое рождается не от благоволения или блеска минуты, а от всеобъемлющего принятия жизни. И тут, как и повсюду, желание и нужда обостряют чувство. Голодная пчела находит мед, скрытый в самых глубоких пещерах, и плачущая душа обретает наконец путь к радости, скрытой в самом недоступном убежище и молчании.

СІ

Едва только сознание пробуждается и оживает в человеке, как начинается его судьба. Я говорю не о нищенском и пассивном сознании большинства душ, а о сознании деятельном, которое принимает всякое происшествие, какое бы оно ни было, подобно тому, как царица, даже заточенная в тюрьму, умеет принимать подносимый ей дар. Если даже с вами ничто не случается, то ваше сознание может уже создать великое событие, точно отметив отсутствие всякого события. Но, быть может, нет такого человека, с кем не случается больше событий, чем это нужно для того, чтобы питать самое жадное неутомимое сознание.

У меня перед глазами биография одной из самых могучих и страстных душ, мимо которой все приключения, создающие счастье или несчастье людей, как бы прошли, ни разу не взглянув ей в лицо. Речь идет о несомненно гениальной женщине, необычайно странной, жившей в первую половину XIX века — Эмилии Бронте. Она оставила после себя лишь одну книгу под странным заглавием «Wuthering Heights», которое может быть переведено: «Бурные вершины». Эмилия была дочерью английского священника Патрика Бронте, человека наиболее ничтожного, неподвижного, претенциозного, самолюбивого, какого лишь можно вообразить. Две вещи казались ему наиболее важными в жизни: чистота его греческого профиля и правильность

его пищеварения. Что касается бедной матери Эмилии, она, кажется, всецело была поглощена преклонением перед этим профилем и почтением к супружескому пищеварению. Впрочем, незачем вспоминать об ее существовании, так как она умерла два года после рождения Эмилии. Прибавим, тем не менее, хотя бы лишь с целью лишней раз показать, что в посредственной жизни женщина почти всегда выше мужчины, которого должна принять, прибавим, что долго после смерти столь преданной супруги тщеславного и мирно прозябавшего священника нашли связку ее писем; в них вечно молчавшая женщина чрезвычайно верно изобразила равнодушие, эгоизм и фатовство своего мужа. Правда, что открывать чужой недостаток можно, не будучи ему чуждым самому, между тем как необходимо, кажется, обладать самому задатками добродетели для того, чтобы открыть ее в других. Таковы были родители Эмилии. Вокруг нее четыре сестры и брат проводили с той же серьезностью те же однообразные часы. Вся семья жила и вся жизнь Эмилии проходила в мрачной, одинокой, жалкой и безлюдной деревушке Гаворте, посреди вересков Йоркшира.

Нельзя вообразить себе детства и юности более предоставленных себе, более печальных и однообразных, чем детство и юность Эмилии и ее четырех сестер. Им не дано было пережить ни одного из тех счастливых или хоть несколько неожиданных происшествий, которые, преувеличенные и разукрашенные, с течением лет образуют на дне души единственное неисчерпаемое сокровище радостных воспоминаний жизни. От первого до последнего дня то же вставание, те же заботы по хозяйству, уроки, рукоделье бок о бок со старой теткой, обычные трапезы, прогулки рука об руку, среди полного почти молчания, серьезных девочек по вереску, покрытому летом цветами, а зимою снегом. Дома абсолютное равнодушие со стороны отца, который редко показывался, завтракал и обедал у себя в комнате и спускался в общую комнату лишь по вечерам, чтобы вслух читать о скучнейших парламентских прениях. А снаружи молчаливое кладбище, окружавшее дом, широкая степь, лишенная деревьев, и холмы, от весны до зимы терзаемые ужасным северным ветром.

Случайности жизни, — ибо нет такой жизни, в которой случай не проявил бы своей силы, — оторвали три или четыре раза Эмилию от этой пустыни, которую она научилась любить и считать единственным местом, где небо, земля, растения настоящие и достойные удивления; это бывает со всеми, кто слишком долго живет на одном месте. После нескольких недель отсутствия она начинала томиться, ее прекрасные горячие глаза потухали, и одна из сестер должна была быстро привозить ее обратно в одинокий пасторский дом.

В тысяча восемьсот сорок третьем году, — ей исполнилось тогда двадцать пять лет, — Эмилия вернулась в этот дом, чтобы больше не покинуть его до смерти. Ни одного происшествия, ни одной улыбки, ни малейшей надежды на любовь не было во всей ее жизни до этого окончательного приезда. Не было даже ни малейшего воспоминания об одном из тех несчастий или разочарований, которые слишком слабым или слишком малотребовательным существам дают иллюзию, что пассивная верность тому, что само собою

разрушилось, составляет акт добродетели, что бездействие среди слез оправдывает это бездействие, и что они совершили все, что могли, если они извлекли из страданий всю печаль и покорность, какую могли в ней найти.

В девственной же и чистой душе Эмилии, лишенной прошлого, не было даже места для воспоминаний или чувства покорности. Не было ничего до последней поездки, ничего после нее, если не считать немногих печальных и жалких приключений, пережитых в качестве сестры милосердия, ухаживавшей за братом, жизнь которого была разбита ленью и великой несчастной страстью, братом наполовину безумным, неисправимым алкоголиком и опиофагом. Затем, когда ей исполнилось двадцать девять лет, в один декабрьский полдень, в выбеленной мелом гостиной маленького пасторского дома, когда Эмилия, сидя у топившегося камина, расчесывала свои длинные черные волосы, гребень вдруг упал в огонь; у нее не было силы поднять его, и смерть, еще более молчаливая, чем ее жизнь, без насилия вырвала ее из бледных объятий двух сестер, оставленных ей судьбою.

СИ

«Я не вижу для тебя на просторном лоне судьбы ни одного знака любви, ни одной искры славы, ни одного радостного часа», — восклицает в прекрасном порыве печали мисс Мэри Робинсон, оставившая нам повесть ее жизни. В самом деле, если смотреть извне, то нет существования более сумрачного, бесцветного, бесцельного и холодного, чем жизнь Эмилии Бронте.

Но с какой стороны следует смотреть на чью-либо жизнь, чтобы открыть ее истину, чтобы оправдать и полюбить ее? Если мы на минуту отвратим взоры от затерянного среди ланд пасторского домика и устремим их на душу нашей героини, мы увидим другое зрелище. Редко можно так неожиданно разглядеть жизнь заключенной в теле души, совершенно не знавшей приключений. Но гораздо чаще, чем это думают, душа может иметь личную жизнь, совершенно независимую от приключений недели или года. В повести «Wuthering Heights», которая является картиной страстей, желаний, свершений, размышлений и идеалов этой души, словом — ее истинной летописью, заключено больше энергии, страсти, приключений, огня и любви, чем это нужно было бы для того, чтобы оживить и умиротворить двадцать героических жизней, двадцать счастливых или несчастных судеб.

Ни одно событие никогда не останавливалось у порога ее жилища; но нет такого события, принадлежавшего ей по праву, которое не разыгрывалось бы в ее сердце с несравненной силой, красотой, точностью и полнотою.

С нею как будто ничто не происходило, но разве не все происходило с ней более лично и более реально, чем с прочими людьми, ибо все, что совершалось вокруг нее, все, что она замечала и слышала, претворялось в ней в мысль, в страсть, в снисходительную любовь, в чувство изумления и обожания.

Не все ли равно, спускается ли событие на нашу кровлю или на кровлю соседа? Вода, проливаемая облаком, принадлежит тому, кто ее собирает, и счастье, красота, спасительное беспокойство и мир, которые заключены в

каждом жесте случая, принадлежат лишь тому, кто научился размышлять. У нее не было любви, она ни разу не слышала на дороге сладостно звучащих шагов возлюбленного — и тем не менее она, умершая девственницей на двадцать девятом году жизни, знала любовь, говорила о любви и до того проникла во все ее неизреченные тайны, что те, кто всех больше любил, иногда спрашивают себя, каким именем назвать свою страсть, когда они от нее узнают слова, порывы и тайны любви, рядом с которыми все кажется случайным и бледным.

Где, если не в собственном своем сердце, могла она слышать эти несравненные слова возлюбленной, говорящей со своей няней о том, кого все вокруг нее преследуют и презирают и кого лишь одна она боготворит? «Моими великими бедствиями в этом мире были его бедствия. Я их все наблюдала и перечувствовала с самого начала. Моя мысль, когда я живу, претворяется в него. Если бы весь мир погиб, а он один спасся, я продолжала бы существовать. Но если бы весь мир остался, а он один исчез, вселенная стала бы для меня бесконечной чужбиной, и я больше не участвовала бы в ее жизни. Моя любовь к другому, о ком ты говоришь, похожа на листву лесов; время видоизменит ее, как зима меняет вид деревьев, но моя любовь к нему подобна вечным ушедшим в землю утесам. Она источник немногих видимых радостей, но она необходима. Я и он — одно. Он вечно, вечно живет в моей мысли — не как радость, ибо и я сама для себя не всегда радость. Я люблю его не за то, что он мне кажется прекрасным, а потому, что он более я, чем я сама, и из какой бы сущности ни были созданы наши души, его душа и моя составляют одну душу...»

Она говорит о внешних реальностях любви с невинностью, способной вызвать улыбку. Но где научилась она понимать внутренние реальности, касающиеся всего, что есть в страсти самого глубокого, самого нелогичного, неожиданного, неправдоподобного и вечно истинного? Казалось бы, что нужно было прожить тридцать лет в самых пламенных цепях самых пламенных объятий, чтобы знать то, что она знает, чтоб осмелиться показать нам с такой правдивостью, с такой безошибочной точностью, в безумии, охватившем двух отмеченных судьбою возлюбленных романа в «Wuthering Heights». Все противоречивые движения нежности, которая желает причинить страдания, жестокости, которая хотела бы давать счастье, блаженства, которое жаждет смерти, отчаяния, которое цепляется за жизнь, отвращения, которое горит желанием, желания, пьяного от отвращения, любви, полной ненависти, и ненависти, падающей под бременем любви.

СIII

И однако мы хорошо знаем, ибо в этой бедной жизни ничего не было скрытого, что она никого не любила и никто не любил ее. Значит, правда, что последнее слово жизни есть то, которое рок произносит шепотом в самых глубоких тайниках нашего сердца? Значит, правда, что есть внутренняя жизнь, столь же реальная, опытная, полная подробностей, как и внешняя жизнь? Значит, правда, что можно жить на одном месте, что можно любить и

ненавидеть, никого не отталкивая и никого не ожидая? Значит, правда, что можно довольствоваться одной душой, что на известной высоте всегда она является решающей? Значит, правда, что обстоятельства могут быть печальными или бесплодными лишь для тех, в ком еще дремлет сознание?

Все, что мы ищем на больших дорогах, — любовь, счастье, красота, приключения, — не сходились ли они на свидание в сердце Эмилли? Ни один день не приносил ей ни одной из тех радостей, волнений или улыбок, которые глаза могут видеть и руки осязать, и однако судьба у нее была полная, ничто в ней не дремало, всегда в ее сердце жила ясность, молчаливая радость, доверие, любопытство, воодушевление и надежды.

Она была счастлива, и в этом нельзя сомневаться. Открывая перед нами свою душу, она может показать нам ту же нетленную жатву, как и лучшие из людей, испытавших самое разнообразное, самое длительное, живое и совершенное счастье... Если у нее не было ничего того, что проходит в любви, в печали, в скорби, в страсти и в радости, она зато знала все, что остается от человеческих чувств после того, как они прошли. Кого из двух следует считать истинным владельцем волшебного замка, слепого ли, который всегда в нем жил, или же того, кто лишь раз вошел в этот замок, но вошел с открытыми глазами?

«Жить, не жить». Не станем обольщаться словами. Вполне возможно существовать не размышляя, но никак нельзя размышлять не живя. Счастливая или несчастная сущность события заключается лишь в идее, которую из него извлекают: для сильных — в идее, которую они сами извлекают, для слабых — в той, которую извлекают другие.

Возможно, что тысяча внешних событий придут к вам навстречу вдоль вашего пути к могиле, и что ни одно из них не найдет в вас необходимой силы для того, чтобы претвориться в событие духовное. Только тогда должен человек сказать себе: «Я, быть может, не жил».

CIV

Поэтому мы в праве утверждать, что внутреннее счастье нашей героини, как и всякого другого, точно представлено ее моралью и ее воззрением на мир. Вот лужайка, которую всегда следует измерять в конце жизни в лесу случайностей для того, чтобы узнать размеры чьего-либо счастья. И кто сможет еще проливать жалкие слезы каждодневных разочарований, тревог и печалей, которые одни только болезненны, ибо вместо того, чтобы освежить взоры, они их ожесточают, кто сможет еще проливать эти слезы на высотах понимания и умиротворения, на которые поднялась душа Эмили Бронте?

Начинаешь понимать, что она плачет не как другие женщины, которые всю жизнь мечутся от одних разбитых радостей к другим. Разбитая радость отягчает плечи лишь того, кто с нею носится без толку, уподобляясь дровосеку, который никогда не сбросил бы свою вязанку хворосту. Но хворосту не место всегда оставаться на плечах. Его назначение гореть, чтобы превратиться в яркое пламя. И, глядя на пламя, вырывающееся из души Эмили, перестаешь думать,

как и она сама никогда не думала, о жалком хворосте. Нет страданий без горизонта, нет печали неисцелимой для того, кто, страдая и скорбя, как и другие, научается из глубины печали и несчастья следовать за великим указующим жестом природы, единственно реальным. «Мудрец никогда не может безусловно утверждать, что он страдает, ибо он властвует над своей жизнью, — писала одна удивительная женщина, сама много страдавшая, — он судит ее с птичьего полета, и если он еще ныне страдает, то это значит, что он обратил свою мысль на несовершенную часть своей души». Наряду с любовью, добротой и честностью Эмилия изображает также и злобу, ненависть, самую упрямую, мстительность и самое предусмотрительное вероломство; ей даже нет надобности прощать их, ибо прощать значит еще понимать наполовину. Она видит, допускает и любит. Она допускает и любит добро, как и зло, ибо в конце концов зло не что иное, как заблуждающееся добро. Она показывает нам, — не в произвольных формулах моралиста, но наподобие того, как время и люди научают нас истинам, которые мы в силах постигнуть, — она показывает нам конечное бессилие зла перед жизнью, умиротворение всего в природе или в смерти, «которая есть не что иное, как торжество жизни над одной из ее частных форм». Она показывает нам бесполезность лжи, самой искусной, полной силы и гения, перед истиной наиболее слабой и невежественной; она показывает нам несостоятельность ненависти, которая, сама того не зная, бросает семена счастья и любви в то будущее, которое хотела опустошить. В первый раз, быть может, она говорит нам о великом законе наследственности, чтобы научить нас быть снисходительными; и когда она в конце своего произведения отправляется на деревенское кладбище, чтобы посетить вечный сон своих героев, трава одинаково зеленеет на могиле палачей и их жертв, и она удивляется, что люди могут думать, будто мучительный сон еще нарушает покой тех, кто спит таким образом на лоне равнодушной и мирной земли.

CV

Я знаю, что речь идет о существе гениальном, но такие существа лишь с некоторой большей яркостью показывают нам то, что происходит, что может происходить во всяком существе; иначе это была бы не гениальность, а чудачество или безумие. Чем дальше мы подвигаемся, тем яснее видим, что нет гениальности в необыкновенном, и что истинное превосходство образуется из элементов, которые обыкновенные будни приносят всем людям. К тому же речь теперь идет не о литературе. Эмилию утешает не ее литературная деятельность, а ее внутренняя жизнь, ибо бывает литература ослепительно яркая, в которой нет ни малейшей деятельности нравственной. Если бы Эмилия всю жизнь молчала, если бы она не держала в руках пера, в ней все же таилась бы та же сила, та же жизненность, та же щедрость любви, та же внутренняя улыбка существа, знающего, куда оно идет, та же широкая уверенность души, сумевшей на высоте заключить мир с великими сомнениями и великими печальями нашей жизни. Мы бы только обо всем этом не знали, — вот и все.

Многому научает нас смиренная жизнь Эмилии. Едва ли ее следует ставить

в пример тем, кто по природе склонен к покорности. Они могли бы неверно понять ее. Вся ее жизнь как бы проходит в ожидании, а не все в праве ожидать. Эмилия умерла девственницей в двадцать девять лет, а умирающие девственницы не правы. Не первый ли долг всякого человека предоставить своей судьбе все, что может быть предоставлено человеческой судьбе вообще? Лучше неоконченное произведение, чем неполная жизнь. Хорошо пренебрегать суетными или бесполезными радостями, но неразумно почти добровольно отказываться от главных условий существенного счастья. Душе несчастной не возбраняется питать благородное сожаление. Широко обозревать печаль своей жизни — уже значит испытывать в темноте силу крыльев, которые когда-нибудь помогут нам воспарить над всей этой печалью.

Быть может, в жизни Эмилии недостает некоторого усилия энергии. В душе ее жили все дерзновения, все страсти, все независимые мысли; но в жизни ее мы видим всю робость, все молчание, все бездействие, все ограничения, все воздержания и все предрассудки, которые она презирала в своей мысли. Такова слишком часто повторяющаяся история слишком мечтательных душ. Чрезвычайно трудно судить жизнь по ней самой, а что касается Эмилии Бронте, то многое можно бы сказать о преданности, с какой она пожертвовала лучшими годами своей молодости недостойному и несчастному брату. Об этом приходится говорить лишь в самых общих словах, но как длинен и как тесен почти у всех людей путь, ведущий от их души к их жизни! С нашими мыслями о дерзновении, о справедливости, о честности и о любви бывает то же, что с дубовыми желудями в лесу: тысячи и десятки тысяч теряются и сгнивают во мху прежде, чем родится одно дерево. «У нее была, — сказала о другой женщине та, чьи слова я недавно привел, — у нее была прекрасная душа, светлая мысль, чувствительное сердце; но все это достигало ее жизни, лишь проходя через чрезвычайно узкий характер. Я замечаю у нее почти всегда тот же недостаток предусмотрительности и в особенности то же отсутствие оглядки на самое себя. Когда кто-нибудь нам желает раскрыть свою жизнь, он прежде всего рассказывает нам о том, как он ее видит, понимает, чувствует. Перед нами тогда открывается благородная сущность души. Но по мере того, как мы дальше проникаем с ним в его существование, он перечисляет нам свои поступки, свои печали и радости, и во всем этом не оказывается и следа души, которую мы одно мгновение прозревали сквозь его принципы и идеи. Как только являются поступки, сейчас приходят инстинкты, выступает характер, и душа, т. е. высшая часть существа, кажется нам уничтоженной, подобной принцессе, которая предпочитала бы жить в грязной нищете, чем портить свои руки грубой работой».

CVI

Увы, ничто не сделано, пока мы не научились портить свои руки, пока мы не научились превращать золото и серебро своих мыслей в ключ, открывающий не врата из слоновой кости наших сновидений, а реальные двери нашего дома, — в чашу, содержащую не только чудодейственную влагу наших

мечтаний, а не дающую пролиться чрезвычайно реальной воде, падающей на нашу крышу, — в весы, не приблизительно взвешивающие то, что мы намерены совершить в будущем, а с точностью показывающие вес того, что мы сделали сегодня. Идеал самый возвышенный является идеалом временным, покуда он интимно не проникает все наши члены, покуда он, так сказать, не нашел возможности проскользнуть до кончиков наших пальцев. Есть люди, в которых оглядка на себя приносит пользу лишь их мысли. Есть другие, в которых эта оглядка прибавляет каждый раз нечто к их характеру. Первые бывают прозорливы, пока речь идет не о них самих, пока не надо действовать. Глаза других проясняются главным образом тогда, когда надо вступить в действительность, когда речь идет о поступке. Можно сказать, что существует сознание интеллектуальное, вечно сидящее, вечно распростертое на неподвижном троне и сообщающееся с волей лишь при посредстве неверных и запоздалых посланников; и есть сознание моральное, всегда стоящее на ногах, всегда готовое выступить в дорогу. Правда, что это сознание находится в зависимости от первого и, быть может, само есть не что иное, как это первое сознание, уставшее от долгого покоя, научившееся во время этого покоя всему, чему могло научиться, и решившееся наконец подняться, сойти с бездеятельных ступеней, вступить в жизнь. Все это хорошо, лишь бы только оно не медлило до того дня, когда члены откажутся его носить.

Как знать, не предпочтительнее ли иногда действовать наперекор своей мысли, чем никогда не решаться действовать согласно со своими мыслями? Активная ошибка редко бывает непоправимой; обстоятельства и люди сами постараются выправить ее; но что они могут сделать с ошибкой пассивной, избегающей всякого соприкосновения с действительностью? Однако из всего этого не следует, что нужно умерять наше интеллектуальное сознание и не слишком развивать его в ожидании нашего морального сознания. Нечего опасаться идеала слишком высокого для того, чтоб его можно было приспособить к жизни. Нужна целая река доброй воли для того, чтобы привести в движение малейший поступок справедливости и любви. Необходимо, чтобы наши идеи были в десять раз выше нашего образа действия, для того, чтобы наши поступки были только честными. Необходимо бесконечно жаждать добра для того, чтобы хоть несколько избежать зла. Никакая сила в этом мире не подвержена такой убыли, как идея, долженствующая снизойти в каждодневное существование. Вот почему следует быть героем в своих мыслях для того, чтобы быть приемлемым и безобидным в своих поступках.

CVII

Приблизимся в последний раз к судьбам темным. Они покажут нам, что даже на дне великих физических несчастий нет ничего непоправимого, и что жаловаться на рок почти всегда значит жаловаться на бедность своей души.

В римской истории повествуется об одном галльском сенаторе, Юлии Сабине, который возмутился против императора Веспасиана и был побежден. Ему легко было бы бежать к германцам, но, не имея возможности увести с

собою свою молодую жену, по имени Эпонию, он не был в силах ее покинуть. В дни печали и страданий мы как будто узнаем наконец единственную и истинную ценность жизни: он решился прекратить свою жизнь. Он владел виллой, под которой простирались обширные подземелья, известные только ему и двум вольноотпущенным рабам. Он сжег эту виллу, и слух распространился, что он принял яд, и что тело его погибло в огне. Сама Эпонию была обманута слухом, — говорит Плутарх, чей рассказ я здесь привожу, пополненный историком Антонином, графом Шампаньи. И когда вольноотпущенный Марциал сообщил ей о самоубийстве ее супруга, она три дня и три ночи осталась распростертой на земле, отказываясь от пищи. Сабин, извещенный об этой печали, почувствовал жалость и велел передать Эпонию, что он жив. Она из благоразумия продолжала носить траур по своему мужу и всенародно оплакивать его в течение дня, а ночью посещала его в его убежище. В течение семи месяцев она каждую ночь спускалась в этот ад, чтобы свидеться с супругом. Она далее постаралась вывести его оттуда, сбрила ему бороду и волосы, окутала ему голову повязкой, передела его и в узле платьев вывезла и привела в родной город. Но вскоре пребывание там показалось ей опасным, и она вернулась с мужем в подземелье; с тех пор она то оставалась в деревне, проводя ночи вместе с мужем, то возвращалась в город, где показывалась подруге. Она забеременела, но, благодаря мази, которою она умащалась, ни одна женщина, даже в общих банях, не заметила ее беременности. Когда наступило время родов, она спустилась в подземелье и одна, без помощи повитухи, подобно львице в логовище, разрешилась двумя близнецами. Она кормила их своим молоком, вырастила и в течение девяти лет поддерживала своего мужа в этом темном убежище. Однако местопребывание Сабина было открыто, и его отвели в Рим. Он, конечно, мог рассчитывать на милосердие Веспасиана. Эпонию, представляя императору своих двух сыновей, возвращенных ею в подземелье, сказала: «Я родила их на свет и воспитала их для того, чтобы мы в большем числе могли умолять о твоем милосердии». Присутствующие при этой сцене плакали, однако цезарь остался непреклонным, и храбрая галльская женщина вынуждена была просить разрешения умереть вместе с мужем. «Я жила, — сказала она, — вместе с ним во мраке более счастливая, чем ты, о, цезарь, когда-либо был пред лицом солнца, среди блеска твоего царства».

СVIII

Чье сердце могло бы усомниться, чье сердце не захотело бы любить среди темноты, озаренной такой любовью? Без сомнения, много часов страшных и жалких протекло для них на дне их логовища. Но кто же даже из тех, которые любят лишь маленькие удовлетворения жизни, не предпочел бы любить с такой пламенностью на дне чуть ли не могилы, чем любить холодной любовью в лучах и свете солнца? Удивительный ответ Эпонины становится криком всех тех, кто знал любовь и чья любознательная душа обрела в жизни цель, жажду истины, надежду и долг. Огонь, воодушевлявший ее в глубине ее сумерек, был

тем самым огнем, который воодушевляет мудреца в глубине однообразных часов жизни. Любовь — это бессознательное солнце нашей души; но самые чистые, самые жгучие и постоянные лучи этого солнца поразительно похожи на те лучи, которые старается в себе умножить душа страстно влюбленная в правду, величие, красоту и истину. И разве нельзя внедрить в каждое чистое сердце то счастье, которое случайно родилось в сердце Эпонины? Все, что было в ее любви наиболее утешительного, самозабвение, превращение сожалений в улыбки, отречение от удовольствий во имя счастья, которое сердце делает вечным, внимательность к бледным лучам будней, когда они освещают то, чему душа поклоняется, погружение себя в свет и радость, которые мы по желанию можем усилить, ибо для того нам достаточно лишь сильнее любить, — неужели все это и тысяча других кротких и столь же спасительных сил не могут найтись в самой пламенной части нашего сердца, нашей души и нашей мысли? И не была ли любовь Эпонины чем-то вроде произвольной, неожиданной, незаслуженной вспышки этой жизни? Любовь не всегда размышляет. Часто она не нуждается ни в какой мысли, ни в какой оглядке на себя для того, чтобы насладиться всем тем, что есть в мысли. Но все, что есть лучшего в любви, от этого не становится менее похожим на то, что есть лучшего в мысли. Эпонины, оттого, что она любила, видела лишь озаренное лицо своих страданий. Но размышлять, думать, заглядывать дальше своей печали и поступать радостнее, чем это требуется согласно общему порядку судьбы, не значит ли это совершать добровольно и уверенно то, что любовь делает лишь без своего ведома, по счастливой случайности? Каждое из страданий Эпонины зажигало факел в глубине подземелья; и разве не таким же образом для души, привыкшей к своему убежищу, каждая печаль, заставляющая ее вернуться к самой себе, зажигает великие утешения? И так как наша благородная Эпонины переносит нас в эпоху религиозных преследований, то не следует ли сказать, что такая печаль подобна языческому палачу, который под влиянием удивления или благодати, посреди причиняемой им пытки, вдруг падает к ногам своей жертвы, нежно ее ободряет, жаждет страдать вместе с нею и наконец, лобызая, просит указать путь к ее небу?

СIX

Куда бы мы ни пошли, везде поток жизни обильно течет под сводом небес. Он проходит между стен тюрьмы, хотя солнце не освещает его вод, так же, как протекает у подножья дворца, полного славы и счастья. Для нас имеет значение не ширина, не глубина, не сила потока, принадлежащего всем и текущего всегда, а чистота и объем чаши, которую мы в него погружаем. Все, что мы можем зачерпнуть от жизни, по необходимости принимает форму этой чаши. Она же в свою очередь вылита по образу наших чувств и мыслей, словом — сформована на груди нашей внутренней судьбы, подобно тому, как чаша скульптора древности была сформована на груди богини. Мы владеем чашей, которую сами себе сделали. Мы почти всегда имеем ту чашу, какую научились желать. Мы могли бы жаловаться на судьбу лишь за то, что она не внушила нам

мысли или желания иметь более широкую, более совершенную чашу. Да, неравенство существует только в желаниях. Но это желание становится для нас чувствительным лишь в ту минуту, когда оно начинает стираться. Понять, что наше желание могло бы быть более прекрасным, разве одно это уже не делает его прекраснее? Разве одно это уже не поднимает новым дыханием грудь нашей судьбы и, вследствие одного этого, не расширяет края идеальной податливой чаши, металл которой окончательно застывает лишь в холодный час смерти?

Тому нечего жаловаться, кто ждет более пламенного и более благородного чувства. Тому нечего жаловаться, кто ждет желания несколько бóльшого счастья, несколько большей красоты, несколько большей правды. С этим происходит то же, что, по преданию, происходит с блаженством избранников. Каждый из них одет в радость и носит ризы по своему росту. Он не может желать бóльшого блаженства, чем то, которым он владеет, ибо одним тем, что он пожелал бы этого блаженства, он бы уже приобрел его. Если я благородно завидую счастью тех, кто может погрузить в более светлое место великого потока чашу более яркую и тяжелую, чем моя, то я, сам того не зная, уже получаю превосходную часть в том, что они почерпнут, и уста мои прильнут рядом с их устами к краям чаши.

СХ

«Кого вы сможете полюбить?» — спросили женщину, как было написано, о чем вы, может быть, помните, до этих отступлений. Тот же вопрос можно было бы предложить Эмилии Бронте и многим другим. Немало на свете таких благородных душ, которые теряют лучше годы любви, предлагая себе такого рода вопросы об ожидающем их сердце будущем.

Впрочем, в области рока почти все жалобы, сожаления, праздные ожидания, суетные страхи и несоразмерные надежды почти всегда вращаются вокруг образа любви.

Во всем этом много гордости, ложной поэзии и лжи. Вообще непонятые души всего чаще встречаются среди тех, которые делали всего менее усилий, чтобы быть понятыми. Тот идеал следует считать наиболее хрупким, узким и произвольным, который всего больше питается страхами, разочарованиями, претензиями и мелким презрением. Мы всего более боимся, чтобы не оскорбили или не оставили без признания те наши добродетели, мысли, нравственные достоинства и красоты, которыми мы пока обладаем только в воображении. Относительно заслуг этого рода, как и по отношению к материальным благам, надежды наши всего упрямее привязываются к тем, которых мы никогда не в силах будем приобрести. Так плут, задумавший исправиться, уже удивлен, что не воздают немедленных и необыкновенных почестей лишь на мгновение проснувшейся в его сердце честности. Если же мы на самом деле чисты, бескорыстны и искренни, если наши мысли привычно и естественно поднимаются над инстинктивным тщеславием и эгоизмом, мы гораздо меньше заботимся о том, одобряют ли, понимают ли, восхищаются ли нами окружающие нас. Эпиктет, Марк Аврелий, Антонин Благодетельный

никогда не жаловались на то, что их не понимают. Им не казалось, что они таят в себе нечто неслыханное и непостижимое. Наоборот, они верили, что лучшая часть их добродетели заключается именно в том, что может быть без усилия усвоено всеми. Если люди чего-либо не признают, то это бывает не без причины, ибо всегда есть высшая причина, объясняющая всеобщее бессилие какого-нибудь чувства. Люди обыкновенно не признают наших болезненных добродетелей, которым мы придаем слишком большое значение, а болезненна всякая добродетель, которой мы придаем слишком большое значение и для которой мы требуем особенно почтительного внимания. Болезненная добродетель часто бывает гораздо зловреднее, чем здоровый порок. Во всяком случае она больше удаляет нас от истины, а вдали от истины нет спасения. По мере того, как наш идеал совершенствуется, он допускает большее число реальностей. По мере того, как наша душа растет, она все меньше опасается не встречать другой души себе под стать, ибо душа растущая приближается к истине, а поблизости истины все принимает участие в ее величии.

Посреди небесного света, почти однообразного в своем сверкании, достигнув третьей сферы, Данте, не замечая вокруг себя движения, вдруг спрашивает себя, стоит ли он на месте или еще приближается к престолу Бога. Он тогда смотрит на Беатриче, и так как она ему кажется прекраснее, чем прежде, он заключает, что приближается к цели. И мы также на пути, ведущем нас к истине, можем считать свои шаги по тому, как увеличивается наша любознательность, любовь, почтение и удивление ко всему, что нас сопровождает в жизни.

СХІ

Обыкновенно человек выходит из дому на поиски радости, красоты, истины, любви, и возвращается вполне довольный лишь тогда, когда может сказать своим детям, что он ничего не нашел. Есть какая-то гордость в том, что объявляешь себя недовольным, и большинство людей обвиняет жизнь и любовь лишь потому, что воображает, будто жизнь и любовь должны дать им нечто большее, чем они сами могут им уделить. Правда, что для любви, как и для всего прочего, необходим возможно более возвышенный идеал; но всякий идеал, не отвечающий сильной внутренней реальности, есть не что иное, как праздная, бесплодная и приторная ложь. Достаточно двух-трех недостижимых идеалов, чтобы парализовать целую жизнь. Ошибочно думать, что высота души измеряется высотой ее стремлений или мечтаний. У слабых обыкновенно более прекрасные и многочисленные мечты, чем у сильных, ибо вся их энергия, вся их деятельность испаряется в этих мечтах. Высота обычной мечты, когда надо определить нашу нравственную высоту, может быть принимаема в расчет лишь настолько, насколько она является тенью, отброшенной предшествующею жизнью и уже твердою, испытанною человеческою волей. Тогда возможно водрузить мечту на мгновение среди долины, залитой солнечным светом внешних реальностей, как мы вбиваем палку рядом с колокольней, тень которой желаем измерить, для того, чтобы определить отношение между тенью

часа и вечной башней.

СХII

Кажется естественным, если благородное сердце ожидает великой любви; но еще естественнее, если оно, ожидая, любит, а, любя, не чувствует, что ожидает. В любви, как вообще в жизни, почти всегда бесполезно ожидать. Только любя мы научаемся любить, и так называемыми разочарованиями маленьких любовных переживаний мы всего проще и вернее сможем поддерживать непоколебимое пламя великой любви, которая, быть может, озарит конец нашей жизни.

Мы часто бываем несправедливы к этим разочарованиям, мы приписываем им лицо печальное и бледное. Они, наоборот, являются первой улыбкой истины. Вы — человек с доброй волей; вы стремитесь быть справедливым, полезным, мудрым и счастливым. Но если вы опечалены разочарованиями, то следует ли из этого, что вам жаль неправды, в которой вы жили? Неужели вы предпочли бы жить в мире заблуждений и мечты, а не в мире действительности? Лучшие часы лучших намерений часто теряются в борьбе, происходящей между прекрасным сном и неизбежным законом, красоту которого они заметят лишь после того, как прекрасный сон истощил все их силы. Если любовь, например, разочаровала вас, неужели вы думаете, что для вас было бы спасительно верить в течение всей вашей жизни, что любви нет и не может быть? Думаете ли вы, что иллюзия такого рода не извратит важнейших из ваших поступков, не затмит надолго часть истины, к которой вы стремились? Если же вы надеетесь совершить великие дела и если разочарование указало вам ваше место среди явлений второго порядка, то разве справедливо до конца дней проклинать вестника истины? И разве в итоге сама ваша иллюзия не искала бы истины, будь она искренней? Постараемся сделать из наших разочарований толпу таинственных и верных друзей, неподкупных советников. Если же одно из них, более жестокое, чем другие, нас на время сбивает с ног, не будем говорить, рыдая: «Жизнь менее прекрасна, чем наши мечты», а скажем себе: «Чего-то не хватало нашим мечтам, так как они не были одобрены жизнью». В конце концов вся столь прославленная сила сильных душ создана лишь из разочарований, которые они радушно приняли. Каждое разочарование, каждая отринутая любовь, каждая разбитая надежда прибавляют некоторый вес к весу вашей истины. И чем больше вокруг вас падает иллюзий, тем более благородной и уверенной возникает великая действительность, подобно тому, как мы явственнее видим солнце среди обнаженных ветвей зимнего леса.

СХIII

Если вы ищете великой любви, думаете ли вы, что возможно найти душу, столь же прекрасную, как ваши мечты, если только ваши мечты вышли на поиски ее? Справедливо ли предлагать только желания, чаяния, бесформенные

мечты и взамен требовать точных слов и решительных поступков? Однако мы почти все поступаем именно так. И если случай, слишком счастливый для того, чтобы не быть неожиданным, наконец посылает нам навстречу существо, точно воплощающее наш идеал, в праве ли мы ожидать, что наши ленивые и смутные стремления долго останутся в согласии с деятельной и вполне определенной реальностью этого существа?

У нас есть некоторая вероятность отыскать вне себя свой идеал лишь после того, как мы по возможности воплотим его в себе самих. В праве ли вы надеяться, что вы узнаете и удержите душу честную, глубокую, любящую, верную, неистощимую, душу всеобъемлющую, самобытную, независимую, мужественную, благожелательную и благородную, если вы так же хорошо, как она, не узнали, что такое честность, любовь, верность, мысль, жизнь, самобытность, независимость, мужество, благожелательность и благородство? И как знать вам все эти душевные качества, если вы их не любили и долго не жили среди них, как она любила их и как она среди них жила?

Ничего нет более требовательного, неуклюжего и слепого, чем доброта, красота и нравственное совершенство в состоянии желанья. Если вы хотите найти идеальную душу, начните с того, чтобы самому уподобиться идеалу, которого вы ищете. Нет другого средства найти ее. По мере того, как вы будете в действительности приближаться к этому идеалу, вы увидите, что справедливость и ваше счастье требуют, чтобы идеал почти всегда был отличен от того, чего ждали ваши неясные надежды. По мере того как ваш идеал будет воплощаться в соприкосновении с жизнью, он сделается пространнее, нежнее, податливее и совершеннее. Тогда вы в том, что любите, откроете то, что есть действительно прекрасного, непоколебимо-доброе, вечно-правдивого в вас самих, ибо о добре, находящемся вне нас, предупреждает в нас лишь добро, живущее в нашем сердце. Тогда наконец вы будете придавать меньше значения несовершенствам, которые больше не будут ранить вашей суетности, вашего эгоизма и невежества, т. е. несовершенствам, которые уже не будут подобны вашим, ибо то зло, которое в нас, с особенной нетерпимостью относится к чужому злу.

CXIV

Будем доверять любви, как мы доверяем жизни, потому что мы созданы для того, чтобы питать доверие, и потому что самая пагубная мысль это та, которая имеет склонность не доверять действительности. Я видел не одну жизнь, разбитую любовью, но, не будь любви, весьма вероятно, что эти жизни были бы разбиты дружбой, апатией, неуверенностью, нерешительностью, равнодушием или бездействием. Любовь разбивает в сердце только то, что хрупко; и если она разбила его всецело, то это лишь значит, что все в нем было слишком хрупко. Нет человека, который бы многократно не считал, свою жизнь разбитой, но те, чья жизнь действительно была разбита, часто обязаны своими несчастьями какой-то тщеславной любви к развалинам.

Конечно, в любви, как и во всей остальной нашей судьбе, есть много

случайностей, счастливых и несчастных. Возможно, что при первом своем выступлении на путь жизни существо, сердце и разум которого полны всякой энергии, всякой нежности, всех добрых человеческих стремлений, сразу, не отыскивая, встречает душу, которая в опьянении постоянным счастьем осуществляет в себе все желания любви, как самые высокие, так самые смиренные, самые обширные и самые утонченные, самые вечные и самые мимолетные, самые могущественные и самые нежные. Возможно, что оно немедленно обретает сердце, которому сможет отдать лучшее себя самого и которое будет постоянно принимать этот дар. Возможно, что оно сразу овладеет душой, быть может, единственной, вечно полной желаний, которая до самой могилы будет в состоянии принимать в тысячу раз больше, чем ей дают, и которая взамен будет возвращать в тысячу раз больше, чем получила. Ибо любовь, которая может устоять перед годами, создана из этих восхитительно-неравных обменов. В ней владеешь только тем, что сам даешь, и только тем не один владеешь, что принимаешь в обмен.

СХV

Бывает иногда судьба столь совершенно счастливая; но если каждый человек более или менее в праве надеяться на такую судьбу, он был бы не прав, замкнув всю свою жизнь в этой надежде. Все, что он может, это готовиться, чтобы быть когда-нибудь достойным такой любви; и по мере того, как он будет готов к этому, ожидание его сделается более терпеливым. Возможно также, что существо, о котором мы только что говорили, многократно, от его юных дней до старости, проходило вдоль стены, за которой его счастье ожидало его в молчании слишком глубоко. Но из того, что его счастье находилось по сю сторону стены, следует ли, что с другой стороны находилось только горе и отчаяние? Разве счастье не заключается в самом праве проходить таким образом бок о бок со счастьем? Не предпочтительнее ли чувствовать, что между тобой и великой ожидаемой любовью стоит лишь, так сказать, прозрачный и хрупкий случай, чем быть навсегда от него отделенным всем, что есть в нас самих бесчеловечного, бесполезного и недостойного? Тот счастлив, кто может сорвать цветок и унести его; но не жалок, как и предполагают, и тот, кто до вечера совершает путь, окруженный благородным ароматом незримого цветка. Разве можно считать жизнь неудавшейся, разве она потеряла всякую ценность и полезность лишь оттого, что она не так счастлива, как могла бы быть? Ведь в той любви, о которой вы сожалеете, лучшим было бы то, что вы сами бы в нее внесли; и если, как сказано выше, душа в конце концов владеет лишь тогда, когда она сама может дарить, то разве не владеет уже отчасти тот, кто постоянно ждет случая дарить? Да, я уверен, на земле нет счастья более желанного, чем прекрасная долгая любовь; но если вы не нашли такой любви, то все же то, что вы сделали, чтобы быть достойным ее, не будет потеряно для мира вашего сердца, для мужественного и чистого спокойствия остальной вашей жизни.

CXVI

И затем, любить можно всегда. Любите сами прекрасной любовью — и вы узнаете почти все радости прекрасной любви. Даже в самой совершенной любви счастье двух возлюбленных, наиболее привязанных друг к другу, не всегда бывает одно и то же. Лучший из них любит лучшей любовью, и тот, кто лучше любит, более счастлив. Вы должны стать достойным любви не ради счастья любимого человека, а ради вашего собственного счастья. Не думайте, что в несчастные часы неравной любви тот из двух больше страдает, кто более справедлив, мудр, великодушен и благородно-страстен. Лучший почти никогда не бывает жертвой, достойной сожаления. До конца жертвой бывает лишь тот, кто становится жертвой собственных ошибок, собственных заблуждений, собственной несправедливости. Как бы вы ни были несовершенны, вы можете вполне удовлетворить любви существа изумительного, но изумительное существо не удовлетворит вашей любви, если вы еще несовершенны. Желательно, чтобы судьба когда-нибудь ввела в ваше жилище женщину, украшенную всеми дарами ума и сердца, которыми вы попутно восхищались, читая повесть великих героинь славы, счастья и любви. Но вы ничего не поймете в этих дарах, если не научились узнавать и любить их в действительной жизни. А что такое для каждого из нас, в конце концов, действительная жизнь, как не его собственная жизнь? Ваша правдивость расцветает в правдивости вашей возлюбленной. Ваша истина успокоится в ее истине, и сила вашего характера одна насладится силой, которая найдется в ее характере. Но добродетель любимого существа, которая на пороге нашего сердца не встречает добродетели, на нее несколько похожей, не знает, в чьи руки доверить принесенную с собою радость.

CXVII

Какова бы ни была ваша сердечная судьба, не унывайте и, главное, не опасайтесь, что, не познав счастья любви, вы до конца дней не узнаете великого счастья человеческого существования. Принимает ли счастье форму реки, подземного источника, потока или озера, оно питается всегда из одних и тех же родников в тайниках нашего сердца, и самый несчастный из людей может составить себе понятие о величайшем счастье.

В любви, правда, скрыто опьянение, которого он никогда не узнает, но это опьянение оставляло бы на дне сердца задумчивого и искреннего лишь великую грусть, если бы нельзя было найти в истинной любви нечто более верное, глубокое, непоколебимое, чем опьянение. А то, что в любви есть самого верного, глубокого и непоколебимого, тождественно с тем, что есть самого верного, глубокого и непоколебимого в благородной жизни.

Не каждому человеку дано быть героем, победителем и гением или просто удачником во внешней жизни. Но наименее одаренный из нас может быть справедливым, честным, братски-нежным, великодушным. Наименее одаренный может привыкнуть смотреть вокруг себя без зложелательства, без

зависти, без злопамятства, без ненужной печали; наименее обделенный может получить свою молчаливую долю, — не всегда самую худшую, — в радости окружающих его. Наименее искусный может знать, насколько он способен прощать обиду, извинять ошибку, восторгаться человеческим словом и поступком. И наименее любимый может любить и уважать любовь.

Поступая таким образом, он наклоняется над источником, над которым чаще, чем мы думаем, наклоняются также и счастливые в жгучие часы счастья для того, чтобы убедиться в правде своего счастья. В глубине блаженства любви, как на дне смиренной жизни праведника, которому случай не хотел улыбнуться, неизменны и неподвижны только справедливость, доверие, благожелательство, искренность и великодушие. Любовь придает этим светлым точкам несколько более блеска, и вот почему надо искать любви. Великое преимущество любви заключается в том, что она открывает наши глаза на многие мирные и кроткие истины. Великое преимущество любви заключается в том, что она дает нам случай любить и боготворить в одном существе; то чего мы не подумали бы и не смогли бы любить и боготворить в тысяче существ, — в том, что она таким образом расширяет наше сердце на будущее время. Но в основе самой удивительной любви всегда скрыто блаженство вполне простое, нежность и обожание вполне понятные, доверие, безопасность и искренность вполне доступные, удивление и самозабвение вполне человеческие, — все то, что добрая воля, даже обойденная счастьем, могла бы также познать в своей опечаленной жизни, если бы у нее было поменьше горечи, поменьше нетерпения и несколько больше инициативы и энергии.